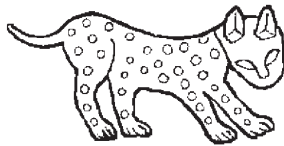


Российская академия наук
Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)

Ранние формы политических систем



Санкт-Петербург
2012

ББК 63.5
Р22

Составитель и ответственный редактор:
В.А. Попов

Рецензенты:
В.В. Бочаров, Ю.Ю. Карпов

Книга посвящена разработке актуальных проблем современной политической антропологии. Обсуждаются теоретические и методологические вопросы изучения генезиса, функционирования и исторической динамики раннеполитических систем. Выявляются археологические критерии цивилизации и усложнения политической организации. Характеризуются аналогии ранних государств и представляются результаты кросс-культурного анализа раннегосударственных организмов. Рассматриваются родственные и территориальные принципы организации общества, корреляции политогенеза и этногенеза. Исследуются данные о вождествах и других институтах раннеполитической организации ряда народов Скандинавии, Балкан и Древней Руси. Африканские социально-коммуникативные сети трактуются как фактор вторичного политогенеза, а индийская каста интерпретируется как специфическая форма санскритизации первобытной периферии Южной Азии.

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Программы фундаментальных исследований Отделения
историко-филологических наук РАН «Нации и государство в мировой истории»
и Российского фонда фундаментальных наук (РФФИ) по проекту
№ 12-06-00074а*



Р 0505000000
Без объявления
ISBN 978-5-88431-214-2

© МАЭ РАН, 2012
© Попов В.А. (отв. ред., сост.,
предисловие), 2012
© Харитонова А.Ю. (худож.
оформл.), 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

В своем аналитическом обзоре публикаций Международного исследовательского проекта «Раннее государство» крупнейший отечественный африканист Н.Б. Кочакова еще в 1999 г. констатировала отсутствие удовлетворительных определенных понятий «вождество» и «государство», а также обращала внимание на необходимость разграничения развитых (сложных) вождеств и зачаточных ранних государств¹. Практически все ее замечания по-прежнему актуальны, и разработке именно этой проблематики, связанной с генезисом и исторической динамикой раннеполитических систем, посвящен предлагаемый вниманию читателя сборник статей из серии «Ранние формы общественного развития», являющийся тематическим продолжением коллективной работы «Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности»².

Открывается сборник большой статьей, или, скорее, мини-монографией Л.Е. Гринина «Ранние государства и их аналоги в политогенезе: типологии и сопоставительный анализ», посвященной выявлению и описанию различных аналогов ранних государств и их скрупулезному типологическому сравнению с ранними государствами. По сути, это первое в политической антропологии столь масштабное кросс-культурное исследование раннеполитических систем. Автором установлено, что различия между ранними государствами и их аналогами заключаются не в размерах, уровне сложности организации и решаемых задач, а в особенностях политического устройства и способах управления обществом. Поэтому для различения раннего государства и его аналогов требуются специальные критерии (те, что отличают ранние государства и их аналоги от стадияльно догосударственных обществ): 1) особые свойства верховной власти; 2) новые принципы управления; 3) нетрадиционные и новые формы регулирования жизни общества; 4) редистрибуция власти. Сформулированы и эволюционные условия появления ранних государств: а) объективные, которые дают потенциальную возможность политиям трансформироваться в государство; б) особые, то есть конкретно-исторические; в) экстремальные ситуации,

служащие триггером (толчком, импульсом). Если же в обществе имеются все объективные условия для формирования раннего государства, но не хватает конкретно-исторических (и/или не возникло экстремальных), то, по мнению исследователя, возникают различные типы аналогов ранних государств.

Д.М. Бондаренко в своей статье «Родственный и территориальный принципы организации общества и феномен государства» исходил из постулата, что принцип организации общества — преимущественно родственный или территориальный — как критерий различения государственных и негосударственных социумов весьма значим, но изучив современное состояние проблемы, пришел к заключению, что проблема родства и территории — это вопрос меры, соотношения между ними, а не наличия или отсутствия, хотя общей социоисторической тенденцией действительно является постепенное вытеснение родственных институтов территориальными на надлокальных уровнях социокультурной и политической сложности. В то же время нет никаких оснований искать в истории того или иного общества момент некоего скачка — от полного доминирования родства к абсолютному господству территориальных связей. Напротив, история представляет собой континуум социально-политических форм, в типологической последовательности которых, можно обнаружить общую динамику от большей к меньшей значимости родственных связей по сравнению с территориальными. Немаловажным уточнением является то, что, с одной стороны, в основе государства не могут не лежать преимущественно территориальные связи, но, с другой стороны, это вовсе не значит, что никогда не существовало основанных на них же сложных негосударственных обществ.

В обобщающей работе Ю.Е. Березкина «Археология, этнография и политогенез» представлены следующие археологические критерии усложнения политической организации: наличие крупных поселений и их иерархия по размеру и различиям в характере сооружений, наличие крупных общественно-культурных сооружений (монументальная архитектура), а также сокровищ в захоронениях, кладках и жертвенниках. При всей фрагментарности приведенные в статье факты позволяют проследить ряд закономерностей. Так, основой власти элиты в обществах Древней Америки являлся

контроль над циркуляцией изделий и материалов, связанных с престижным потреблением, а также над эзотерическим знанием. Наличие же всех четырех археологически видимых признаков, свидетельствующих о значительном усложнении политической организации, достаточно для того, чтобы условно именовать соответствующие общества (Мочика, Уари, Эрлитоу или Монте-Альбан) государствами или, точнее, достигшими государственного уровня организации.

Аналогичную работу выполнил и Н.Н. Крадин («Археологические критерии цивилизации: кросс-культурный анализ»), трактующий термин «цивилизация» как синоним общества, имеющего развитую социальную структуру, государственность или не менее сложные альтернативные формы политической организации. Автору не удалось найти качественные универсальные признаки цивилизации, поскольку ни письменность, ни урбанизация, ни монументальная архитектура, ни иной критерий не являются обязательным признаком сложного общества с государственностью и цивилизацией. В то же время кросс-культурный анализ показал наличие иерархической и гетерархической тенденций/стратегий в социальной эволюции. Кроме того, есть качественная корреляция между стратификацией, политической иерархией, урбанизацией, с одной стороны, и сложившейся письменностью, с другой стороны. Таким образом, ранние государства, классы и городские общества могут существовать без письменности. Однако если в обществе первичного политогенеза имеется сложившаяся письменность, это означает, что в данном обществе должны существовать развитая (классовая) социальная структура, государственность и урбанизация. Только сложившиеся политии с сильной централизованной структурой и развитой социальной иерархией пришли к необходимости кодирования информации, что было связано с оптимизацией механизмов управления сложными обществами. Другими словами, письменность является объективным критерием, который отделяет предгосударственные общества от стадии цивилизации.

В статье Л.П. Грот «Ранние формы политической организации в истории Скандинавских стран в освещении шведской историографии» прослежены основные этапы изучения проблем шведского политогенеза — от периода архаизации

истории государственности, когда объединение свеев и гётов под властью одного правителя отождествлялось с образованием шведского государства и датировалось либо временем Тацита (I в.), либо серединой VI в., до периода пересмотра, в том числе с применением концепции вождества (с конца 1970-х гг.), мифологизированных устоев шведской историографии, когда было осознано, что путь к шведской государственности был весьма долгим, а потестарные институты не выходили за пределы догосударственных как в течение всего вендельско-викингского периода (VI–XI вв.), так и столетие после него. Все попытки доказать объединение земель гётов и свеев ранее, чем в XII–XIII вв., не увенчались успехом. Выяснилось и то, что и сама территория свеев вплоть до XI в. не представляла прочного объединения с надлокальной властью, а замедленный характер шведской социополитической эволюции в значительной степени определялся спецификой демографического развития и природной среды. Следует отметить, что особенности геофизического развития прибрежной части Швеции весьма интересны в общеисторическом контексте, поскольку она носит название «Руден/Рослаген» и связывается с древнерусской историей, а норманистами даже предлагается в качестве прародины Руси. Однако факт довольно позднего образования (не ранее XI–XII вв.) прибрежной полосы Руден/Рослаген делает бессмысленными усилия использовать эти топонимы для реконструкции (через посредство финского названия Швеции Ruotsi/Rootsi) названия выходцев из этой местности, которое уже якобы в IX в. могло превратиться в «Русь». В статье представлены бесспорные свидетельства того, что территория, получившая название Руден в конце XIII в., не только в IX в., но и в X в. практически не существовала, ибо все еще находилась под водой.

Статья А.Ю. Дворниченко «“Государство Киевская Русь” как историографический феномен» представляет собой весьма фундированный историографический обзор научной литературы о появлении и становлении государственности в Древней Руси. Историк констатирует, что представители практически всех отечественных школ и направлений так и не смогли разрешить проблему древнерусского политогенеза и внести ясность в вопрос о том, каким же государством была Киевская Русь и когда оно возникло. Рассмотрение Киевской Руси как

историографического феномена привело к парадоксальному выводу, что мы имеем дело с мифическим государством, которое вряд ли стояло у истоков государственной традиции восточных славян. Весь период так называемой Киевской Руси был общинным, то есть позднепервобытным.

В центре внимания статьи Д.Е. Алимова — процесс формирования этнополитической общности далматинских хорватов в VII–IX вв. Противопоставление аварам и франкам местной элиты, первоначально бывшей элементом аварской социально-политической структуры, но принявшей групповое имя хорватов, стало конституирующей основой новой этнополитической общности, использовавшей пришедший из Франкского государства этнический дискурс. Автором показано, что этногенетические процессы начались только с политизацией названия «хорват», а это подтверждает значимость потестарно-политического модуса этногенеза.

А.А. Маслов и В.А. Попов в статье «Социально-коммуникативные сети как фактор вторичного политогенеза (к проблеме стадийного и цивилизационного развития доколониальной Тропической Африки)» исследуют предпосылки, которые способствовали развитию тенденций вторичной государственности, в частности наличие особых социально-коммуникативных сетей типа джаму, образовавшихся в доколониальный период во многих регионах Тропической Африки. Джаму и их аналоги обусловили появление единых социально-коммуникативных пространств, сопоставимых с локальными цивилизациями и ставших главной предпосылкой политической интеграции. Как оказалось, основным структурообразующим принципом организации сетевых сообществ является родство (реальное или фиктивное), поскольку только матрицы родства способны выразить как иерархические, так и горизонтальные отношения, причем номенклатуры родства отражают не только собственно родственные, но и транстерриториальные взаимоотношения. Фактически исторический процесс в доколониальной Тропической Африке развивался таким образом, что социально-коммуникативные сетевые структуры оказались мощным фактором вторичного политогенеза.

В статье Е.Н. Успенской «Системные принципы организации кастового общества» впервые кастовый строй рассмат-

ривается как способ контролирования шоковой (а потом и долговременной стрессовой) ситуации контакта между ариями и автохтонами Индии, при этом индуизм имеет ярко выраженный характер высокоэффективной социальной технологии, основным инструментом которой является кастовый способ организации социальных коллективов, а сама каста рассматривается как специфическая форма санскритизации периферийных народов Южной Азии. Теоретические положения статьи во многом пересматривают устоявшиеся взгляды на индийскую культуру, которая благодаря своей великой текстовой и философской традиции считается настолько высокоорганизованной, что нельзя даже допустить возможность функционирования «примитивных» институтов и социальных форм. Но ни научные аксиомы, ни новые тенденции в современной социальной жизни и перестановки в статусных схемах не отменяют могущества связей родства в кастовой организации, не изменяют главного — индийское традиционное общество стоит на родственной (клановой) самоорганизации «бирадари» (букв. «братство-равенство»), причем паритет статусов дополняется правилами клановой экзогамии.

Авторский коллектив надеется, что статьи сборника внесут свой вклад в теоретическое осмысление политогенетических процессов и познание специфики исторической динамики и функционирования ранних форм политических систем.

В.А. Попов

¹ *Кочакова Н.Б.* Раннее государство и Африка. М.: Ин-т Африки РАН, 1999. С. 10.

² Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности / отв. ред. В.А. Попов. М.: Восточная литература, 1995. Другие коллективные труды этой серии: Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции / отв. ред. В.А. Попов. М.: Восточная литература, 1993; Ранние формы социальной организации: генезис, функционирование, историческая динамика / отв. ред. В.А. Попов. СПб.: МАЭ РАН, 2000.

Л.Е. Гринин

РАННИЕ ГОСУДАРСТВА И ИХ АНАЛОГИ В ПОЛИТОГЕНЕЗЕ: ТИПОЛОГИИ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Предварительные замечания и дефиниции

Анализ литературы, посвященной сложным обществам, а также наши собственные исследования показывают, что, достигая определенных размеров и социокультурной сложности, с которых переход к раннему государству в принципе уже возможен, общество может продолжать развиваться, но при этом долго не создавать раннегосударственную политическую форму (см., например: [Гринин 2007а; 2007б; Grinin 2009а]). Отсюда следует, что: а) процесс политогенеза необходимо рассматривать как многолинейный, как движение в рамках постоянного выбора альтернатив и моделей; б) раннее государство не являлось единственной формой политической организации усложнившихся обществ; в) было много иных типов политий, длительное время составлявших альтернативу раннему государству. Причем эти модели далеко не всегда находились в оппозиции, а часто интегрировались и переходили друг в друга.

Сложные негосударственные общества, которые по целому ряду параметров были сравнимы с ранними государствами, названы нами **аналогами раннего государства** (см. ниже). В первом разделе настоящей статьи рассмотрены некоторые аспекты сходств между различными типами сложных обществ, обоснована необходимость введения понятия аналогов ранних государств как стадияльно-эволюционной альтернативы ранним государствам.

В целом статья посвящена анализу и описанию различных форм аналогов ранних государств (первая часть статьи) и их скрупулезному типологическому сравнению с ранними государствами (вторая часть статьи). В разделе «Вместо заключения» описаны некоторые условия и модели возникновения ранних государств.

Поскольку общепринятого определения государства нет, в рамках настоящей статьи используются следующие дефиниции.

Государство — это *категория, с помощью которой обозначается система специальных (специализированных) институтов, органов и правил, обеспечивающая внешнюю и внутреннюю политическую жизнь общества; данная система в то же время есть отделенная от населения организация власти, управления и обеспечения порядка, которая должна обладать следующими характеристиками: а) суверенностью; б) верховностью, легитимностью и реальностью власти в рамках определенной территории и круга лиц; в) возможностью принуждать к выполнению своих требований, а также изменять отношения и нормы.*

Раннее государство — это *категория, с помощью которой обозначается особая форма политической организации достаточно крупного и сложного аграрно-ремесленного общества (группы обществ, территорий), определяющая его внешнюю политику и частично социальный и общественный порядок; эта политическая форма в то же время есть отделенная от населения организация власти: а) обладающая верховностью и суверенностью (или хотя бы автономностью); б) способная принуждать к выполнению своих требований; менять важные отношения и вводить новые нормы, а также перераспределять ресурсы; в) построенная (в основном или в большей части) не на принципе родства¹.*

Под **аналогом раннего государства** понимается *категория, с помощью которой обозначаются различные формы сложных негосударственных обществ, сопоставимых с ранним государством (но обычно не выше уровня типичного раннего государства) по размерам, социокультурной и/или политической сложности, уровню функциональной дифференциации и масштабам стоящих перед обществом задач, однако не имеющих хотя бы одного из перечисленных в дефиниции раннего государства признаков.*

Под **политогенезом** понимается: а) процесс выделения в обществе политической стороны и формирования политической системы как самостоятельных и частично автономных структур; б) процесс появления особых властных форм организации общества, что связано с концентрацией власти

и политической деятельности (как внутренней, так и внешней) в руках определенных групп или слоев. Государствогенез является только частью процесса политогенеза (см. подробнее: [Гринин 2001–2006; Гринин, Коротаев 2009; Grinin 2009a; Grinin, Korotayev 2009]).

Наконец, одно техническое замечание. Для того чтобы избежать повторения в тексте большого количества ссылок на собственные работы, а также облегчить восприятие материала, там, где требуются ссылки на многие наши работы, мы будем делать ссылки следующим образом (см.: [Гринин разл. работы]). Это значит, что данный вопрос в том или ином виде поднимается в большинстве наших публикаций (на русском и английском языках), приведенных в библиографии к статье. Другой вариант: [Гринин 1997 и др. соч.] — значит данная тема исследуется в наших работах с 1997 г. постоянно.

АНАЛОГИ РАННЕГО ГОСУДАРСТВА КАК СЛОЖНЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

I. СЛОЖНЫЕ ОБЩЕСТВА: СТАДИАЛЬНЫЕ СХОДСТВА И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ

1. Аналоги раннего государства как эволюционно альтернативные раннему государству формы

Очень часто общество называется государством без достаточных для этого оснований, просто исходя из того, что если оно уже очевидно не является догосударственным, то ничем иным, как государством, оно быть не может. Мы же исходим из того, что в процессе политогенеза длительное время имелось много форм, которые можно рассматривать как находящиеся на одном уровне сложности с ранним государством. Данные формы длительное время сосуществовали и конкурировали, причем для многих особых экологических и социальных ниш немагистральные в ретроспективе (по сравнению с ранним государством) линии, модели и варианты могли оказаться более конкурентоспособными и адекватными [Гринин 2011: гл. 3, 5]. В частности, кочевые общества

в военном отношении нередко превосходили своих более развитых в социальном и культурном плане оседлых соседей, но в то же время сохраняли такие формы организации общества, которые были реальными альтернативами государственной организации [Irons 2004: 472; см. также: Коротаяев и др. 2000; Крадин, Бондаренко 2002; Хазанов 2008].

Но кочевые общества в этом плане вовсе не были исключением. Известно множество исторических и этнографических примеров политий, которые, с одной стороны, по политическому устройству, структуре власти и управления существенно отличались от раннего государства, но не уступали раннегосударственным системам по размерам, социокультурной и/или политической сложности, а также функционалу². Однако, с другой стороны, по указанным параметрам (размерам, сложности и т.д.) данные негосударственные общества существенно превосходили типичные догосударственные образования (такие как сообщества во главе с бигменами, простые вождества, независимые деревенские общины или даже среднесложные общества вроде небольших гражданско-храмовых, «городских» и относительно крупных сельских общин). Например, самое крупное гавайское сложное вождество имело население 100 тыс. или более, в то время как типичное простое вождество на Тробриандских островах имело население 1 тыс. человек [Johnson, Earle 2000: 267–279, 285, 291].

Такие общества, находящиеся на одном уровне социокультурного и/или политического развития с раннегосударственными обществами, мы предложили называть **аналогами раннего государства** (см.: [Гринин 1997 и др. соч.]).

Отсюда следует, что как собственно ранние государства, так и их аналоги правомерно рассматривать в качестве политий, находящихся на одной и той же — *сложных обществ* — стадии политогенеза.

При этом появление аналогов раннего государства вовсе не было исключением из правил. Напротив, именно образование раннего государства долгое время было более редким явлением в политогенезе. *И только в длительной эволюционной перспективе государство доказало свои преимущества* (см.: [Гринин 2001–2006; 2006в; Grinin 2003; Гринин, Коротаяев 2009]).

2. Сходство в функциях

Несмотря на различия в механизмах регулирования социально-политической жизни, и в ранних государствах, и в их аналогах обеспечивалось осуществление функций примерно одинакового уровня сложности (см., например: [Гринин 2001–2006 и др. соч.]). Среди этих функций можно выделить:

— создание минимального политического и идеологического единства и сплоченности в разросшемся обществе (группе близких обществ) для решения общих задач;

— обеспечение внешней безопасности или условий для экспансии достаточно крупного социума (как минимум многих тысяч человек, а достаточно часто десятков и даже сотен тысяч человек);

— обеспечение социального порядка и перераспределения необходимого и прибавочного продукта в условиях заметного уровня развития социальной стратификации и функциональной дифференциации, а также усложнившихся задач;

— обеспечение минимального уровня управления обществом, включая нормотворчество и суд, а также выполнение населением необходимых общественных повинностей (военной, имущественной, трудовой);

— создание условий для воспроизводства хозяйства (особенно там, где требовалась координация общих усилий).

3. Отличия сложных обществ от обществ догосударственной фазы

Сложные общества, то есть ранние государства и их разнообразных аналогов, имели общие отличия от всех обществ догосударственной фазы политогенеза, превосходя их по следующим параметрам (подробнее см.: [Гринин 2011: гл. 5: 235–240]).

1. *Численность населения*: сложные общества превосходят простые на порядок; нередко (но не всегда) то же относится и к размерам контролируемой политикой территории³.

2. *Объем относительно избыточного продукта* возрастает на порядок, что дает материальную основу для развития стратификации, редистрибуции и организации надобщинных дел.

3. *Уровень сложности общественной организации*: в том числе происходит увеличение уровней сложности организации и управления обществом.

4. *Усложнение и рост значения отношений и институтов, связанных с регулированием социально-политической жизни:*

а) деление общества на два или более слоя, различающихся по (формальным и/или неформальным) правам, обязанностям и функциям;

б) изменение взаимоотношений элиты и населения (в плане роста неэквивалентности обмена «услугами») или кардинальный рост функциональной дифференциации;

в) существенное изменение традиций и институтов, связанных с регулированием социально-политической жизни;

г) появление идеологии, оправдывающей и легитимизирующей социально-политические изменения в обществе⁴.

4. Раннее государство среди других форм сложных обществ

Хотя ряд исследователей (например: [Claessen 1978: 586–588]) высказывается в том смысле, что вышеуказанные параметры сложности отличают именно ранние государства (и только их) от догосударственных обществ, очевидно, что в качестве эксклюзивных признаков, по которым раннее государство отличается от типично догосударственных форм политий, они не годятся, поскольку в равной степени принадлежат как ранним государствам, так и сложным, но негосударственным обществам — аналогам ранних государств⁵. Это доказывается также и тем, что не только аналоги государства могли становиться государствами, но и — хотя и в более редких случаях — наоборот: ранние государства превращались в аналоги (см., например: [Коротаев 2000а: 224–302; Трепавлов 1995: 144–151; Leach 1970; Скальник 1991]).

Однако можно ли выделить такие эксклюзивные признаки ранних государств, которые позволяли бы отличать ранние государства одновременно и от типично догосударственных политий, и от аналоговых негосударственных политий?

Попытки найти их в совокупности с господством однолинейного взгляда на эволюцию (см. критику этого взгляда: [Гринин 2011: 41–55]) приводят к тому, что аналоги ранних государств часто, но совершенно ошибочно относят к стадияльно догосударственным формам. Однако это неправомерно: есть негосударственные общества простые (примитивные), а есть сложные, по уровню сравнимые с ранними

государствами. И это принципиально разные по эволюционному уровню и возможностям общества. Вот почему любые попытки сформулировать какие-то четкие и единые признаки, отличающие ранние государства от всех негосударственных обществ (как простых, так и сложных аналоговых), обречены на неудачу.

На самом деле различение сложных и простых обществ и различение ранних государств и их аналогов представляет собой разные методологические процедуры, которые должны выполняться последовательно⁶. Есть вышеуказанные (в п. 3) признаки, которые отличают все сложные политии (включая раннее государство) от политий простых. И только после разделения простых и сложных обществ можно пытаться типологически выделять среди сложных обществ ранние государства. Но для этого нужны иные методы, чем при сепарации простых и сложных обществ. Во второй части статьи на основании оговоренных методов сформулирована система критериев-признаков, с помощью которых можно достаточно четко различать между собой ранние государства и их аналоги, затем с их помощью ранние государства и их аналоги последовательно сопоставляются.

Предварительно укажем, что *раннее государство отличается от других (стадиально ему равных) форм* главным образом не размерами, уровнем сложности организации и решаемых задач, а *совокупными особенностями* политического устройства и управления, что *проявляется в:* 1) *росте значения верховной власти;* 2) *большей ее способности перестраивать традиционную структуру общества;* 3) *появлению или закреплению новых способов управления обществом (включая новые методы подбора управленческих кадров);* 4) *большей формализации политических и управленческих решений, включая возможность делегирования власти.*

II. АНАЛОГИ РАННЕГО ГОСУДАРСТВА: КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Основная типология

Уместно подчеркнуть, что главный интервал размеров аналогов находился в амплитуде от 15 до 70 тыс. человек.

Но было немало аналогов размером менее 15 и даже заметно менее 10 тыс. человек. Имелось определенное количество и более крупных аналогов, некоторые из них достигали сотен тысяч и даже миллионов человек. Классификацию государств и их аналогов по размерам см. во второй части статьи.

Принципы основной типологии

Следует учитывать, что приведенные ниже в примерах аналоги сильно отличаются друг от друга по развитости и размерам. Однако во всех случаях речь идет либо об унитарных политиях, либо о прочных политических союзах с институционализированными способами объединения. Указанные союзы имели какие-то общие верховные органы и механизмы, поддерживающие политическую устойчивость, и представляли, по крайней мере с точки зрения иных обществ, некое постоянное единство. Народы, имеющие только культурное единство, а политически способные объединяться лишь кратковременно для определенных действий (вроде нуэров, например: [Эванс-Причард 1985], или некоторых этнических групп Магриба, например: [Бобровников 2002]), не образуют политии, а следовательно, их нельзя считать аналогами раннего государства.

Все аналоги, как сказано выше, отличаются от ранних государств особенностями политического устройства и управления. Однако в каждом типе аналогов это проявляется по-разному. Например, в самоуправляющихся общинах недостаточно прослеживается отделение власти от населения; в конфедерациях налицо слабость централизации власти; в управляемых аристократическими кланами политиях фиксируется тенденция, с одной стороны, к ослаблению центральной власти, а с другой — к концентрации силы в руках кланов и т.п. Поэтому мы старались типологизировать аналоги по особенностям их политической формы, хотя полностью провести этот принцип достаточно трудно.

Нами выделены **следующие типы аналогов**.

1. Некоторые сложные самоуправляющиеся общины и территории, конфедерации общин или территорий.
2. Некоторые большие варварские («племенные») союзы с достаточно сильной властью верховного вождя («короля», хана и т.п.).

3. Большие этнополитические («племенные») союзы и конфедерации, в которых королевская власть отсутствовала.

4. Очень крупные, сильные в военном отношении государствоподобные объединения кочевников, внешне напоминавшие крупные государства.

5. Крупные и очень крупные сложные вожества.

6. Крупные и развитые политии, структуру которых сложно точно описать вследствие недостатка данных, однако, судя по тому, что известно, они не подходят ни под понятие «догосударственные образования», ни под определение государства.

7. Иные, специфические, формы аналогов (также следует иметь в виду, что многие исчезнувшие формы аналогов остались для нас неизвестными).

Далее мы рассмотрим их подробнее.

1. Самоуправляющиеся сложные общины и территории

1а. Городские и полисные общины. Примерами таких самоуправляющихся городских общин являются города этрусков (о них далее) и некоторые (но именно некоторые, а не все) греческие полисы⁷; гражданско-храмовые общины древней Южной Аравии (см.: [Korotayev et al. 2000: 23; Коротаев 1997: 136–137; 2000б: 266]). Одной из таких гражданско-храмовых общин древней Южной Аравии можно считать Райбун (I тыс. до н. э.), который включал комплекс храмов и сельскую территорию в обширном оазисе на площади до 15 км². Райбун обладал сакральным статусом также и в глазах своих соседей [Frantsuzov 2000: 259, 264; Французов 2000: 310]. Ведущую роль в делах играло жречество, среди которого было много женщин. По мнению С.А. Французова, в случае Райбуна мы имеем дело с системой, альтернативной государственной, с развитием, которое вело к возникновению высокоорганизованной культуры, но без формирования политических институтов, отделенных от общества. Однако — и это очень интересно — он считает, что такой тип социальной организации мог существовать только в сравнительной изоляции от окружающих государств, а неумение вести войну и предопределило его падение в первом же серьезном конфликте с ними [Frantsuzov 2000; Французов 2000]. Подобная корреляция между отсутствием войн и особыми политическими формами

прослеживается также и в некоторых других аналогах, в частности в Исландии (см. далее).

1б. Достаточно крупные самоуправляющиеся переселенческие территории. Исландия X–XIII вв. дает нам образец такого аналога, а вместе с тем и пример превращения малого аналога в более крупный. Ее история также демонстрирует, как рост объемов и сложности общества постепенно все же склоняет развитие аналогов к государственности. В конце XI в. в Исландии насчитывалось примерно 4500 сельскохозяйственных дворов [Филатов 1965: 342], а население, вероятно, составляло около 20–30 тыс. человек. Затем оно сильно увеличилось и в XIII в. достигло 70–80 тыс. человек [Там же: 343]⁸. Соответственно изменилась и социальная структура общества. В начале XI в. было принято решение о разделе крупных земельных хозяйств знати (хавдингов) между протофермерами (бондами), который завершился в середине XI столетия [Ольгейрссон 1957: 179–191]. Таким образом, Исландия превратилась в общество бондов-«средняков». Однако через некоторое время вследствие роста населения число арендаторов («держателей») земли вновь стало увеличиваться, и в конце концов они начали составлять большинство населения. В результате уже в XII столетии имущественное и социальное неравенство вновь так усилилось, что стало влиять на трансформацию основных институтов исландского общества [Гуревич 1972: 8, 9; см. также: Хьяульмарссон 2003: 53–55]. Усилению неравенства в обществе и изменению структуры последнего также способствовало введение в самом конце XI в. церковной десятины [Там же: 50].

Необычайно ужесточились и кровавые раздоры, хотя ранее военные действия не были ни столь жестокими, ни столь массовыми (см., например: [Стеблин-Каменский 1971: 78]). Причиной междоусобиц среди хавдингов все чаще была жажда добычи и власти [Гуревич 1972: 9]. Таким образом, необходимый для формирования государства элемент социально-политического насилия, прежде в Исландии почти отсутствующий, стал усиливаться, что, несомненно, способствовало движению общества именно к государственности.

1в. Крупные группы различного рода изгоев, проживающих на определенной территории, имеющих собственные органы самоуправления и представляющих собой организо-

ванную и грозную военную силу. Например, донские и запорожские казаки⁹ и аналогичные им вольные люди вроде гайдуков или граничар, то есть жителей хорватско-сербской Крайны [Штырбул 2006: 222–226].

В какой-то мере к такого рода самоуправляющимся организациям могут быть отнесены различные организации пиратов, в частности береговые братства пиратов в Карибском море и некоторых других ареалах [Leeson 2007] (см. также: [Штырбул 2006: 227–243; 2007; Архенгольц 1991]).

2. Некоторые большие варварские («племенные») союзы с сильной властью верховного вождя («короля», хана и т.п.)

2а. Более или менее устойчивые этнополитические союзы, то есть объединения, этнически однородные или имеющие крепкое моноэтническое ядро. Примером могут служить некоторые германские объединения периода Великого переселения народов (бургунды, салические франки, остготы, вандалы и др.), численность которых составляла от 80 до 150 тыс. человек (см., например: [Бессмертный 1972: 40; Ле Гофф 1992: 33; Неусыхин 1968; Удальцова 1967: 654; Патрушев 2003: 14]; см. также: [Гомеров 2002: 279]); союзы некоторых галльских народов, в частности в Белгике и Аквитании (см.: [Шкунаев 1989: 140]). При этом у некоторых королей варварских образований времен Великого переселения народов личные дружины составляли несколько сот человек [Санников 2003].

2б. Очень крупные политии, возникшие в результате успешных войн, но непрочные и этнически разнородные. Примерами являются гуннский союз Аттилы V в. н. э. (см.: [Корсунский, Гюнтер 1984: 105–116; Голден 2004; Сиротенко 1975]), аварский каганат хана Баяна второй половины VI в. н. э. (см.: [Голден 2004]). Данных о структуре этих политий практически очень мало, однако имеются некоторые основания предполагать, что аварский каганат был более развитым и более близким к государственным образованиям, чем гуннская держава (см.: [Там же: 113–115]), поэтому неудивительно, что он был и более долговечным.

Близким к такому типу был союз во главе с готским вождем Германарихом в Северном Причерноморье в IV в. н. э., который состоял из многих разноязычных, чуждых друг дру-

гу племен, в том числе кочевых и земледельческих [Смирнов 1966: 324; Щукин 2005: 206]. Даже среди самих готских племен не было достаточного единства и прочных внутренних связей, не говоря уже о покоренных ими племенах (см.: [Буданова 1990: 133–136]), в том числе из-за своеволия аристократии [Тиханова 1958]. Но готы достигли более высокого уровня социальной стратификации и культурной сложности, чем гунны и авары [Там же; 1963], и они, как считает И.В. Зиньковская, стояли «между варварством и цивилизацией» [Zin'kovskaya 2004], поскольку приняли христианство в его арианской версии и использовали письменность. Влияние более высокой культуры скифо-сарматского мира и городов Северного и Западного Причерноморья (Ольвия, Тир, которые готы захватили около 260 г. н. э.) ускорило развитие готских племен [Тиханова 1963: 668]. Впрочем, черняховская культура, на части территории которой располагались готы, имела необычно высокий для варваров уровень цивилизации и владения «высокими технологиями» [Щукин 2005: 195] (о готах см. также [Сиротенко 1975: гл. I, II]).

2в. Союзы племен под руководством того или иного выдающегося лидера, состоящие из этнически близких народов, но не очень прочные, обычно распадающиеся после смерти лидера или даже при его жизни (как это случилось с союзом Маробода). Они являются как бы промежуточным типом между аналогами, описанными в пунктах «2а» и «2б». В I в. до н. э. — II в. н. э., например, у германцев возникали крупные союзы: свевский союз Ариовиста, союз херусков Арминия, маркоманский союз Маробода, батавский союз Цивилиса и другие (см. о них: [Неусыхин 1968: 601–602; Oosten 1996; Санников 2002; 2003; Буданова 2000; Колосовская 2000]).

О масштабах некоторых образований можно судить по союзу Маробода (конец I в. до н. э. — начало I в. н. э.). Маробод объединил маркоманов с лугиями, мугилонами, готами и другими германскими народами и создал крупную армию по римскому образцу, насчитывающую 70 тыс. пехоты и 4 тыс. конницы [Колосовская 2000: 42; СИЭ 1966: 123]. Другими примерами подобных аналогов являются гето-дакский союз Бурбисты I в. до н. э. (см. о нем: [Федоров, Полевой 1984; Колосовская 2000]) и объединение славянских

племен (Само) Богемии и Моравии VII в. н. э. (см.: [Lozny 1995: 86–87]).

2г. Крупные потестарные образования, которые удерживались в единстве в основном силой авторитета вождей, а не силой принуждения. Например, доинкское вожжество Лупака (XV в.) в Перу имело население более 150 тыс. человек, и им управляли два верховных вождя без института принудительной силы, а специализированный и принудительный труд имел место, по сути, на основе взаимного согласия [Schaedel 1995: 52].

3. Большие этнополитические («племенные») союзы и конфедерации без королевской власти

В таких союзах и конфедерациях королевская власть иногда не существовала вовсе, а иной раз была упразднена в ходе тех или иных политических процессов. Формы и способы упразднения королевской власти могли быть разными. Достаточно частой причиной являлась борьба между усиливающим свою власть вождем и знатью, не желающей иметь над собой единоличного правления. Кандидаты в тираны могли свергаться или даже быть убиты (см., например: [Санников 2003])¹⁰.

3а. Этнополитические союзы без королевской власти.

Примерами могут служить саксы в Саксонии; эдуи, арверны, гельветы в Галлии. Причем необходимо особо подчеркнуть, что процессы социальной стратификации, имущественного расслоения и функциональной дифференциации у них (особенно у галлов) зашли весьма далеко и опережали политическое развитие.

У саксов (в Саксонии) до их завоевания Карлом Великим королевская власть отсутствовала, но во главе племенных подразделений стояли «герцоги». Общее военное командование осуществлял «герцог», избранный по жребию [Колесницкий 1963: 186]. Политическая организация всей территории осуществлялась в форме своеобразной федерации отдельных областей. Общие дела решались на собрании представителей областей в Маркло на Везере [Колесницкий 1963]. Саксы (за исключением рабов) делились на три социальных слоя: родовую знать (эделингов-нобилей), свободных (фрилингов-liberi) и полусвободных литов. При этом существовали резкие различия в правовом статусе между

нобиями и фрилингами [Неусыхин 1968: 608; СИЭ 1969а: 479], что было юридически закреплено в *Саксонской правде* [СИЭ 1969б: 475].

О высоком уровне социального развития у саксов говорит и такой общеизвестный факт, что в V–VI вв. н. э. часть их переселяется в Британию и образовывает там государства во главе с королями [Hunter Blair 1966: 149–168; Chadwick 1987: 71; Вильсон 2004: 22–27; Мельникова 1987: 8–11]. А на континенте еще в конце VIII в. у саксов не было достаточно сильной королевской власти. Все это подтверждает высказанную нами идею (см. заключение), что для образования государства, помимо объективных и конкретно-исторических условий, необходимы еще и экстремальные ситуации (триггеры).

Галлия времен завоевания Юлием Цезарем была очень богатой территорией с огромным населением (по разным подсчетам, от 5 до 10 и более миллионов человек [Бродель 1995: 61–62]), большим количеством городов, развитыми торговлей и ремеслами, население некоторых из них достигало десятков тысяч человек [Шкунаев 1989: 134, 143]. Площадь некоторых городов достигала 100 гектаров и более, и они были укреплены мощными стенами (см.: [Филип 1961: 116–129; Монгайт 1974: 248–253]).

Социальное расслоение было велико [Clark and Piggott 1970: 310–328]. По свидетельству Цезаря [Галльская война VI: 13], простой народ был лишен политических прав, жил на положении рабов, а многие, страдая от долгов и обид, добровольно отдавались в рабство знатым горожанам (см. также: [Леру 2000: 125]). В то же время знатные галлы имели по несколько сот, а самые знатные — по несколько (до десяти) тысяч клиентов и зависимых людей, из которых они формировали конное войско, заменявшее всеобщее ополчение и тем самым противостоящее основной массе галлов [Бесмертный 1972: 17; Цезарь. Галльская война I: 4]. Власть вождей слабела и переходила к выборным или назначенным магистратам [Chadwick 1987: 58]. В аристократических без королевской власти *civitas* (так римляне называли галльские политии по аналогии с названием своей) имелось военное единство, а механизмы принятия политических и иных решений реализовывались посредством одного или нескольких выборных магистратов — вергобретов [Шкунаев 1989:

139, 140, 144]. Однако привилегии аристократии были столь сильны, что она старалась свести политическую централизацию к нулю (см., например: [Леру 2000: 123–127]); кроме того, постоянное соперничество, возникавшее между знатными людьми за должности магистратов, приводило к распрям и вооруженным конфликтам [Тевено 2002: 137]. Аристократия пыталась ослабить центральную власть, поскольку боялась возможности появления монархии, к которой тяготел народ. Страх перед монархией (а кандидаты на престол или диктатуру во время войны с римлянами обозначались) у аристократии отдельных народов галльских политий (например, эдуев) был столь велик, что аристократы шли на стовор с римлянами (см. об этом: [Штаерман 1951]).

Численность отдельных племенных галльских союзов и конфедераций была очень большой. Например, число гельветов, которые стремились в 58 г. до н. э. переселиться в Западную Галлию, по разным данным, составляло от 250 тыс. до 400 тыс. (см., например: [Шкунаев 1988: 503]). Кроме того, среди крупных объединений выделялись своего рода гегемоны, от которых зависело много других племен. Как сообщает Цезарь [Галльская война VI: 11–12; I: 31], эдуи, победив своих соперников секванов, перед вторжением римлян приобрели гегемонию в Галлии и брали заложников из других племен для обеспечения их лояльности. Тем не менее во всех галльских общинах были сторонники как эдуев, так и секванов. Это несколько напоминает ситуацию во многих греческих полисах, жители которых делились на сторонников Афин и Спарты.

36. Конфедерации различных по форме обществ. Такие союзы порой образовывали весьма устойчивые и сильные с военной точки зрения политические образования. Например, конфедерации племен вроде ирокезской [Морган 1983; Фентон 1978; Vorobyov 2000], туарегов (по крайней мере некоторые из их конфедераций, см.: [Першиц 1968; Лот 1989; Кобищанов 1989; Хазанов 2008: 292–297]; см. также: [Гринин 1997: 28]), печенегов [Marey 2000; а также: Васютин 2002: 95]. Правда, тут уместно процитировать А.М. Хазанова, что большинство «федераций» и «конфедераций» (по крайней мере у кочевников) создавалось отнюдь не на добровольной основе [Хазанов 2006: 478]¹¹.

Зв. Конфедерации (федерации) городов. Примером служит этруская конфедерация. Сами этрусские города, в которых было олигархическое правление военно-служивой и жреческой знати [Неронова 1989: 376; Залесский 1959], скорее всего, не являлись государствами (насколько можно судить по скудным данным), а представляли собой аналоги малого государства. После изгнания царей в VI или V в. до н. э. в городах управляли аристократические органы, напоминающие сенат, и выборные магистраты. Сама по себе такая форма свойственна как государствам, так и аналогам, вопрос — в четкости ее организации и эволюционных перспективах. И судя даже по скудным данным, политическая эволюция Этрурии сильно отличалась от эволюции Рима. Создается впечатление, что изменения в политических порядках и военной организации были не слишком значительными и небыстрыми, как это и свойственно аналогам. Этому способствовала и аристократическая «вольница». Если, например, в Риме запрещалось занимать должности магистратов дважды, то в Этрурии известны факты, когда одни и те же должности занимались 7 раз [Макнамара 2006: 160]. Если в Риме пошли по пути расширения гражданских прав, то в Этрурии продолжали господствовать аристократические кланы, в отдельных случаях доведшие свои города до революций [Там же].

Федерация 12 этрусских городов представляла собой аналог уже среднего по размерам государства. Можно сравнить по эволюционному динамизму греческие и этрусские города. Первые смогли быстро создать военно-политический союз против Персии, а после победы над ней политическая жизнь Эллады вращалась вокруг борьбы двух крупных военно-политических объединений: Афинского морского и Пелопонесского союзов. Этрусские же города хотя и имели федерацию, но она была «преимущественно религиозным союзом» (см.: [Неронова 1989: 379]), причем города редко и с трудом объединялись для совместных действий, в большинстве войн воевали в одиночку или заключали союзы вообще с другими политиями [Макнамара 2006: 157]. И даже при римской угрозе этот союз не стал военно-политическим, что и явилось важнейшей причиной потери независимости Этрурией.

Зг. Федерации (или конфедерации) политически независимых общин. Такие федерации, представляющие автономные сельские территории, известны, например, у горцев. При этом низовые члены такого союза могли быть как вождествами, так и безвождескими сложными самоуправляемыми общинами¹².

Яркие примеры таких конфедераций демонстрирует Нагорный Дагестан накануне его инкорпорации в Российскую империю (см.: [Агларов 1988]). Общины (джамааты), входившие в федерации (так называемые «вольные общества»), иногда и сами по себе представляли весьма крупные поселения (*аулы*). Некоторые общины насчитывали до 1500 и более домов [Там же], то есть были размером с небольшой полис, и имели многоуровневую (до пяти уровней) систему самоуправления [Там же: 186]. А федерация, иногда объединявшая по 13 и более аулов, представляла собой политическую единицу в десятки тысяч человек с еще более сложной организацией. Между семейными группами (тухумами) существовали социальное неравенство и различие в рангах [Там же]. Стоит отметить, что такие «вольные общества» в Дагестане сосуществовали с «ханствами», «уцмийствами» и прочими политиями (например, Кубинское, Кюринское, Дербентское ханства у лезгинов; Кайтагское уцмийство у даргинцев и т.д. [Сергеева 1988: 151; Османов 1988: 252]), которые были близкими по структуре к небольшим государствам или крупным вождествам.

Другим примером служат группы деревень (*village groups*) в Юго-Восточной Нигерии, нередко объединяющие десятки деревень с общим населением в десятки тысяч (предельно — до 75 тыс.) человек. Каждая такая группа деревень имеет собственное название, внутреннюю организацию и центральный рынок [McIntosh 1999: 9].

Зд. Гетерархии. Общества, подобные описанным в пункте «Зг», равно как и некоторые иные формы обществ, аналоговых раннему государству, являются, по классификации К. Крамли [Crumley 1995; 2001; Ehrenreich, Crumley and Levy 1995: 3] гетерархиями. Связи в гетерархиях в основном горизонтальные, решения принимаются на основе согласования между крупными единицами (общинами, различными корпорациями, союзами, профессиональными или религиозны-

ми объединениями и т. п.), на основе учета интересов, сложившихся традиций и механизмов и т.п.

«Такие гетерархические общества могут быть достаточно сложными, и их можно обнаружить по всему миру», включая азиатские общества, такие как некоторые сообщества кочевников в Мьянме и многие африканские общества [Claessen 2004: 79].

4. Государствоподобные объединения кочевников

Исследователей всегда привлекали очень крупные и сильные в военном отношении объединения кочевников, внешне напоминавшие крупные государства. Многие, например А.М. Хазанов [1975; 2006; 2008; Khazanov 1978; 2008], рассматривают их как государства. Т. Барфилд называет их «имперскими конфедерациями» [2006] или «теневыми империями» [2009], а Н.Н. Крадин — «кочевыми империями» [1992]. Но, с точки зрения нашей теории, *их можно считать аналогами крупного раннего государства, относящихся к типу государствоподобных крупных образований* (см.: [Гринин 2008 и др. соч.]). К таким аналогам относится, например, «империя» хунну, образованная под властью шаньюя Моде в конце III в. до н. э. Возможно, в ней проживало 1–1,5 млн человек [Крадин 2001а; 2001б]. Она была настолько сильна, что китайцы сравнивали ее со Срединной империей, то есть с Китаем [Гумилев 1993: 53]. Такие крупные негосударственные образования Н.Н. Крадин обозначает как «суперсложные вождества», что, однако, не кажется нам очень удачным, поскольку такие политии не выглядят более сложными, чем, например гавайские, зато понятие вождества дополнительно размывается¹³.

По нашему мнению, государствоподобным аналогом вполне можно считать и Скифию VI–V вв. до н. э. Скифия была крупным иерархическим многоуровневым объединением, в котором обеспечивалось относительное военное и некоторое идеологическое единство и имелись отношения редистрибуции (в виде дани и повинностей). Скифия делилась на три царства во главе с царями, один из которых, по видимому, был верховным правителем. Существует также мнение, что в целом Скифия управлялась обособленным царским родом, который правил по принципам улусной системы (см.: [Хазанов 1975: 196–199; 200; Гуляев 2005: 239]).

Цари имели собственные военные дружины. У скифов выделялись аристократия и жрецы, хотя и не ясно, представляли ли они обособленное сословие или в организации были подобны волхвам (см., например: [Гуляев 2005: 324]; см. также: [Мурзин 1990: 71–72]). Аристократы имели частные дружины воинов и большие богатства. Скифия, по мнению М.И. Ростовцева, А.И. Треножкина и некоторых других исследователей, представляла собой организованное на военный лад сложное общество, где военачальники-аристократы собирались вместе со своими дружинами по призыву царя на крупные военные мероприятия. Аристократия жила за счет доходов от собственного хозяйства, дани и военной добычи (см.: [Гуляев 2005: 236–238]). Но в остальном жизнь общества со стороны власти регулировалась слабо¹⁴. Словом, методы управления в Скифии оставались еще в основном традиционными, негосударственными, и она представляла собой политику, у которой внешние функции были развиты гораздо сильнее, чем внутренние (даже если к внутренним относить сбор дани). Скифия в своей организации весьма напоминает другие аналоги раннего государства, которые создавались кочевниками, например хунну, хотя, по видимому, и уступает последним по уровню политической культуры. Таким образом, ранним государством ее считать нельзя, но, разумеется, и на обычное догосударственное общество она никак не походит.

В конце V — первой половине IV в. до н. э. при царе Атее в Скифии происходит переход к раннему государству [Мелюкова, Смирнов 1966: 220]. Атей устранил других царей, узурпировал власть и объединил всю страну — от Меотиды (Азовского моря) до низовьев Дуная — и даже стал продвигаться на юго-запад, за Дунай [Там же]¹⁵. Развитию государственности и укреплению царской власти способствовал рост торговли хлебом, особенно с Боспором, которую контролировала верхушка общества, и в целом процессы седентеризации (см.: [Граков 1971: 38; Мелюкова, Смирнов 1966: 219–220]). В экономическом отношении появился более прочный базис для государства в результате усилившегося процесса перехода части скифов к оседлости и расширения торговли. Косвенным свидетельством того, что государство в Скифии образовалось не в VII–VI вв. до н. э., как считают Хазанов и Гуляев [Хазанов

1975; 2008; Khazanov 1978; Гуляев 2005: 239], а только в конце V — первой половине IV в. до н. э., служит тот факт, что именно IV в. до н. э. датируются наиболее многочисленными, богатыми и известными захоронениями в Скифии, а скифские памятники VII–VI вв. до н. э. малочисленны и их количество существенно увеличивается только в V в. (см., например: [Мурзин 1990: 51; Граков 1971: 34]).

5. Сложные (комплексные) вожества

Давно отмечено, что во многих случаях различия между сложными вожествами и зачаточными ранними государствами малозаметны (см.: [Кочакова 1999: 10; 1991: 57])¹⁶. Это тем более справедливо в отношении крупных (и особенно очень крупных) сложных вожеств, которые, по нашему мнению, можно считать аналогами раннего государства. Ни по размерам, ни сложности они не уступают малым и даже средним государствам¹⁷. Некоторые примеры такого рода аналогов — сложных вожеств уже приводились выше (см. также об очень крупных вожествах на о. Гаити в конце XV–XVI вв.: [Александренков 1976: 143–151]).

Но в качестве наиболее показательного примера крупных вожеств как аналогов раннего государства стоит взять гавайские. Это особенно важно, учитывая, что к моменту контактов с европейцами социальная организация на Гавайских островах была наиболее сложной из всех полинезийских и, возможно, даже из всех когда-либо известных вожеств [Earle 2000: 73; см. также: Johnson, Earle 2000: 284].

Как известно, гавайцы достигли значительных хозяйственных успехов, в частности в ирригации (см.: [Earle 1997; 2000; Johnson, Earle 2000; Wittfogel 1957: 241]), среди них наблюдался очень высокий уровень стратификации и аккумуляции прибавочного продукта элитой [Earle 1997; 2000; Johnson, Earle 2000; Sahlin 1972a; 1972b], для них было характерно и основательное идеологическое обоснование привилегий высшего слоя. К моменту открытия Гавайских островов Джеймсом Куком здесь сложилась политическая система, когда сосуществовало несколько крупных вожеств, границы которых определялись отдельными островами: Кауаи, Оаху, Мауи, Гавайи [Эрл 2002: 78]. Войны были обычным явлением. В результате удачных или неудачных войн, браков и иных политических событий время от време-

ни политики то увеличивались, то уменьшались в размерах, иногда вовсе распадались, как это вообще свойственно вождествам. Число жителей отдельных вождеств колебалось от 30 до 100 тыс. человек [Johnson, Earle 2000: 246]. Вождества делились на «районы» от 4 до 25 тыс. человек [Harris 1995: 152]. Таким образом, все *объективные* условия для образования раннего государства в этих вождествах уже были: достаточная территория и большое население, высокая степень социальной стратификации и значительный прибавочный продукт, сильная власть верховного вождя и жесткая иерархия власти, развитая идеология и территориальное деление (разделение на «районы»), частые войны и др. Но отсутствовали *конкретно-исторические условия* и «*триггеры*». Поэтому-то государства здесь в доконтактный период так и не появились.

Важно отметить: точка зрения, что в конце XVIII в. на Гавайях государства еще не было, разделяется большинством исследователей (например: [Earle 1997; 2000; Harris 1995: 152; Johnson, Earle 2000; Sahlins 1972a; Service 1975; Салинз 1999]). Однако некоторые антропологи (см., например: [Seaton 1978: 270; van Bakel 1996; Bargatzky 1985]) считают, что на Гавайях раннее государство существовало еще до прибытия туда кораблей экспедиции Кука в 1778–1779 гг. Разумеется, очень многое зависит от того, что считать государством, не говоря уже об отсутствии письменных источников по доконтактным Гавайям.

Почему Гавайи были аналогом, а не ранним государством? Далее мы попробуем доказать с позиции представленной в данной статье теории, что на Гавайях был именно *аналог* раннего государства (вождество высшей степени сложности), а не раннее государство. Главный принцип построения политической организации власти в гавайских вождествах был жестко связан с родственной иерархией, которая основывалась на генеалогической близости к предкам, линиджу верховного вождя и к самому вождю. Линии старших братьев и сыновей считались более высокими среди остальных. Соответственно родные братья приобретали разный статус. Таким образом, вся политическая и социальная иерархия строилась вокруг родственных отношений, а правящие слои представляли собой эндогамные касты (см., на-

пример: [Earle 1997: 34–35; Service 1975: 152–154; van Bakel 1996; Bellwood 1987: 98–99]).

Хотя политику, которая только находится на пороге вступления в состояние раннего государства, методологически правильно анализировать с позиций определения именно *раннего* государства, все же будет полезно начать сравнение гавайских политий с определения государства в целом, а затем перейти к сравнению их с государством ранним. Согласно нашему определению (см. Введение), государство должно представлять не просто отделенную от населения организацию власти, но систему специальных (специализированных) институтов, органов и правил. Гавайские вождества имели отделенную от населения организацию власти и в этом плане приближались к государству. Но представляла ли эта организация систему **специальных** и тем более специализированных институтов, органов и правил? Нет, *систему органов власти на Гавайях назвать специализированной нельзя*. Детерминатив «**специальные**» предполагает, что эти институты, органы и правила возникали в первую очередь для политического и административного управления, что они имели в рамках всего общества именно такую управленческую направленность. На Гавайях же она представляла собой систему обеспечения сословно-кастового господства определенных линиджей и кланов вождей разных рангов в целом, где политические, экономические, этические и духовные аспекты являлись неразрывным целым. Причем в этом симбиозе идеологический момент был самым важным (см., например: [Service 1975: 158]), дающим прочную легитимность власти высшего сословия (*алии, то есть благородных*). По этой причине, вероятно, не появился и специальный судебный орган. Дружины вождей главным образом были необходимы для войн и в существенно меньшей степени являлись инструментом эксплуатации общества в отличие, скажем, от Древней Руси. Власть вождей и возможность изъятия прибавочного продукта в большой мере держались на их идеологической силе и традициях. И в еще меньшей степени специфически государственными можно считать правила в виде различных *табу*, с помощью которых гавайские вожди укрепляли и часто реализовывали свою власть, а наиболее важные *табу* обеспечивали власть высшего сословия *алии* в целом.

Еще один важный момент, согласно которому гавайские политики не подходят под наше определение государства (как и раннего государства), — *недостаточная или просто слабая возможность «изменять отношения и нормы» с помощью политической власти*. Поскольку вековые традиции, обычаи и вера в особые сакральные качества вождей были важнейшей опорой власти в гавайских вождествах, постольку возможности существенно менять традиционные отношения на Гавайях почти отсутствовали. Мы имеем в виду возможности менять их коренным образом, путем реформ и политических решений. Менялся «персональный состав» вождей, изменялись и границы вождеств, табу накладывались на что-то или снимались, колебались в определенных рамках нормы повинностей. Но все институты и нормы оставались в основном прежними.

Рассмотрим теперь Гавайи в аспекте их соответствия дефиниции *раннего* государства (см. выше вводный раздел к статье; см. также: [Гринин 2007а]).

Если обратиться к приведенному нами определению раннего государства, то гавайские политики не соответствуют пункту «в», согласно которому *раннее государство — это организация власти, построенная (полностью или хотя бы в значительной части) не на принципе родства*. Слово-сочетание в «значительной части» означает, что в ранних государствах существует заметная социальная мобильность при формировании и пополнении слоя администраторов (по крайней мере среднего слоя управленцев), которая в гавайских вождествах практически отсутствовала. А чем строже ограничения на вхождение в аппарат управления «со стороны», тем труднее политике перейти к собственно государственным методам управления (см.: [Гринин 2001–2006; Grinin 2004a: 110–111]).

Хотя во многих ранних государствах, подобно тому что было в Чжоуском Китае [Крил 2001; Васильев 1993] или даже в Древней Руси, родственные отношения играли большую роль в формировании высшего слоя управителей и администраторов государства (каковыми были, например, древнерусские князья), средние слои пополнялись в основном из других страт и источников, включая и неполноправных (см., например, относительно Руси: [Ключевский 1937,

т. 1; Фроянов 1999)]¹⁸. Кроме того, с течением времени, как убедительно показали Классен и Скальник [Claessen, Skalnik 1978a], значение родства в государстве падает.

В гавайских же политиях идеология родства была слишком сильна, поэтому даже средние слои состояли в основном из дальних родственников правящей линии (они часто были родственниками главных вождеских фамилий (см., например: [Bellwood 1987: 98])). В любом случае попадание даже в этот слой было крайне затруднительным, если вообще возможным, поскольку он состоял из вождей же, только меньшего ранга, их близких родственников и дальних родственников *алии* [Service 1975: 152]. Такой местный вождь мог быть членом свиты высшего вождя или его воином [Earle 1997: 44], и только нижние слои (слуги, ремесленники) состояли не из родственников (и то, по всей видимости, не полностью).

С учетом вышесказанного, гавайским политиям мешали стать государством следующие обстоятельства.

1. Жесткое социальное деление по признаку родства. Социальное положение человека определялось едва ли не по единственному критерию — генеалогической близости к старшей родственной линии (см., например: [Bellwood 1987: 97–98; Claessen 1996; Sahlins 1972a]), то есть место человека в родственной иерархии предопределяло его положение в системе управления. С объединением Гавайских островов Камеамеа I в начале XIX в., уничтожением или понижением значимости побежденных вождеских родов (в том числе путем конфискации их земель) возросли возможности для включения незнатных или недостаточно знатных людей в правящий слой. В частности, приближенные нового короля получили власть и земли на завоеванных территориях, позже на службу были привлечены иностранцы, которые даже были наделены имениями с даровой рабочей силой (см.: [Тумаркин 1964: 94; 88–90; 1971: 21] и др.).

2. Запутанность родственных отношений, включая и распространение поддельных родословных, трудности изменения сложившейся системы не позволяли гавайским вождествам перераспределить властные полномочия в пользу центра. В этом плане формирование единого правящего рода и уничтожение вождеской знати подорвало возможности со-

противления центру, которое, как правило, возглавляли недовольные и обиженные вожди (см.: [Sahlins 1972b]), что и дало возможность усилить власть центра, а это было важным толчком для формирования собственно государства. Стоит также отметить, что в отличие от верховного вождя король стал менее зависеть от своих приверженцев.

3. Слишком сильная роль традиций (то есть превосходства старших родственных линий и оправдывающей его религии) и соответственно слабая роль новых и нетрадиционных форм и способов регулирования жизни. С образованием единого государства изменилось очень многое не только в политической, но и в социальной жизни, в быте высших слоев, даже в придворном церемониале, обычаях и одежде при дворе [Ёрл 2002: 79; Johnson, Earle 2000: 294].

4. Слабые возможности центра для изменения отношений в обществе, поскольку весь порядок держался на идеологии сакральности и превосходства знатных кланов и линиджей; всякие изменения подрывали не просто идеологию, но и само положение правящей группы. Радикально иначе обстояло дело после образования государства. Сын Камеамеа I, Камеамеа II, как известно, просто отменил старую религию, все обряды и жертвоприношения, табу, предписал разрушить все храмы и святилища, уничтожить изображения богов [Токарев, Толстов 1956: 654]¹⁹. Поэтому Сервис и другие исследователи небезосновательно говорят о «гавайской культурной революции» [Service 1975: 156–158; Davenport 1969; см. также: Ла-тушко 2006].

На Гавайях также отсутствовало самоуправление, столь обычное для ранних государств. Даже в варновой Индии самоуправление (сельская община) играло очень важную роль. Если самоуправление и исчезает в некоторых ранних государствах, как, например, в Египте Древнего царства, то оно заменяется именно государственным аппаратом, а не чисто сословно-кастовым делением.

В то же время гавайские политии вполне сравнимы с ранними государствами и даже превосходят некоторые из них по размерам, социокультурной сложности, степени социальной стратификации и централизации власти. Так, население самого крупного вожества Гавайского архипелага (на самом о. Гавайи) составляло сто тысяч человек [Johnson, Earle

2000: 285] или даже больше (см.: [Wright 2006: 6]), что в **сто** раз превосходит численность населения типичных простых вожеств, подобных тем, какие, например, были на Тробрианских островах [Ibid: 267–279]. По мнению А. Джонсона и Т. Ёрла, только число вождей на о. Гавайи могло доходить до **тысячи человек**, то есть равнялось всему количеству жителей одного тробрианского вожества [Johnson, Earle 2000: 291]. Иными словами, здесь, очевидно, речь идет уже не столько о вождях-управленцах, сколько о своего рода приимитивной касте, которую можно назвать вождеской.

Величина и развитость гавайских вожеств дают все основания считать их аналогами малых ранних государств, а вождество на о. Гавайи — даже аналогом среднего государства.

6. Политии с неопределенными признаками

Структуру этих политий едва ли можно точно описать вследствие недостатка данных; однако, с другой стороны, учитывая их размеры и уровень культуры, есть веские основания не считать их ни догосударственными образованиями, ни государствами. В качестве яркого примера можно взять Индскую, или Хараппскую, цивилизацию. Эта огромная древняя цивилизация значительно превосходила размерами территории такие древние цивилизации, как египетская и месопотамская [Бонгард-Левин, Ильин 1969: 92]. Большое число жителей концентрировалось в двух крупнейших городах, Хараппе и Мохенджо-Даро [Там же: 96–97; Вигасин 2000: 394]. В индской цивилизации существовала социальная стратификация. Были высоко развиты ремесла и торговля [Бонгард-Левин, Ильин 1969: 101–103; Possehl 1998: 289]. Эта цивилизация в целом объединялась общностью культуры и идеологии. Об этом свидетельствуют письменность, система весов и измерений, архитектурные стандарты, а также то, что керамика, украшения, статуэтки, изделия из металла и др., которые находят на территории примерно 1 млн км² и которые принадлежат к эпохе длительностью примерно в 600 лет, свидетельствуют о наличии общего стиля, хотя и с существенными вариациями [Possehl 1998: 289; см. также: Файрсервис 1986: 197].

Таким образом, индская цивилизация являлась сложным социальным организмом (или их группой). Но сказать что-то о ее социальной организации достаточно трудно [Массон

1989: 202–203]. Состояло ли общество из трех групп: жречества, основной массы и «рабочих», как предполагает Б.Б. Лал [Lal 1984: 61], или там была иная социальная стратификация, не ясно. Еще менее ясна картина политической организации [Массон 1989: 203]. В этом отношении высказывается много разных предположений. Политический строй иногда определяют как миролюбивое, без царской власти и репрессивного аппарата общество религиозного толка, где главным было не насилие, а религиозное воздействие [Косамби 1968: 78]; как торговую олигархию с наследственной властью; как империю с сильной централизованной властью, сосредоточенной в двух или трех столицах, с основной эксплуатируемой массой сельского населения (см. об этом: [Щетенко 1979: 182 и др.]).

Но сегодня некоторые исследователи не без основания считают, что индская цивилизация не была ранним государством. Во всяком случае, несмотря на большой объем раскопок, в отличие от Египта и Месопотамии здесь не обнаружены признаки существования правителей (см. ниже) и лиц, концентрировавших в своих руках значительные материальные ценности. Не сосредоточивались ценности и в храмах (см.: [Антонова 2004: 89]). Слабо проявлялись в обществе воинские функции [Там же]. Поэтому идея Шаффера, что харалпская цивилизация не являлась ни догосударственной по своей форме, ни государством, а могла быть уникальной формой организации в том смысле, что в археологических, исторических или этнографических данных нет близкой параллели (см.: [Possehl 1998: 283–285]), заслуживает всяческого внимания.

Согласно Г. Посселу, эта цивилизация была «примером древней социокультурной сложности без архаической государственной формы политической организации» [Ibid.: 290]. При этом есть основания полагать, что политическая система была сегментированной и децентрализованной, а монарх отсутствовал [Ibid.: 289; см. также: Файрсервис 1986: 197]. В частности, нет ярко выраженных признаков дворцового хозяйства. Также нет доказательств существования центрального правительства или бюрократии (это важно в свете вышеуказанных идей о сильной империи), что, как считает Г. Поссел, дает повод предполагать: более древняя «племенная» организация обладала политической властью в регио-

нальном контексте. Все это, конечно, не служит однозначным доказательством отсутствия государства, как отсутствие монарха не доказывает, что государства не было, например, в некоторых греческих полисах или городах-государствах средневековой Италии. Но то, что в этой цивилизации было всего два или три крупных города наряду с сотнями городков и поселков, делает ее непохожей на систему греческих полисов²⁰. Имела ли эта структура определенные теократические элементы, характерные для ранней стадии развития политических систем первых цивилизаций (см., например: [Массон 1989: 203]), трудно сказать. Но теократия не так уж хорошо сочетается с развитой торговлей и мореплаванием и скорее присуща небольшим социумам. А структура этой цивилизации существенно непохожа на ту, в которой сосуществует много автономных храмовых центров, как это было в Месопотамии.

Таким образом, есть серьезные основания предполагать, что *индская (харатпская) цивилизация была специфическим типом аналога раннего государства.*

7. Другие формы аналогов

Как уже сказано, могли быть самые неожиданные формы аналогов, две такие формы приводятся ниже (некоторые приведены в следующем разделе).

7а. Тайные союзы. Тайные общества (союзы) были распространены в Меланезии, Африке и других частях света. Число тайных союзов было весьма большим (см.: [Токарев 1980: 314]), а их типы разнообразны, однако многие принципы их образования и функционирования весьма похожи [Новожилова 2000: 110–111; см. также: Белков 1993: 94–97]. В целом им был свойствен акцент на разрыв с родовой структурой (см.: [Новожилова 2000: 110; Андреев 1998: 45; Куббель 1988: 240–241]). Они служили для повышения статуса, престижа, власти и обогащения своих членов, реализации их возможностей и амбиций. В тайных обществах начинали функционировать новые принципы социальной стратификации, так как различия между членами возникали в соответствии с рангом, должностью, имущественным состоянием или взносом, заслугами и т.п.

Правомерно предположить, что некоторые тайные союзы в Африке могли вырастать до аналогов ранних государств,

особенно если подобные союзы становились фактически частью аппарата власти, как это было, например, у *менде* и *темне* в Западной Африке [Куббель 1988: 241].

У многих африканских народов они стали той структурой, из которой непосредственно выростала сакральная верховная власть [Там же]. В результате роста влияния тайных обществ они становились эффективным способом осуществления на достаточно крупной территории, не объединенной официальной властью, политических, властно-административных (в том числе карательных), посреднических, военных, судебных, «налоговых», сакральных функций, то есть функций, характерных для государства или его классических аналогов. В тайных обществах и союзах уже складывались зачатки иерархического аппарата, способного к жестким санкциям и сплоченного на основе новых структурных принципов [Там же: 240–241].

76. Корпоративно-территориальные аналоги. Другую необычную форму мы назвали **корпоративно-территориальной** (см.: [Гринин 2006в; 2011]). Ее пример взят из истории Малой Азии, где в начале II тыс. до н. э. сложился своеобразный союз (община) торговцев с центром в городе Канише (территория современной Восточной Турции), который имел оригинальную конституцию, самоуправление и органы управления, суд, казну, целую цепь факторий на протяжении торгового пути, связывающего Переднюю Азию со Средиземным и Эгейским морями. Но главное — он был независим от какой бы то ни было политической власти и выступал как субъект международного права [Гиоргадзе 1989; 2000: 113–114; Янковская 1989: 181–182; 2010: 63–85].

2. Другие типологии аналогов

Аналоги ранних государств сильно отличаются друг от друга, поэтому возможны их типологии по другим основаниям (см.: [Гринин 2001–2006; 2006в; 2011; Grinin 2003; 2004с]).

1. Типология по сходству с ранним государством

Аналоги можно разделить по степени структурного и организационно-административного сходства с ранними государствами. Здесь следует использовать два критерия: степень похожести аналогов на ранние государства; степень развитости в аналогах политической и социальной сфер.

С одной стороны, государства и аналоги различаются между собой особенностями политической организации, причем амплитуда этих различий очень велика. Следовательно, важно установить, насколько тот или иной аналог приближается в смысле развитости политических и административных элементов и органов к государству. С другой стороны, в обществе, где имеется раннее государство, обычно существуют и заметное имущественное неравенство, и социальные противоречия, и общество уже разделено на два (или больше) ясно выраженных слоя или формирующихся класса (см.: [Claessen, Skalník 1978с: 640; Claessen 2004: 74]).

Однако сложная социальная структура характерна и для многих аналогов. Более того, в некоторых аналогах социальная стратификация была ярко выраженной, а преодолеть социальные перегородки в них человеку оказывалось даже труднее, чем в иных ранних государствах (как мы видели на примере сравнения гавайского и древнерусского общества). Это частично объясняется тем, что для образования и развития государства требуется бóльшая подвижность общественной структуры, в частности для формирования аппарата чиновников или армии нового типа.

1а. Неполные и полные аналоги. Не во всех аналогах, примеры которых были даны, имелась достаточная степень социальной стратификации, действительно сравнимой с раннегосударственной. Именно поэтому в определении аналогов нами было указано, что аналоги находятся на одном уровне социокультурного **и/или** политического развития с раннегосударственными обществами. Аналоги, которые можно сравнить с государством только по размерам и степени политической и военной значимости, но не по уровню социокультурного развития, можно назвать **неполными** (примеры ниже). Иными словами, сами автономные структурные части этих аналогов, то есть племена, общины или вождества, по уровню своего развития еще представляют стадияльно догосударственные общества, в которых недостаточна социальная, имущественная и функциональная дифференциация. Но в рамках конфедерации они выступают в системе как образование, в отдельных аспектах сравнимое с ранним государством. При военных и политических успехах федеративные связи укрепляются, в конфедерациях могут начинаться процессы форми-

рования единой этнической общности, что имело место у ирокезов (см.: [Воробьев 2002: 159]), это может до определенного степени способствовать качественной эволюции такого социального организма.

В Северной Америке был целый ряд племенных конфедераций, некоторые из них имели достаточно большую численность: например, конфедерация криков, оформившаяся в начале XVIII в., к концу этого века насчитывала 25 тыс. человек, гуронский союз из пяти племен в XVI в. — 30 тыс. человек [Логоинов 1988: 233; Тишков 1988: 148]. Но наиболее ярким примером **неполного** аналога являются ирокезы, численность которых, согласно Моргану, находилась в интервале от 25 тыс. [Морган 1983: 21–22] до несколько меньшей, чем 20 тыс. человек [Морган 1934: 74]. Но и численность в 20 тыс. и даже в 15 тыс. человек вполне сравнима с населением малого государства (см. далее). Социальная и имущественная дифференциация у них была слабой [Воробьев 2002: 159], хотя и есть некоторые свидетельства о социальном неравенстве в их обществе [Аверкиева 1973: 54]. Но по сложности политической организации (с институционализацией отдельных ее моментов, включая сложную процедуру принятия и согласования решений), по военной мощи они выделялись среди других индейских конфедераций (см., например: [Vorobyov 2000: 158]).

Аналоги, которые сравнимы с государственным обществом хотя бы по уровню социального развития, должны считаться **полными**. Выше было приведено много примеров таких аналогов (крупные этнополитические объединения и др.).

16. Социальные и политические аналоги. В свою очередь полные аналоги могут подразделяться на те, в которых больше развита либо социальная, либо политическая сфера. Первые можно назвать **социальными** аналогами, вторые — **политическими**. К социальным относятся такие аналоги, как политии саксов и галлов; к политическим — политии хунну, гуннов и др.

Любопытный пример **социального аналога** дает общество народа *и (носу)* в высокогорном районе Ляньшань китайской провинции Сычуань. В этом обществе существовали четыре «сословия», из которых одно собственно *и (носу)* — «черные» — в противоположность подчиненным

«белым» было высшим, благородным, а потому не участвовало в производительном труде²¹. Остальные три условия находились в разной степени зависимости — от полукрепостной до рабской. Сколько-нибудь сложной политической структуры при этом не образовалось [Итс, Яковлев 1967; Куббель 1988: 241–242]. Описанная выше специфическая социально-политическая структура начала складываться еще в VII–IX вв. н. э. в связи с тем, что скотоводческие племена подчинили себе земледельцев [Итс, Яковлев 1967: 79]. В целом это нередкое явление в истории.

В данном обществе было весьма распространено рабство. При этом *и (носу)* часто делали набеги и захватывали ханьцев, обращая их в рабов. Так, в 1919 г. ляншанцы захватили и увезли в горы более 10 тыс. жителей из соседних уездов. Общее население ляншанских *и (носу)* в начале XIX в. было небольшим — около 10 тыс. человек. Но в 1838 г. оно составляло уже 40–50 тыс., а в 1910 г. — 200–300 тыс. Оно продолжало увеличиваться, достигнув в середине 1950-х гг. 630 тыс. человек, из которых 50–60 тыс. составляли неассимилированные рабы-ханьцы [Там же: 79–80]. Высшее сословие составляло примерно 7 % от общего населения [Там же: 82]. Мужчины-аристократы с раннего возраста готовили себя к ратному делу.

1в. Комплексные аналоги. Можно выделить и такие аналоги, в которых и политическая, и социальная сферы были хорошо развиты, которые, кроме того, во многом были схожи с государством по своему устройству, характеру высшей власти и т. п. Такие аналоги мы назвали **комплексными**. Примером могут служить сложные гавайские вожества.

2. Типология по уровню развития

Аналоги могут различаться по степени эволюционной развитости, то есть, опираясь на классификацию Классена и Скальника, могут быть **аналоги примитивного, типичного и переходного ранних государств** [Claessen, Skalník 1978b: 22–23; 1978c: 640; Claessen 1978: 589]. По мнению Классена, с которым следует согласиться, одним из важных показателей различий между этими эволюционными типами раннего государства является роль родственных и общинных отношений в сфере политики (помимо других, таких,

как роль специалистов в управлении, уровень налоговой системы и т.д.) [Claessen 1978: 589].

Однако критерии, указанные Классеном, неудобны для различения уровня развитости аналогов, в которых новое административное начало в любом случае было слабее, чем в государствах. Следовательно, для нашего случая нужны другие критерии. Ими могут быть, в частности, такие: *насколько аналог был способен выполнять функции типичного или переходного государства во внутреннем управлении; насколько глубоко зашли процессы социальной стратификации и функциональной дифференциации; насколько важную роль стали играть новые отношения.*

Большинство аналогов соответствует уровню зачаточного государства. Примерами аналогов типичного государства являются наиболее развитые галльские политии. Однако некоторые аналоги выступают как равноценные типичному государству только в отдельных направлениях, например во внешней политике, военном деле (иногда в организации торговли). Примером будут очень крупные аналоги кочевых обществ (скифы, хунну). Было замечено, что размеры, мощь и уровень сложности в реализации внешнеполитических функций у объединений (империй) кочевников тесно соотносятся с размерами, мощью и уровнем политической культуры и деятельности государств, с которыми номады постоянно контактировали (см., например: [Барфилд 2006: 429; Хазанов 2008]). Соответственно некоторые кочевые соседи таких государств, как Китай, вполне могут рассматриваться как неполные аналоги *типичного* раннего государства. Найти примеры аналога *переходного* раннего государства достаточно сложно (см. подробнее: [Гринин 2011: 285]).

СТАДИАЛЬНО И ИСТОРИЧЕСКИ ДОГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

Как мы видели, не только формы, но и варианты развития аналогов были различными. Одни оказывались неспособными стать государством по своей природе (например, туареги), другие — из-за того, что их политогенез был насильственно прерван (например, у галлов). Однако многие аналоги все-таки превратились в государство (например,

скифы и гавайцы). В отношении последнего типа аналоговых обществ возникают вопросы: не противоречит ли идея об их стадильной равнозначности ранним государствам факту их превращения в государство впоследствии? Как аналоги могут одновременно быть и догосударственными, и равными государству по уровню развития политиями? На самом деле никакого противоречия нет.

Для пояснения сначала стоит провести следующую аналогию. Скотоводство может исторически предшествовать земледелию, но никто не удивится, если сказать, что стадильно это равные виды производства²². Уместно привести и более близкий россиянам пример. Если считать капитализмом господство негосударственного капитала в экономике, то сегодня Россию в этом смысле уже можно назвать капиталистическим обществом. Но тогда социализм неожиданно оказывается **докапиталистическим** строем. Однако очевидно, что он не равен докапиталистическому феодальному строю. Феодализм был и стадильно, и исторически докапиталистическим, а социализм был индустриальным обществом и выступал как аналог капиталистического индустриального хозяйства.

Вот в таком же плане аналоговое общество, которое позже (по отношению к периоду, в котором мы его рассматриваем) должно превратиться в государство, является догосударственным. Однако только *исторически* догосударственным, а по стадильному уровню оно и в форме аналога было равным раннему государству.

Вот почему продуктивно разделить все догосударственные общества на две группы (подробнее см.: [Гринин 2001–2006; Grinin 2003]).

Первая группа — это общества, которые можно обозначить как *стадильно/принципильно/типологически догосударственные*, поскольку при их наличном объеме и уровне сложности они не могут трансформироваться даже в малое государство. *Вторая группа* политий — *стадильно равные раннему государству*, то есть те, которые при своих наличных характеристиках потенциально могут трансформироваться в малое или более крупное государство, но развиваются в форме негосударственной политии. К этой группе политий и относятся аналоги раннего государства. И если какие-то из них

превращаются в государство, то такие аналоги являются *исторически* (но не стадияльно) догосударственными. Такое разделение негосударственных обществ на стадияльно и исторически догосударственные хорошо объясняет возможность быстрого возникновения из аналога государства в «горизонтальной» модели формирования государства (см. Заключение).

Однако нельзя забывать, что хотя стадияльно аналоги и были равными ранним государствам, но в общеэволюционном плане государственная форма оказалась намного более универсальной и перспективной.

1. РАННИЕ ГОСУДАРСТВА И ИХ АНАЛОГИ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

1. Соотношение размеров ранних государств и их аналогов

В настоящей статье нет возможности рассматривать вопрос о роли размеров обществ в политогенезе (см. подробнее об этом, а также сводку данных о численности населения в разных политиях: [Гринин 2010: 16–19; 2011: гл. 5; 2007б; Grinin 2009]). Тем не менее важно указать, что, по нашему мнению, интервалом для численности населения, необходимого для образования и функционирования мельчайших государств, возникающих лишь в особых условиях, можно считать 5–15 тыс. человек. Более благоприятный интервал численности в 15–50 тыс. характерен для мелких (малых) государств²³. Еще более благоприятной для этого процесса будет численность в 50–100 тыс. человек (среднее государство). Различия в численности населения ранних государств и их аналогов (и соответственно сложности устройства) весьма приблизительно отражены в следующей схеме (табл. 1).

Существует предел, за которым аналог становится нестабильным. Таким образом, *можно говорить о критической массе населения, за которой эволюционные преимущества раннего государства становятся очевиднее*. По обоснованному мнению некоторых исследователей, крупные вождества, как правило, становятся нестабильными уже в интервале от 30 тыс. до 50 тыс. человек населения (см. об этом: [Feinman 1998: 97]). За этим рубежом, соответствующим границе меж-

Таблица 1

**Типы ранних государств и аналогов
ранних государств согласно их размеру**

<i>Размер политии</i>	<i>Тип раннего государства и примеры</i>	<i>Тип аналогов раннего государства и примеры</i>
От 5 тыс. до 15 тыс. человек	Мельчайшее раннее государство (население некоторых греческих полисов)	Аналог мельчайшего раннего государства (конфедерация туарегов)
От 15 тыс. до 50 тыс. человек	Мелкое/малое раннее государство (типичные города-государства в Центральной Мексике накануне испанского завоевания)	Аналог мелкого/малого раннего государства (Исландия в X в.)
От 50 тыс. до 300 тыс. человек	Среднее раннее государство (Гавайи в XIX в.)	Аналог среднего раннего государства (эдуи, арверны, гельветы в Галлии до Цезаря)
От 300 тыс. до 3 млн человек	Среднекрупное раннее государство (раннее государство в Польше в XI–XIV вв.)	Аналог среднекрупного раннего государства (хунну 200 г. до н. э. — 48 г. н. э.)
Свыше 3 млн человек	Крупное раннее государство (империя инков)	Признанных стабильных аналогов крупного раннего государства не существует

ду мелким и средним ранним государством, начинается их распад или трансформация в государство.

Некоторые аналоги, однако, заметно перерастают указанный уровень. Но в любом случае предельным критическим размером для аналога раннего государства можно считать население в несколько сот тысяч человек, превышение численности которого ведет либо к развалу политики, либо к ее трансформации в государство. Поэтому даже аналоги среднекрупного государства очень редки. Из вышеприведенных примеров это только некоторые объединения кочевников (например, хунну во II в. до н. э.), население которых, даже по самым оптимистическим подсчетам, никогда не превышало 1,5 млн человек [Крадин 2001а: 79; 2001б: 127]. Следовательно, такие аналоги соответствуют только меньшим из группы среднекрупных государств. Устойчивых же аналогов крупного раннего государства, мы думаем, просто не могло быть.

Таким образом, в итоге эволюционного развития в среднем ранние государства оказывались крупнее аналогов, ведь потенциал развития государств (и, следовательно, их возможности увеличивать размеры) был гораздо выше. Однако на первых этапах процесса формирования государства, пока эволюционные преимущества последних не проявились в полной мере, вполне правомерно считать аналоги и ранние государства примерно равными по размерам.

2. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАННИХ ГОСУДАРСТВ. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАННИХ ГОСУДАРСТВ И ИХ АНАЛОГОВ

1. Общая характеристика признаков раннего государства

В первой части статьи были рассмотрены многочисленные аналоговые политии, по размерам, сложности и ряду других параметров находящиеся на одном уровне развития со многими ранними государствами и в то же время существенно превосходящие типичные догосударственные образования (вроде простых вожеств, племен, общин). Поскольку главные различия между ранними государствами и их аналогами заключаются не в размерах и уровне сложности, а в особенностях политического устройства и способах управления обществом, нами были выделены **четыре специальных критерия** для различения раннего государства и его аналогов как разных эволюционных типов сложных обществ. Эти критерии/признаки мы обозначили следующим образом:

- 1) особые свойства верховной власти;**
- 2) новые принципы управления;**
- 3) нетрадиционные и новые формы регулирования жизни общества;**
- 4) редистрибуция власти.**

Подробному сопоставлению ранних государств и их аналогов на базе этих критериев и посвящена оставшаяся часть статьи. Но предварительно необходимы пояснения.

— Эти признаки представляют систему. Каждый из них во многом дополняет и объясняет другие. Поэтому они в известной мере перекрывают друг друга. Но, конечно, в каж-

дом раннем государстве эти признаки развиваются неравномерно, и одни оказываются развитее других.

— Каждый из этих признаков в той или иной мере должен присутствовать в каждом раннем государстве. А их совокупность дает достаточную возможность определить, раннее ли государство перед нами или его аналог. *Каждый признак обязательно показывает отличия раннего государства от каких-либо аналогов, в которых его нет.* Но наличие только отдельных признаков не является стопроцентным критерием раннего государства, так как эти признаки могут встречаться и в некоторых аналогах, однако не в системе. **Таким образом, признаки раннего государства, отличающие его от аналогов, должны рассматриваться в совокупности, поскольку нет аналогов, которые бы обладали всеми перечисленными признаками.**

— Признаки эти достаточно широки по содержанию, что видно из самих названий (*новые принципы, особые свойства, новые формы*). Но в данном случае такие широкие обобщения наиболее продуктивны по следующим причинам:

— они отражают факт, что в каждом раннем государстве в рамках этих признаков преобладали те или иные более узкие направления. Ведь понятно, что ни в одном раннем государстве не могли сразу появиться все новые принципы и формы, а только некоторые из них;

— они позволяют объединить некоторые из тех моментов, на которые различные исследователи указывали как на критерии раннего государства. Например, *дифференциация и специализация власти и способность к ее делегированию* (см.: [Claessen 1978: 576; Spencer 2000; Wright 1977]) включены в признак «*новые принципы управления*».

2. Особые свойства верховной власти

На единый центр как на важнейший признак государства указывают многие исследователи [Claessen 1978: 586–588; Claessen, Oosten 1996: 2; Claessen, van de Velde 1987: 16; Ember C.R., Ember M. 1999: 158, 380; Fortes, Evans-Pritchard 1987/1940; Haas 2001: 235; Spencer 2000: 157 etc.]; см. также: [Гринин разл. работы]). Действительно, для исследования процесса формирования государства анализ его верховной

(центральной) власти представляется исключительно важным. Именно в результате взаимодействия центра и периферии часто формируется новая структура общества, в которой все больше элементов приобретает свойственные государству черты.

Верховную власть можно трактовать более или менее широко. В узком плане это монарх, президент, народное собрание и т.п. В широком — совокупность органов и людей, осуществляющих высшую власть из постоянного или временного центра. В настоящей работе этот термин употребляется в широком смысле.

Верховная власть опирается на **источник власти** или формируется им. Это делает ее легитимной. Источником власти может быть монарх или его род, особая привилегированная группа, народ или его определенная часть. Отношения внутри верховной власти часто становятся важнейшими в политической системе государства, как это происходило, например, в результате борьбы аристократии и демократии в греческих полисах, свержения монархии в Риме и Карфагене, в процессе борьбы царей и аристократии во многих случаях.

Далее рассматривается несколько важных характеристик верховной власти в раннем государстве.

• **Достаточная сила верховной власти**

В раннем государстве верховная власть чаще более сильная и более централизованная, чем в аналогах, даже в тех, где реальная власть вождя и его окружения весьма велика. «Главная характеристика, которая отличает государство от других форм социальной организации, — это политическое господство, легитимная сила навязывать решения» [Claessen, Skalník 1981: 487; см. также: Service 1975: 154].

Достаточная сила верховной власти отличает ранние государства от тех аналогов, в которых она формальна, слаба или отсутствует, а также от тех политий, в которых главная задача верховной власти — сохранить единство и консенсус типа конфедераций²⁴ и более сложных обществ, например, галльских вожеств и городов (см.: [Леру 2000: 123–127]), а также гетерархий [Crumley 2001].

От аналогов с относительно сильной верховной властью раннее государство отличается прежде всего большей систе-

матичностью и активностью центра в отношении подвластной ему территории, что выражается также в способности производить изменения в обществе (см. далее).

Достаточная сила верховной власти в принципе должна обеспечивать территориальную целостность государства, но эту проблему мы затронем несколько позже.

• **Способность к переменам**

Еще один очень важный показатель силы верховной власти заключается в том, что по сравнению с аналогами увеличивается ее способность производить существенные изменения в данном обществе и расширять сферу властного регулирования (см. об этом ниже). В результате появления этой способности в ранних государствах иногда открывается большой простор для изменений²⁵. В молодых монархических государствах нередко правители, почувствовавшие себя всевластными, переставали считаться с различными советами, собраниями и традициями и за десяток-другой лет проводили больше реформ, чем их делалось за предыдущие сто — двести лет. Правители ранних тираний в Греции порой довольно круто ограничивали не только влияние, но и частную жизнь знати и проводили важные реформы. И поэтому некоторые из них, «несмотря на весь свой тиранический эгоизм, а в некотором смысле и благодаря ему, заложили основы будущего полиса» [Берве 1997: 37]. А ликвидация власти вождя или царя, а затем и ограничение влияния аристократии в демократических полисах давали почти неограниченную власть демократическим органам, которые нередко принимали решения об очень серьезных реформах.

Когда государство образуется на базе сложных вожеств с сильной властью вождя, власть нового «короля» может стать еще более сильной и непререкаемой. Так, в частности, было на Гавайском архипелаге, где в первые десятилетия XIX в. политическое и социальное устройство быстро менялось [Ёрл 2002: 79]. Объединивший в начале XIX в. все острова Камеаеа I истребил часть местной знати, передал власть от местных династий на островах своим родственникам и приближенным, провел перераспределение земель на покоренных территориях [Тумаркин 1964: 88–90; 1971: 21] и, используя европейскую помощь, создал постоянную в не-

сколько тысяч человек армию с огнестрельным оружием и пушками, а также военный флот из 60 палубных ботов, нескольких бригов и шхун, построил форты [Тумаркин 1964: 102–103; 1971: 20]. Была создана также полиция. Новое государство оказалось способным повысить нормы эксплуатации, в частности при заготовках сандалового дерева [Тумаркин 1964: 102–103; 1971: 20], что ранее натывало на сопротивление и часто заканчивалось восстаниями [Sahlins 1972b]. Сын Камеаеа I, принявший тронное имя Камеаеа II, разослал повсюду указы об упразднении старой религии [Токарев, Толстов 1956: 654]. Имея армию с огнестрельным оружием, король вполне логично полагал, что уже меньше нуждается в сакральной поддержке небес, что и доказал, победив в начавшейся гражданской войне.

• **Полнота функций верховной власти**

Чем больше функций выполняет государство, тем больше это в принципе говорит о росте государственности (о некоторых проблемах и функциях см., например: [Service 1975: XIII; Claessen 1978: 576; Crone 1989: 7]). Но поскольку объем функций в каждом государстве во многом зависит от конкретных условий (в частности, от того, организует ли государство производство или нет), то нужно установить хотя бы факт **достаточной полноты функций** верховной власти. При этом государство должно выполнять **функции как внутреннего регулирования** (объединительную и карательную, высшего арбитра, судебную и посредническую, фискальную, организационную, контрольную, сакральную), так и **внешнего** (военные, поддержания суверенитета и удержания в орбите своего влияния союзников, внешней торговли и внешних сношений). Это отличает ранние государства от тех аналогов, где внутреннее управление слабо (держится на традициях), а внешнеполитическая функция довольно развита, вроде конфедераций племен и городских общин, а также крупных политических объединений кочевников (например, хунну), в которых верховная власть, не вмешиваясь во внутреннее управление, могла контролировать внешнюю торговлю и военные акции [Крадин 1992; 2001а; 2002; Гумилев 1993; Барфилд 2006]. Ибо если внутри общества можно пытаться решать проблемы старыми методами, то вне его очень часто это невозможно.

3. НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Общая характеристика новых принципов управления

С усложнением общества и наращиванием в нем новых этажей власти неизбежно возникает движение в сторону разделения труда в управлении обществом. Однако в аналогах раннего государства такое разделение базируется на старых (родовых, сакральных, самоуправления и других) принципах, отчего не превращается в саморазвивающуюся систему, ведущую к постоянной дифференциации функций.

В раннем государстве появляются новые принципы разделения труда по управлению обществом, которые затем становятся новыми принципами управления обществом. Наиболее важными из них являются: **делегирование власти; новое разделение функций (отделение исполнения от решений); изменения в комплектовании кадров управления; рост значения новых типов управленцев; появление властных вертикалей** и некоторые другие. Но каждый из них в конкретных государствах реализовывался не полностью, а фрагментарно, сочетаясь с традиционными и догосударственными отношениями.

В числе новых принципов управления обществом, конечно, надо отметить и **бюрократизацию управления**. Но, несмотря на его большую эволюционную будущность, важно обратить внимание на то, что в ранних государствах бюрократизация получила заметное развитие далеко не везде (и в этом смысле она не была универсальным новым принципом управления для ранних государств, см. подробнее: [Гринин 2010: 123–155])²⁶. Кроме того, объем и степень бюрократизации аппарата сильно зависят от объема, а также от функций государства²⁷. В некоторых случаях мы видим, что процесс бюрократизации зашел достаточно далеко, как, например, в Египте Древнего царства. В других случаях бюрократизация была относительно слабой, особенно на завоеванной территории, например в таких государствах, как ацтекское [Johnson, Earle 2000: 306; Баглай 1995; Trigger 2001: 65] или Римская республика [Штаерман 1989]. Иные государства, как Древняя Русь, Норвегия или Литовское княжество, были «дружинными», и весь аппарат управления сводился к его военной подсистеме (см., например: [Шина-

ков 2002; Гуревич 1980: 131; Петкевич 2006а: 310]). Не относить такие политики к ранним государствам мы считаем неправильным (о типологии ранних государств см. подробнее: [Гринин 2006б; 2001–2006; 2010: 67–71]).

Поэтому мы стремились описать новые принципы управления по возможности более универсально, чтобы они в полной мере относились как к бюрократическим, так и к небюрократическим государствам.

2. Делегирование и делимость власти

Делегирование власти означает возможность передать кому-либо власть в определенном объеме и на определенных условиях (обычно с ограниченным сроком) для выполнения определенных задач и функций. Такая практика зародилась вместе с появлением сколько-нибудь институционализированной власти. Однако догосударственные и негосударственные общества, за исключением демократически организованных, в целом отличались слабой способностью к делегированию власти (см.: [Spencer 2000; Wright 1977]). Тем более это было трудно сделать, если вождь имел сакральные функции, а его власть зиждилась на страхе перед его особыми качествами, которые далеко не всегда можно «делегировать» другому. Такие ограничения — поскольку сам вождь не мог поспеть везде — ставили преграды для эволюции политической системы.

Однако потребность в делегировании власти вытекала из важных практических нужд и необходимости решать одновременно много вопросов. По мере роста объемов и сложности задач такая потребность все усиливалась. Поэтому трудности делегирования власти начинают постепенно преодолеваться, и в раннем государстве удается наконец найти способы наделять кого-либо определенной долей власти на нужное время без боязни лишиться ее.

*Таким образом, возможность делегирования власти становилась новым важным принципом управления. Но и этот, и другие принципы управления базировались на появлении нового свойства власти, о котором стоит сказать особо. Мы назвали это свойство **делимостью власти** [Гринин 2001–2006; 2011; Grinin 2003; 2004с]. Оно заключается в возможности для обладателя власти делить ее в нужной пропор-*

ции между нужным количеством людей и на определенное время без утраты обладания властью и контроля над ней. Соответственно делимость власти предполагает реальное право отобрать данную власть или перераспределить ее. Делимость власти обычно означает также ту или иную степень согласия подчиненных и подвластных с правом обладателя власти делить ее и передавать другим, причем далеко не любому, а обладающему в глазах подчиненных нужным объемом полномочий, легитимности, авторитета. Иначе получивший полномочия не сможет ими воспользоваться.

Неделимая же власть — это власть, которую нельзя на время передать, делегировать, распределить и разделить между различными людьми и органами, не рискуя ее полностью или частично потерять либо встретить отказ в признании правомерности такого деления, или нежелание подчиняться «заместителю» обладателя власти. Такой она обычно была в догосударственных обществах и в большинстве аналогов. Стоит заметить, что **неделимость власти означает и неделимость ответственности правителя** за всякого рода неудачи и бедствия. В государстве же правитель очень часто мог переложить ответственность на исполнителя.

На базе делимости власти и роста ее общей суммы становится возможным усложнение разделения управленческого труда, что открывает перед обществом огромные перспективы развития в политическом плане.

3. Отделение выполнения функций от носителя функций

Увеличение уровней сложности устройства и управления — общая черта ранних государств и аналогов. В результате центру становится трудно поддерживать достаточно эффективную связь с периферией. В аналогах решение этой проблемы достигается в первую очередь за счет гипертрофии традиций и доведения до предела прежних тенденций развития, например наращивания числа и титулатуры вождей (а также разрастания их линиджей); расширения того, что Э. Саутхолл называет «ритуальным сузеренитетом» без ограничения фактического суверенитета местных правителей, то есть чисто формального подчинения верховному вождю [Southall 2000: 150]; более точного разграничения

объема власти региональных и верховных правителей; более четкого закрепления тех или иных функций в руках определенных родов и линий; развития генеалогического принципа, а также сакральных, ритуальных и идеологических моментов, связанных с использованием власти.

Во многом похожие процессы проходят и в раннем государстве. Однако, помимо усиления этих старых тенденций там возникает и нечто иное, что мы обозначили как *отделение исполнения функций верховной власти от нее самой (как носителя функций)*²⁸. В результате происходит качественно другое, чем прежде, разделение функций. Верховная власть, образно говоря, превращается в мозг, который управляет различными органами общества, а ее задачи на местах исполняются специальными порученцами, представителями, функционерами, наместниками, специалистами²⁹. Этот формирующийся аппарат управления становится «приводным ремнем» от верховной власти к обществу. В процессе такого разделения функций и начинается та внутренняя специализация, по Райту, в результате которой центральные процессы дифференцируются на отдельные действия, которые могут быть выполнены в разных местах и в разное время [Wright 1977: 381].

Таким образом, центр может, не теряя власти, расширять количество своих порученцев и функционеров, получая возможность сосредоточиться прежде всего на выработке общих решений, командовании, координации деятельности, сборе данных и контроле. Тем самым преграды для распространения его власти и расширения функций существенно уменьшаются, а возможности для экспансии увеличиваются. Проблемой становится необходимость кормить добавочных воинов и функционеров. Она-то и является постоянным источником деятельности государства, его активности, необходимости что-то менять. Отделение исполнения функций от центра порождает особую функцию верховной власти — **контроль над исполнителями.**

4. Новые черты системы управления в раннем государстве

Наличие развитого аппарата управления не является обязательным признаком раннего государства (подробнее см.:

[Гринин 2010: 121–123]). И это вполне объяснимо. По нашему мнению, административный аппарат возникает часто именно как добавочный, неосновной способ управления, и только потом обнаруживаются его преимущества. Поэтому в раннем государстве он создавался в основном из наличного материала (а не из идеальных чиновников, которых просто не существовало) и, конечно, не был полностью профессиональным. Мало того, он лишь частично формировался из рекрутированных властью людей, а большей частью центр просто приспособливал к своим нуждам уже сложившиеся формы самоуправления, управления и выполнения определенных функций теми или иными родами, слоями, корпорациями, выборными людьми³⁰. Иными словами, **аппарат управления в раннем государстве обычно несистемный. Он использует или перестраивает прежние формы управления, а заново формируется только в важных местах или направлениях**³¹. На бюрократический аппарат управления он похож только в отдельных чертах и моментах, а в целом представляет собой пеструю смесь старого и нового, поставленного на службу верховной власти. Эта система часто дает сбой то в одном, то в другом месте. Отсюда и постоянные поиски лучших административных решений. Тем не менее в целом в ранних государствах по сравнению с аналогами обычно имеется более сложная и разветвленная система управления.

Новые признаки могут и не играть еще определяющей роли. Поэтому сравнение управления в раннем государстве и аналогах должно идти прежде всего по пути выявления в первых новых моментов, особенно таких, которые оказались способны в дальнейшем перестроить общество. Здесь следует обратить внимание на следующее.

Во-первых, сам род правителя начинает играть новую роль — высшего эшелона власти, члены которого нередко раскиданы по всем уголкам страны. И даже в борьбе членов этого рода между собой за власть также можно увидеть, говоря словами русских историков XIX в., борьбу государственного и родового начал.

Во-вторых, если не во всех, то хотя бы в некоторых из ключевых органов и институтов (армии, суде, системе наместников, фискальных органах) верховная власть способна

реально влиять как на назначения на важнейшие посты, так и на среднее звено руководителей.

В-третьих, для государства характерна **большая социальная мобильность** людей, выполняющих государственные функции, чем для многих аналогов, облегчается **включение** в указанный аппарат людей не из определенной элиты (рода, клана, сословия, касты; см., например, о комплектовании высшей страты при Чингисхане: [Хазанов 2008: 259]). Чем строже ограничения, вплоть до полной невозможности вхождения в него людей со стороны, тем больше в политике старых способов организации, не позволяющих перейти к собственно политико-административным методам управления (см. выше сравнение гавайских вожеств с Древней Русью и Западной Чжоу).

В-четвертых, по сравнению с аналогами ранние государства имели гораздо больше возможностей для ротации членов аппарата в связи с плохим выполнением обязанностей или необходимостью, хотя порой слишком большого простора для выбора кандидатов и не было.

В-пятых, в ранних государствах по сравнению с аналогами **появляются новые типы управленцев**.

5. Изменения в составе управленцев

Виттфогель писал, что государство — это управление при помощи профессионалов [Wittfogel 1957: 239; см. также: Weber 1947: 333–334]. Но профессионал — понятие достаточно широкое. Оно включает и **наследственных** профессионалов, то есть тех, кто от рождения предназначен для отправления тех или иных обязанностей. Именно такими являлись вожди разных рангов в вождествах, а также наследственные главы, старосты общин или их частей. Поэтому можно сказать, что во многих аналогах и догосударственных образованиях также управляли профессионалы.

В ранних государствах наследственных и клановых профессионалов³², занимающих свой пост или должность независимо от центра, также было немало. Но постепенно все более заметную роль начинают играть нового рода управленцы (а также прежде маловажные типы управленцев).

Во-первых, существенно растут число и роль управленцев-**функционеров** (их классификацию см.: [Claessen 1978:

576]). А разница между функционером и, скажем, вождем существенна, поскольку первый выполнял ограниченные и специальные функции, а второй — общие (см. об этом, например: [Diamond 1999: 274]). Ибо вождь сосредоточивал на своем уровне всю полноту власти, а люди, поставленные (утвержденные) центром, часто имели только определенные полномочия.

Во-вторых, слой управленцев становится довольно пестрым, поскольку их права на должность были различны. Среди наследственных управленцев растет число **утвержденных**. Они наследовали должности по родственной линии или получали их из рук клана, но вступление в должность должно было утверждаться центром.

Среди новых типов управленцев особо стоит выделить **назначенцев** — тех, кто назначается (нанимается) на какие-то должности или места и зависит от правителя и власти. Разумеется, и эта группа была пестрой. Она включала и тех, кто материально мог вполне обойтись без службы или даже вовсе тяготился своим положением. Но была и подгруппа тех, для кого служба являлась главным делом, кто во всем сильно зависел от вышестоящей власти. Следует учитывать, что и в аппарат управления, и в дружины людей стремились подбирать по принципу преданности. Особенно удобны в этом плане для власти были люди без рода и племени, рабы и слуги, иноплеменники. Поэтому их и привлекали для управления, военной службы, надзора за хозяйством³³. В некоторых государствах от управленцев требовали и специальных знаний, тем самым создавалась эволюционно перспективная группа управленцев-специалистов (в том числе писцов). В управлении государством могли играть важную роль иностранные советники, как это было на Гавайях при короле Камеамеа I и особенно при его преемниках (см.: [Тумаркин 1964: 94; 1971]).

Таким образом, в политике и управлении появлялось все больше людей, которые жили за счет вознаграждения/доходов от выполнения своих функций и прямо зависели от правительства. Разумеется, они еще не составляли полную систему, но чем дальше развивалось государство, тем заметнее был конфликт между профессионалами по праву и профессионалами-назначенцами, тем сильнее верховная власть стреми-

лась заменить первых на вторых или превратить первых во вторых, особенно в армии и суде (о профессиональных политиках в демократиях и аристократических республиках см.: [Гринин 2010: 44]).

4. НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

1. Традиционные и нетрадиционные формы регулирования жизни общества

Мы уже отмечали, что политическая власть в государстве постепенно приобретает возможность регулировать при необходимости любые аспекты жизни общества. Какие именно моменты станут объектом такого регулирования, разумеется, зависит от очень многих вещей, в том числе от задач и силы верховной власти. В определенных ситуациях даже вопросы, весьма далекие от политики, становятся политическими, если верховная власть начинает в них вмешиваться, менять и контролировать. При анализе этого явления в различных политиях мы обнаружили, что вместе с объемом и сложностью сферы регулирования в раннем государстве — по сравнению с аналогами — существенно повышается и роль *нетрадиционных* методов регулирования, а также появляются новые методы.

Под традиционными методами регулирования жизни общества понимаются такие, которые:

а) уже устоялись и потому не требуют отхода от прежней практики;

б) основаны на таких обычаях и деятельности людей и групп, которые либо проходят вовсе без какого-либо участия верховной власти, либо ее участие в них объясняется традицией и обязанностями, которые верховная власть не может изменить (вроде обряда плодородия, религиозных празднеств, заслушивания жалобщиков и т.п.).

Соответственно нетрадиционные/новые методы:

а) обязательно связаны с прямым или косвенным участием верховной власти (непосредственно или через ее представителей);

б) являются выражением воли верховной власти и могут быть связаны с теми или иными изменениями в обычаях и законах.

Разумеется, деление на традиционные и нетрадиционные методы весьма условно. Но такое различие, тем не менее, способно быть полезным при анализе особенностей ранних государств по сравнению с аналогами. Дело в том, что, как показывает наш анализ, в аналогах изменение традиций, регулирующих социально-политическую жизнь, было связано в первую очередь со сверхразвитием старых направлений и потенциалов. Зато в ранних государствах наряду с таким сверхразвитием укрепляется важная способность к реформированию и/или к разрыву с некоторыми традициями. Это, кстати сказать, вполне объясняет и причины более быстрого эволюционного развития государств по сравнению с аналогами. Если в первых используются новые методы управления, если в них происходит ломка и реорганизация отношений гораздо чаще, чем в аналогах, которые больше опираются на традиционные методы, то и развитие государств будет идти быстрее. Сравните темпы развития, скажем, Киевской Руси и ее соседей — половцев, и эта мысль станет ясной. На важность *создания нетрадиционных и новых форм управления* для развития раннего государства указывали также Э. Сервис [Service 1975: 154], Классен и Скальник [Claessen, Skalník 1978a: 624–625].

2. Нетрадиционные и новые формы регулирования

К таким формам мы относим:

— реформирование и/или постепенное изменение управления и различных аспектов социальной жизни, включая «контроль и регулирование в некоторых сферах социальной деятельности (различных для каждого конкретного государства — от половых запретов до кровной вражды. — *Л. Г.*), которые в безгосударственных обществах являются прерогативой родственных групп» [Kurtz 1978: 183];

— разрыв с традициями и тенденция к замене традиций политической волей (деятельностью управленцев или выборных лиц, правом, насилием, нормотворчеством власти и т.п.);

— рост значения принуждения и контроля над исполнением, в том числе установление контроля над прежде авто-

номными должностными лицами и органами (судами, старостами и т.п.)³⁴;

— изменения в системе поощрений и наказаний (в том числе их кодификация или детализация, появление новых форм поощрения и наказания, изменение круга или положения лиц, имеющих право осуществлять наказания и поощрения). При этом правители и администраторы, подобно древнеиндийскому автору «Артхашастры», были озабочены эффективностью наказаний: чтобы они не были ни слишком жестокими, ни слишком мягкими [Mishra P., Mishra J. 2002];

— расширение или сужение полномочий должностных лиц для выполнения ими воли и политики верховной власти;

— создание условий (особых законов; органов власти, надзора и контроля; должностей; изменение обязанностей местной власти и пр.), которые позволяют верховной власти создавать систему более регулярного контроля, добиваться принятия важных для нее решений и доведения их до населения.

Стоит добавить, что в каждом раннем государстве (и даже на каждом этапе его развития) какие-то из перечисленных методов могли быть малоразвиты, а какие-то — преобладать. Более подробно мы остановимся на первых трех.

3. Традиция и государство.

Традиция и реформирование

В догосударственных обществах роль традиций была исключительно важной. Но правомерно ли думать, будто ранние государства незаметно вырастают из этих традиций, так что люди почти не ощущают перемен? Мы полагаем, нет. Образование раннего государства всегда связано с заметными переменами. Ко многим традициям раннее государство было индифферентно, так как они еще не влияли на его деятельность. На другие традиции оно, напротив, опиралось, порой резко усиливая их, нередко при этом делая менее значимые обычаи важными или самыми важными³⁵. Весьма часто это касалось таких «традиций», как выполнение различных материальных, трудовых или военных повинностей.

Существует много традиций (особенно религиозного, семейного плана и связанных с благородством родов), которые не нравятся верховной власти, но которые она не может, не считая возможным, боится тронуть. К таким относятся, скажем, правовые и налоговые привилегии городов и храмов, права определенных групп. Например, местничество в Московской Руси удерживалось даже в период крутых расправ с боярами и реформ в XVI в.

Наконец, четвертая группа традиций включает такие, которые препятствуют решению насущных задач или достижению важнейших целей либо угрожают устойчивости или самому положению верховной власти. Их она (когда это по силам) устраняет или преобразует, а также ломает связи людей с местными традициями [Kurtz 1978: 185]. И это **стремление изменить некоторые важные традиции или порвать с ними, как нам кажется, очень характерно для ранних государств. Почему?**

Дело в том, что управление только по традиции не требует ни специального аппарата, ни выполнения особых функций контроля. **Там, где традиция господствует абсолютно, не нужно государства**, а достаточно иных принципов организации общества (см., например, о райбунском обществе: [Frantsuzov 2000: 263]). Поэтому, перефразируя известное определение, можно сказать: **государство начинается там и тогда, где и когда традиционные методы управления не действуют**. Иными словами (см. об этом в заключении), переход к государству облегчается серьезными отклонениями от привычной ситуации и необходимостью существенных (иногда и коренных) изменений в управлении [Claessen 2004; Классен 2006; Якобсон 1997: 7; Гринин 2001–2006; 2011; Grinin 2003; 2004c].

Конечно, сильные изменения и разрывы с традицией в результате неожиданной перемены ситуации, внутренней борьбы или необходимости имели место в некоторых случаях и в аналогах³⁶. Но все же большинство аналогов не способно уйти от тех традиций, которые не дают им эволюционного простора.

Зато в ранних государствах направленность на изменение традиций становится более определенной и систематической. По мере развития раннего государства верхов-

ная власть начинает постепенно заменять и подменять традиции, во многих случаях реализация ее воли идет уже через систему установлений, органов, политиков и администраторов. Но, разумеется, никогда разрыв с традицией не бывает тотальным. В каждом обществе такой отход от традиций происходил только в отдельных направлениях, неполно, встречая сопротивление, оппозицию и заговоры, часто с откатами, возвратами и переворотами.

Такой отход облегчается в условиях, когда выполнение традиций затруднено, так как нарушилась их основа. Например, при синойкизме (вынужденном переселении людей из ряда мелких в один крупный населенный пункт), этническом перемешивании, развитии торговли усиливается необходимость судебного или административного регулирования. Нередко закон ограничивал права населения на применение насилия или полностью запрещал кровную месть, как, например, это зафиксировано в кодексе царя ацтеков Монтесумы I (см.: [Kurtz 1978: 307]) или в Салической правде франков (например, XLI, 7 [см.: Батыр, Поликарпова 1996, I: 249]). Изменения традиций происходили при контактах с другими культурами, в частности у кочевников, славян, германцев и т.п., когда правители хотели походить на более культурных иноземных монархов. Так, гавайские короли (особенно после Камеамеа I) в дворцовых церемониалах и ритуалах стали подражать европейцам, переняли европейскую одежду, домашний быт, военные представления [Johnson, Earle 2000: 294].

Сказанное о тенденции к разрыву с традициями не противоречит и тому факту, что в процессе образования многих государств важную роль играет завоевание [Ambrosino 1995; Carneiro 1970; 1978; Саутхолл 2000; Гринин 2001–2006 и др. соч.; Гринин, Коротаев 2009]. Напротив, в определенном смысле завоевание может рассматриваться как резкий разрыв с некоторыми традициями и возникновение новых отношений между победителями и побежденными.

Стоит отметить, что чем сильнее разрыв с традицией, тем больше проблем и ответственности лежит на власти, поскольку многие вещи, которые прежде решались внутри семьи, общины или небольшой области, становятся частью государственного регулирования. Соответственно **увеличе-**

ние проблем и забот ведет к росту потребностей государства. А это в свою очередь является источником новых изменений, например регулирования порядка получения дани и налогов, введения законов и норм.

С изменением традиций тесно связано и реформирование. Ведь реформы часто являются именно отходом от каких-то важных традиций, и история любого раннего государства дает нам примеры тех или иных реформ, связанных с отходом от традиций, в том числе религиозных. Таковы, например, Шунь, У Ци, Шан Ян и другие правители и политики в Древнем Китае [Бокщанин 1998б; Переломов 1974], Ликург в Спарте, Сервий Туллий в Риме, Уракагина/Уруингина в Лагаше (см., например: [Дьяконов 1951; 1983: 207–274; 2000а: 55–56]), Саргон в Аккаде [Дьяконов 2000б: 57–59], Саул и Давид в Израиле–Иудее [Вейнберг 1989: 99; Тантлевский 2004] и т.д. Хлодвиг у франков, Владимир на Руси и многие другие отказались сами и заставили свои народы отказаться от старой религии [Мажуга 1990: 48; Рыбаков 1987: 143]. Даже в Индии, где власть стремилась избежать крутых разрывов с традиционными основами, таких примеров немало. Достаточно ярким является поддержка индийским царем Ашокой буддизма (III в. до н. э.). И это привело — согласно традиционной версии, очевидно, отражающей истинные события, — к заговору со стороны сановников и наследника, фактически отстранивших Ашоку от управления (см.: [Бонгард-Левин 1973: 71–74; Косамби 1968: 164–170]).

В целом мы полагаем, что **в ранних государствах усиливается способность власти к реформированию.** Оно становится уже не только unplanned результатом неожиданных поворотов событий, но и все более важным способом решения тех или иных проблем верховной властью. Но реформы все же были редким делом (хотя существовали и отдельные периоды довольно активного реформирования). Промежуточное место между реформами и застоем занимали **регулируемые изменения, связанные с деятельностью верховной власти.** И вот в этом смысле раннее государство особенно заметно отличается от аналогов, поскольку в нем этот процесс становится существенно более упорядоченным. Например, в Афинах народное собрание собиралось еже-

месячно, а с IV в. до н. э. — четыре раза в месяц, то есть еженедельно [Кучма 1998: 113]. И ведь оно должно было что-то решать, а значит, помимо рутинных проблем, обсуждались и многие изменения. Сравнивая эту упорядоченность, например, с Исландией, где альтинг собирался сначала один раз в год на неделю-две, потом немного чаще, но затем в XI–XII столетиях политическая жизнь там — в противоположность Афинам — замирает [Ольгейрссон 1957: 191], легко понять различия между ранним государством и его аналогом.

4. Рост значения принуждения

Мы исходим из того, что развитый и формализованный аппарат принуждения не обязателен для ранних государств (см. подробнее: [Гринин 2010: 120–123]). Но что несомненно можно увидеть в них — это рост роли принудительных методов управления со стороны верховной власти. Многие исследователи считают «важнейшим конститутивным признаком государства, отличающим его от вожества», «наличие инструментов насилия» [Service 1975; Годинер 1991: 68]. Принуждение достигалось разными способами — как традиционными, так и новыми, как прямыми, так и косвенными. Стоит отметить рост роли судов и введение особых законов, слежку за населением, институт особых соглядатаев и доносчиков³⁷, усиление наказаний за неисполнение повинностей, прямые репрессии, особенно на покоренных территориях, где армия неизбежно выступала как аппарат принуждения и насилия над завоеванным населением, и др.

Этим ранние государства отличались от ряда демократических аналогов вроде древнеисландского, где такое насилие на общеполитическом уровне отсутствовало или было весьма слабым. А большей самостоятельностью верховной власти в свободе применения наказаний и репрессий государство отличается от аналогов с племенной (клановой) структурой и слабым центром, где какие-то карательные акции против нарушителей обязательств перед центром могли осуществляться только с согласия большинства кланов.

Другой важный момент связан с изменениями в войске. Государственные реформы едва ли не в половине случаев в той или иной степени касаются именно армии (см., например, о военных реформах Чингисхана: [Хазанов 2008: 258;

Владимирцов 1934: 10–12]). И это неудивительно, поскольку военная сфера более всего и требует вмешательства государства. *Этим раннее государство отличается от сложного вождейства или другого аналога, где изменить традиции в военном деле крайне сложно.* Создание новых политических и административных форм (и в целом государственной организации) часто начиналось именно с трансформации военных обычаев, институтов, структур типа военных лагерей юношей, дружин, личной гвардии правителя и т.п. (см., например: [Львова 1995: 161; Орлова, Львова 1978; Миллер 1984: 191 и др.; см. также: Бочаров 1991: 70]).

Хотя было немало ранних государств с нерегулярной армией, но и в этих случаях мы, скорее всего, найдем, что новые формы регулирования жизни заметно коснулись и ополчения (см., например, об Афинах: [ван дер Влит 2006]). Кроме того, принудительный характер призыва на войну и жестокие наказания за уклонение, вплоть до смертной казни или продажи в рабство, более характерны для ранних государств, чем для аналогов, во многих из которых участие в военных походах было добровольным делом, даже у воинственных ирокезов (см.: [Фентон 1978: 127]).

5. Важнейшие направления изменений

В каждом раннем государстве изменения в традиционных отношениях, формах регулирования и институтах идут лишь в отдельных направлениях, сферах и ситуациях, которые определяются конкретными обстоятельствами, расстановкой сил, историческим опытом и т.п. Наиболее важные, с нашей точки зрения, направления изменений следующие:

а) изменение и расширение властных полномочий, включая изменение титулатуры и церемониала; изменения в порядке передачи власти, в государственном устройстве и внутри управленческого и военного аппарата; введение или упразднение должностей и органов; изменение порядка назначения и смещения должностных лиц разных уровней;

б) изменение статуса, прав и обязанностей как отдельных людей, так и групп и всего населения, включая ограничения на применение насилия и кровную месть. Это касается и введения (отмены) налогов: введения новых почетных званий, титулов и рангов;

в) изменение ритуала, моральных и религиозных норм, отмена различных обычаев и введение новых установлений.

Наконец, нужно сказать об изменении **территориального устройства**. В раннем государстве по сравнению с аналогами возникают более сильные стимулы для изменения территориального устройства. Но систематичности в этих изменениях обычно не наблюдалось. Чаще было смешанное территориальное устройство, где наряду со старыми делениями появлялись и новые, созданные под воздействием верховной власти. Система могла длительное время усложняться и запутываться, пока в какой-нибудь период не происходило более рационального территориального деления. Ведь если центр не преуспевает в уменьшении сложности подсистем, баланс силы (власти) в системе будет неустойчивым [Bargatsky 1987; Johnson 1981; Claessen 1989].

5. РЕДИСТРИБУЦИЯ ВЛАСТИ

1. Понятие редистрибуции власти

Как уже было сказано, процесс образования ранних государств обычно связан с существенными переменами в установившихся социально-политических отношениях в обществе. Но и в аналогах также время от времени происходили своего рода **колебания и перемещения власти** от народа к элите и наоборот, от одних групп к другим, от знати к вождю и наоборот и т.п. (см., например, о возмущениях народа, вызванных превышением полномочий гавайскими вождями, которые инспирировались другими вождями: [Sahlins 1972b; Салинз 1999]). Иногда в результате этих пертурбаций центр усиливался и возникало крупное вождество. Однако если это центростремительное движение было недостаточно устойчивым, чтобы закрепиться, жизнь выросшей политики оказывалась недолгой. Такие непрочные образования, как славянское «государство» Само [Lozny 1995: 86–87], германские племенные союзы Маробода (у маркоманов), Ариовиста (у свевов), Арминия (у херусков), Клавдия Цивилиса (у батавов) [Неусыхин 1968: 601–602; Oosten 1996], гуннская «державка» Аттилы [Корсунский, Гюнтер 1984: 105–116], гето-дакский союз под руководством «короля» Бурбисты [Федоров, Полевой 1984] и пр., обычно распадались после смерти вождя (а иногда и при

его жизни, как случилось с Марободом). Иной раз в аналогах и вовсе шло ослабление верховной власти, особенно если там имелась сильная и своевольная знать (см. о процессе деградации центральной власти у эдуев, наиболее могущественного народа среди галлов времен Цезаря: [Леру 2000: 124]). В других случаях мелкие политии объединялись в более устойчивые образования: конфедерации, слабо централизованные теократии или монархические политии сегментарного типа [Southall 2000]. Однако во всех этих случаях отсутствовала направленность на усиление верховной власти, на развитие новых принципов управления и форм регулирования, о которых мы вели речь.

Зато в раннем государстве возникают тенденции на усиление роли верховной власти и центра в распределении власти, на образование как бы силового ядра, влияние которого на общество становится все более заметным, а постепенно в чем-то и определяющим. Эти центростремительные процессы мы назвали **редистрибуцией власти** [Гринин 2001–2006; 2006в; Grinin 2002; 2003]. Власть в данном случае нужно рассматривать не в каком-то чистом, нематериальном виде, а как систему властных функций, прав, обязанностей, распоряжений, действий и связанных с этим разнообразных людских и материальных ресурсов и информации.

В то же время власть правомерно рассматривать как ресурс, который должен регулярно воспроизводиться и потребляться (ведь если власть не используется, она имеет тенденцию к сокращению). А с появлением такого качества власти, как делимость (о чем выше шла речь), существенно возрастает возможность перераспределять ее и накапливать. Исходя из сказанного, должно быть понятно, что **редистрибуция власти** — это процесс воспроизводства системы распределения власти между центром и периферией, который позволяет верховной власти контролировать периферию и обеспечивать возврат потоков властных функций и действий в центр без их уменьшения в течение длительного времени. Это процесс поддержания в центре узла власти, с помощью которого он может влиять на общество, а при возможности перестраивать его и аккумулировать дополнительную власть и информацию. Подробное объяснение термина и аналогию с процессами редистрибуции власти см.: [Гринин 2010: 60–62].

2. Редистрибуция власти как поддержание/изменение баланса власти

Редистрибуцию власти можно рассматривать одновременно и как процесс поддержания установившегося баланса власти между центром и периферией/другими центрами, и как процесс изменения этого баланса в пользу тех или иных участников процесса. При этом, с одной стороны, поскольку политический порядок в раннем государстве еще не отлажен, то даже удержание баланса власти (не говоря уже об увеличении властных полномочий) требует от правительства больших усилий, тактических уступок и способности опираться на разные слои и общественные силы. Сам по себе титул не гарантирует правителю власти, поэтому он должен заключать постоянные союзы, разыгрывать те или иные комбинации; по этой причине верховная власть нередко старается придать процессу управления вид договоренностей, согласований и пр.³⁸

С другой стороны, хотя редистрибуция власти — это еще не централизация государства в полном виде, но это процесс движения к централизации, а вместе с этим к большей упорядоченности и регулярности в отношениях между властями всех уровней, рангов и линий, а также между населением и властью в целом³⁹. Редистрибуция власти связана и с некоторой унификацией отношений и норм в рамках державы. Она сильно влияет на развитие этнических, культурных, религиозных и других процессов. Все больше дел и проблем совершается и решается под эгидой и заметным контролем верховной власти (в отличие от аналогов). А в результате ее роль в управлении обществом имеет тенденцию к увеличению. Однако происходит это не гладко. Патриция Шифферд, которая провела сравнительный анализ 22 ранних государств, пришла к выводу, что попытки централизовать политические институты никогда не протекали гладко и легко, поскольку появление государства в экономическом и политическом смысле задевало существенные интересы как людей, так и корпоративных групп изменяющегося общества [Shiffard 1987]. Возрастание государственной власти означало потерю независимости на местах [Bargatzky 1987]. Характерно также, что продолжение централизации было достаточно редким

случаем для ранних государств, так как противоречия, напряженность и противодействие оказывались слишком сильными [Shifferd 1987]. Недаром вождей, превратившихся в деспотов, вроде зулусского Чаки, убивают, неудивительно, что слабые преемники тирана свергаются, что возникают страшные раздоры после смерти создателя державы и т.п.

Так или иначе вследствие перераспределения власти раннее государство гораздо быстрее, чем аналоги, начинает менять отношения внутри общества.

Это может выражаться в самых разных действиях верховной власти, связанных с расширением ее функций и полномочий, а также с борьбой против попыток местной власти выйти из-под контроля, например:

— в изменении порядка назначения (или выборов) местных руководителей и/или в переделе земельных владений знати. Чаще всего так поступали завоеватели, как, например, было в империи инков, в Чжоуском Китае, в завоеванном Иваном III Новгороде и т.п. (см.: [Кузьмищев 1974: 697; Березкин 1991: 89–96; Васильев 1993: 188; Крил 2001; Хорошкевич 1966: 122]);

— в принудительном переселении народов или масс населения (Ассирия, государство ацтеков и др. см.: [Садаев 1979; Kurtz 1978: 177; Крил 2001: 69–71]) и насильственном перемещении в другие места знати, например в некоторых древних китайских государствах в IV в. до н. э. [Переломов 1974: 23];

— в замене единого массива земельных владений крупных аристократов поместьями, разбросанными по стране, или пожалованиями за службу таким же образом (так действовали, например, Камеама I на Гавайях, Вильгельм Завоеватель в Англии, некоторые *оба* — правители Бенина [Тумаркин 1964; 1971; Мортон 1950: 60; Бондаренко 2001: 221]);

— в «нейтрализации местных организаций, которые могли как-то мешать выражению гражданами преданности и лояльности» (в государстве ацтеков [Kurtz 1978: 180]);

— в монополизации верховной властью некоторых функций, в частности судебных (как это было сделано Вегбаджей, первым царем Дагомеи [Кочакова 1986: 256]);

— в увеличении роли и росте пышности двора правителя (Гавайи в XIX в. после Камеама I, некоторые древнекитай-

ские государства [Рокора 1978: 203]), при котором порой живут в качестве заложников или воспитанников родственники местных правителей и т.д.;

— нередко это выражается в очень наглядных материальных акциях, например в смене столиц (в 639 г. император Дзёмей в Японии [Пасков 1987: 34]) или превращении в столицу прежде маловажного города (Саргон Древний в Аккаде [Дьяконов 2000б: 57], Андрей Боголюбский во Владимиро-Суздальском княжестве [Рыбаков 1966: 617]); строительстве общегосударственного храма (в Иерусалиме при Соломоне [Вейнберг 1989: 99]) и т.п.;

— в концентрации и накоплении в архивах важнейшей информации, например законодательной или подтверждающей знатность. Так, Чингисхан после избрания его великим ханом в 1206 г. создал специализированный орган публичной власти — верховный суд, который, помимо судебных функций, должен был письменно фиксировать все административные и судебные решения [Kradin 1995: 193]. Р. Карнейро специально подчеркивает, что раннее государство должно контролировать информационные потоки [Carneiro 2000: 186];

— это также может выражаться в росте размеров и значення столицы или в особом положении столичной знати и чиновников (о Египте Древнего царства см.: [Перепёлкин 2001: 191–192]; см. также: [Гринин, Коротаев 2009: гл. 6]).

Процессы редистрибуции и изменения баланса власти нередко вели к резким колебаниям, особенно заметным в связи с возвышением правителя, династии и резким территориальным расширением державы или с их упадком. Быстрый рост полномочий центра также может вести к кризисам, как и быстрое ослабление центра.

Порой правители были связаны по рукам и ногам родней, советниками, аристократией, обычаями. Но бывало, что иной монарх превращался в тирана и палача. «Противоречие между двумя течениями, безудержным и вводящим ограничения, — это, впрочем, общий признак архаического времени», — очень верно подмечает Гельмут Берве [1997: 19].

3. Редистрибуция власти и распад государств

Укрепление позиций и возможностей верховной власти не исключает колебаний и временного ослабления центра, по-

пытках вернуть самостоятельность, разлада во властной редистрибутивной системе. Напротив, это вполне типично. Именно эти проблемы и создают источник новых решений. Редистрибуция власти неразрывно связана с военными факторами (внешней опасностью или безопасностью, победами или поражениями), которые усиливают или ослабляют ее. Поиск более удачных эволюционных решений в истории часто осуществлялся путем разрушения одних государств и создания на их месте других. Например, в результате внутренней борьбы центр державы может переместиться на окраину, как это неоднократно бывало в истории, когда прежде слабый провинциальный город становился новой столицей либо когда покоренный народ превращался в господствующий. Так случилось, например, с Мидией, ставшей в VI веке до н. э. частью Персии во главе с Киром Великим (см., в частности: [Дьяконов 1956: 414 и др.]). А в Шань-Инском Китае властителями стали прежде зависимые от него чжоусцы (см.: [Васильев 1993: 184–185; Крил 2001: 48–61]).

Все это говорит о том, что следует иметь в виду не только процессы в отдельном государстве, но и эволюцию государственности в целом, поскольку для последней регресс в одних обществах обеспечивает прогресс в других⁴⁰. Поиск более удачных решений в ранних государствах часто осуществлялся путем разрушения старого и создания на его месте нового. В результате процесс редистрибуции власти обновлялся и приобретал более четкие черты.

Этот момент важен при обсуждении проблемы устойчивости ранних государств к децентрализации. Это действительно важная проблема для любой теории формирования государства (см.: [Gledhill 1994: 41]). Понятие редистрибуции власти в определенной мере облегчает такое объяснение.

Р. Коэн рассматривает тенденцию к распаду как качественно менее свойственную государственным структурам, в то время как регулярный распад догосударственных образований он (как и Карнейро) считает важной характеристикой последних [Cohen 1981: 87–88]. Это в целом справедливо, хотя известно немало случаев устойчивых вожеств и неустойчивых государств (см., например: [Chabal, Feinman, Skalník 2004]).

Иными словами, способность не распадаться (как и не быть завоеванным) — черта почти идеального государства.

Близкими к этому были лишь немногие державы древности и Средневековья (о распадах государств см., например: [Tainter 1990]). Поэтому, мы думаем, более точно будет отметить, что уже *сами распады во многих ранних крупных государствах имели существенно отличные черты от распада негосударственных образований.*

1. Большую длительность объединенного состояния по сравнению с догосударственными образованиями и аналогами. Цикл устойчивого существования таких государств составлял многие десятки и даже сотни лет.

2. Стремление распавшихся территорий к новому объединению, память о единстве.

3. Частое появление конкурирующих между собой центров объединения, что в целом усиливает возможности объединения.

4. Развитие более сильной государственности на местах, поскольку происходит как бы ее спускание на местный уровень (появление местной администрации, столицы и пр.).

4. Редистрибуция власти и борьба за власть

В зависимости от конкретных обстоятельств и проблем редистрибуция власти касается самых разных вещей. В первую очередь, конечно, центр волнуется возможность аккумуляции военной силы в нужное время, а затем и полный контроль над войском всей страны. Но верховная власть не менее озабочена проблемой лояльности родовых начальников, эффективным контролем над сбором налогов и выполнением повинностей. Она стремится ограничить права местных правителей (вершить суд по определенным делам, вводить свои налоги и т.п.) и даже полностью заменить их на своих наместников. Важнейшим нервом редистрибуции порой становится борьба во круг порядка передачи престола, а также сужения или расширения контингента, обладающего какими-то политическими правами (вроде голосования) или из которого черпаются функционеры; дарование или отбирание привилегий.

Редистрибуция власти периодически перерастает в борьбу за власть, в ходе которой нередко, собственно, и реализуется процесс качественного развития государственной структуры (см., например, об этом процессе в Спарте, Афинах, Римской республике: [Гринин 2010: 115–117]). Здесь

следует отметить, что сама редистрибуция власти, равно как и ее передел, в первую очередь затрагивают интересы тех, у кого концентрируется власть, то есть знатных и богатых, а также корпорации разного рода. Вот почему раннее государство часто оказывается враждебным знати как при демократии, так и при монархии (а не орудием укрепления власти знати в отношении народа, как считает марксизм)⁴¹.

Чаще всего политическая власть борется либо с аристократией, либо со жречеством. На Гавайях в скором времени после объединения архипелага происходит существенное усиление политической власти правителя за счет ослабления жречества [Service 1975: 158; Davenport 1969: 17], хотя это и наносило вред концепции священного ранга вождя [Davenport 1969: 17]. По мнению Сервиса, новые правители в государстве нередко вообще склонны рассматривать старое жречество как преграду на пути укрепления и абсолютизации их власти [Service 1975: 158].

К месту будет вспомнить и реформы Монтесумы II в начале XVI в. в империи ацтеков, который сократил численность знати, запретил многим из них под предлогом сомнительного происхождения доступ к государственной службе и отменил их привилегии [Kurtz 1978: 176; Trigger 2001: 61]. Примером постоянной борьбы с высшей аристократией являются многие ранние государства Африки, где царская власть была не наследственной, а выборно-наследственной. В результате существовала функциональная зависимость между выборно-наследственным характером царской власти и наличием в раннегосударственном аппарате совета знати, одной из функций которого являлись выборы царя [Кочакова 1995: 161]. Таким образом, «двуединство и борьба за власть царя и царского двора, с одной стороны, и совета родовой по происхождению знати, связанной через цепочку носителей должности с низовыми общинами, — с другой, составляло главную характерную черту структуры формирующегося аппарата и основное содержание политического соперничества в ранних государствах» [Там же]. В результате главной тенденцией царской власти в области формирования властно-управленческих структур было стремление к созданию дворцовой организации, независимой от родовой знати [Там же].

* * *

Завершая эту часть статьи, вновь повторим: и ранние государства, и аналоги принципиально отличаются от стадияльно догосударственных обществ по размерам, уровню сложности, объему прибавочного продукта и т.п. Различия же между ранними государствами и их аналогами лежат главным образом не в количественных показателях, а в особенностях политического устройства и способах управления обществом. Вот почему для отличения раннего государства от его аналогов требуются особые критерии (совсем иные, чем те, что отличают ранние государства и аналоги от стадияльно догосударственных обществ). Для решения этой задачи — выделения среди всех сложных обществ ранних государств и возможности определить, является ли полития ранним государством или его аналогом? — нами были выделены четыре крупных признака-критерия: особые свойства верховной власти; новые принципы управления; нетрадиционные и новые формы регулирования жизни общества; редистрибуция власти.

На наш взгляд, проведенный на их основе анализ особенностей ранних государств доказывает релевантность и продуктивность этих критериев.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. АНАЛОГИ РАННЕГО ГОСУДАРСТВА И МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВОГЕНЕЗА

Эволюционные условия появления ранних государств

Для адекватного анализа эволюции политических форм равно важно учитывать: а) *стадияльную равноправность между аналогами раннего государства и ранним государством*, поскольку раннее государство являлось лишь одной из многих форм организации сложных обществ, которая стала типичной только в ходе длительного эволюционного отбора; б) *их эволюционную неравноправность*, так как в конечном счете именно государство оказалось ведущей политической формой организации обществ. Все остальные, длительное время альтернативные ему в конце концов либо

преобразовались в государство, либо исчезли, либо превратились в боковые или тупиковые виды.

Данный подход дает больше возможностей для понимания того, при каких условиях появятся ранние государства. Мы полагаем, что следует говорить о двух типах условий, необходимых для появления государства: а) объективных; б) особых, то есть конкретно-исторических. К последним добавляется также: в) возникновение экстремальных ситуаций, служащих триггером (толчком, импульсом, спусковым крючком).

Объективные условия — это характеристики, которые уже дают потенциальную возможность политиям трансформироваться в государство. Условия образования государства невозможно рассматривать вне количественных и качественных характеристик общества, в котором такие процессы происходят⁴². Таким образом, до обретения обществом объективных условий (показателей, параметров) ни при каких благоприятных обстоятельствах государство образоваться не может. После их обретения обществом оно уже может стать государством.

Бифуркационная развилка объективных условий. Объективные условия сами по себе еще не означают, что общество непременно создаст государственную организацию. Поэтому после их появления политики могут продолжать развиваться, но только своими особыми путями, без создания раннего государственного форм, то есть как бы параллельным государственногенезу курсом. Иными словами, в ситуациях, *когда сложились объективные условия для формирования раннего государства, но не хватает конкретно-исторических (и/или не возникло экстремальных ситуаций), возникают различные типы аналогов ранних государств.*

Таким образом, для формирования раннего государства нужны особые **конкретно-исторические условия**. Особенности географического положения (выход к морю, нахождение на важных торговых путях или, напротив, удаленность от других обществ), экологические условия, интенсивность контактов внутри общества и между обществами, соответствующее окружение (например, наличие развитого, опасного или слабого соседа), конституционные особенности общества, наличие или отсутствие подходящих исторических

традиций — все это и другое могло как способствовать, так и препятствовать трансформации политики в раннее государство⁴³. Следовательно, при одних и тех же объективных данных — размере, уровне социокультурной и/или политической сложности — в одних ситуациях *при наличии конкретных благоприятных условий* уже возникает возможность начать трансформацию в государство, а в других (*при отсутствии благоприятных условий*) — нет.

Экстремальные ситуации (триггеры). Для перехода к государству важными являются возникновение экстремальных ситуаций, связанных с резким изменением привычной жизни и необходимостью новых решений и реформ, стремлением перераспределить власть (например, внешняя опасность, удачный захват, важное техническое или социальное изобретение), появление особо выдающегося лидера (см., например: [Миллер 1984: 216]) и т.п. Такие экстремальные условия могут сыграть роль спускового крючка, запускающего процесс государствогенеза в тех обществах, где для этого сложились объективные и конкретно-исторические условия (например: [Гринин 2002: 51; 2011: 179; Grinin 2002; 2003; 2009]).

Крайне значимо, что к существенно близким выводам пришел и Х.Й.М. Классен. Например, в статье «Было ли неизбежным появление государства?» [Claessen 2002; 2004; Классен 2006] он писал, что «только когда в обществе одновременно присутствует несколько выявленных нами условий и происходит какое-то дающее толчок событие, начнется развитие раннего государства, причем между “необходимыми условиями” должна существовать положительная обратная связь. Именно в таких случаях появление раннего государства было неизбежным». Однако, как указывает Классен, имелось много обществ, в которых не все из этих условий создавались либо «такие дающие толчок события не происходили... и в конечном итоге раннее государство не возникало»⁴⁴.

Модели государствогенеза

Многие аналоги могли и превращались в конечном счете в государство. Однако такой переход осуществляется по достижении уже весьма высокого уровня развития и сложности, вполне сравнимого с уровнем многих государственных

ных обществ. Ведь общество, достигая размера и уровня сложности, с которых переход к государству в принципе уже возможен, могло продолжать развиваться, но по собственной траектории, иногда очень долго не создавая раннегосударственную политическую форму⁴⁵. Неудивительно, что уровень, с которого разные аналоги могли становиться государством, сильно варьировал. Одни аналоги трансформируются в государство, имея население в 10–15 тыс. человек, другие — уже много десятков тысяч, а третьи — сотни тысяч (см.: [Гринин 2006в; Grinin 2003; 2004с; Гринин, Коротаев 2009]). Таким образом, *переход к государству в разных обществах осуществлялся фактически не с одинакового, а с разных уровней социокультурной и политической сложности.*

Удалось определить две базовые модели образования раннего государства:

1) **вертикальная**, то есть непосредственное преобразование в раннее государство стадияльно догосударственных небольших политий путем их укрупнения или объединения. Такой путь отмечен для бецилеу на Мадагаскаре в начале XVII в. [Kottak 1980; Claessen 2000; 2004]; такой способ был характерен и для греческих обществ [Глускина 1983: 36; см. также: Фролов 1986: 44], и для Междуречья конца IV и III тыс. до н. э. [Дьяконов 1983: 110]. Реже таким способом рождались крупные государства, например, государство зулусов в начале XIX в., которое очень быстро (буквально за два–три десятилетия) из конгломерата вождей стало империей [Бюттнер 1981: 184; Риттер 1968; Service 1975: 109; Gluckman 1960]. Вертикальная модель была более редким путем, по крайней мере до тех пор, пока государственность не стала широко распространенной;

2) **горизонтальная**: сначала образовывались аналоги раннего государства, вполне сопоставимые по своей сложности с государством, а уже потом эти аналоги трансформировались в государство. Причем на заключительном этапе такой переход достаточно часто происходит быстро. Это может быть связано как с объединением нескольких аналогов в более крупное государство, например, путем военного объединения (так происходил процесс у гавайцев), так и с изменениями внутри одного аналога (как это было у скифов).

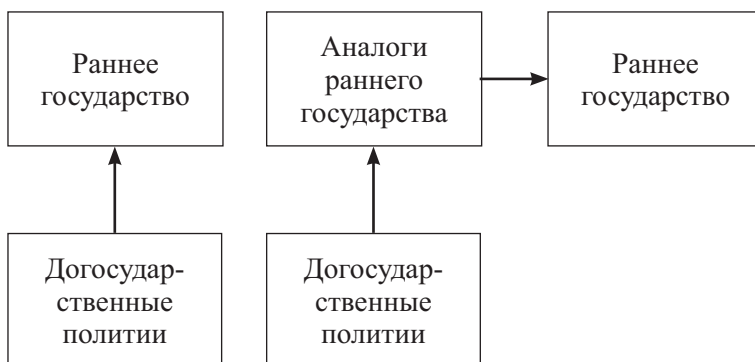


Рис. 1. Две модели перехода к раннему государству

Следовательно, общество может трансформироваться в раннее государство:

1) со стадияльно догосударственного уровня, например, путем синойкизма небольших общин (см. приведенные выше примеры: бецилеу на Мадагаскаре; греческие общества, Междуречье конца IV и III тыс. до н. э.);

2) с уровня аналогов малого государства (возможно, именно на таком уровне зарождалась империя Чингисхана);

3) с уровня аналогов среднего государства (например, Гавайи);

4) и даже с уровня аналогов крупного государства (например, скифы в начале IV в. до н. э.).

Такие подходы, как нам кажется, позволяют полнее увидеть эволюционные альтернативы в политогенезе раннему государству на любом уровне сложности и развитости раннего государства. Они также объясняют причины сильного расхождения во взглядах исследователей на то, какие объективные количественные параметры необходимы для образования государства.

¹ Необходимость отдельной дефиниции для раннего государства заключается в том, что в ранних государствах наиболее яркие признаки государства еще не проявились (по этой причине, кстати, некоторые исследователи вообще не признают ранние государства как государства). Подробное обоснование дефиниций государства и раннего

государства, а равно анализ различных определений государства см.: [Гринин 2011, гл. 1: 21–32; Гринин, Коротаев 2009: 210–214; 2010].

² См., например: [Alexeev et al. 2004; Beliaev et al. 2002; Bondarenko 2000; 2006; Bondarenko, Grinin, Korotayev 2002; Bondarenko, Korotayev 2000a; 2000b; Bondarenko, Sledzevski 2000; Crumley 1995; 2001; Grinin разл. соч.; Grinin et al. 2004; Grinin, Korotayev 2006, 2009; Korotayev 1995; Kradin et al. 2000; Kradin, Bondarenko, Barfield 2003; Kradin, Lynsha 1995; McIntosh 1999; Possehl 1998; Schaedel 1995; Бондаренко 1995; 2000; 2001; Бондаренко, Гринин, Коротаев 2010; Бондаренко, Коротаев 2002; Гиренко 1993; Гринин 1997 и др. соч.; Гринин и др. 2006; Гринин, Коротаев 2009; 2010; Коротаев 1995a; 1995b; 1997; 2000a; 2000b; Крадин, Лынша 1995; Крадин, Коротаев и др. 2000; Попов 1995a; 1995b; 2000; Штырбул 2006, 2007].

³ Сложные общества могли, напротив, усилить концентрацию населения, в результате чего появлялись города, что, соответственно, уменьшало площадь политики.

⁴ Пункты «а» и «д» подробно описаны Классеном и Скальником, правда, только в отношении ранних государств [Claessen, Skalnik 1978a; 1978b; 1978c; 1978d].

⁵ Но следует отметить, что Классен в последних своих работах в известной мере признал излагаемую в данной статье концепцию аналогов ранних государств (например: [Claessen 2010: 30, 43–44]), а в личных письмах автору статьи высказывался в том смысле, что эта концепция существенно дополняет теорию эволюции государства. О трудностях классификации обществ, уже переросших договорственный уровень, но не ставших государством, см.: [Lloyd 1981: 233; Marcus, Feinman 1998: 6; см. также: Doornbos 1994; Schaedel 1995].

⁶ Так же как, скажем, различение индустриальных капиталистических государств и доиндустриальных, а также индустриальных капиталистических и социалистических требует двух методологических процедур.

⁷ В Греции были политические образования, не имевшие собственных городских центров, однако воспринимавшихся и самими гражданами, и другими эллинами как полисы (см.: [Кошеленко 1983: 10]).

⁸ По населению Исландии есть и другие оценки (см.: [Хизриева 2002: 78; Хьяульмарссон 2003: 27]), но они представляются сильно завышенными.

⁹ Единственный критерий принадлежности к казачеству состоял в признании над собой власти казацкого суда [Петкевич 2006b: 285].

¹⁰ Например, победитель римлян в Тевтобургском лесу в 9 г. н. э., вождь херусского союза Арминий, погиб в результате заговора херусской знати, недовольной его стремлением к единовластию (см.: [Колосовская 2000: 43; СИЭ 1967: 746]). И это только один из очень

многих фактов, свидетельствующих о почти повсеместной борьбе центробежных и центростремительных сил в политогенезе и государствогенезе.

¹¹ При этом, по мнению Хазанова [2008: 295], по-видимому, нигде зависимость одних групп кочевников от других в рамках единой социально-экономической и политической системы не зашла так далеко, как у северных туарегов.

¹² У горцев развитие часто идет не путем создания крупных территориальных или этнических образований, а по линии более четкого обособления локальных сегментов (типа общин или независимых кланов). Вследствие этого социальная и политическая организация горских народов включает сумму автономных общин, которые являются основными ячейками общества (см.: [Маретина 1995: 81–82]; см. также: [Коротаев 1995б]).

¹³ Т.Д. Скрынникова [1997; см. также: Skrynnikova 2004: 525] даже империю Чингисхана рассматривает как предгосударственное и предполитическое общество (суперсложное вождество). На наш взгляд, это неправомерно. Мы однозначно относим эту политику к ранним государствам и в этом отношении разделяем мнение большинства кочевниковедов (обзор мнений см.: [Базаров и др. 2004: 7]; см. также: [Васютин 2004; Барфилд 2004]). См. также работу Хазанова [2008], с мнением которого в данном случае (но не в отношении скифской политики) мы согласны.

¹⁴ Цари продолжали жить по традиции в стойбищах в окружении своих князей и конников, охотников и скота. Такую же жизнь вели и вожди племен, и вожди меньшего ранга. Устраивались ежегодные собрания воинов [Райс 2004: 50–51]. Раз в год воины собирались на пиру у царя, где хвастались своими подвигами [Там же]. Это была не слишком активная для государства политическая жизнь на верхнем уровне системы, но как раз похожая на ритм жизни аналогов, где ежегодных собраний оказывалось достаточно, чтобы решать основные политические и судебные дела (как это было, например, в Исландии).

¹⁵ Но отметим, что по вопросу о времени возникновения государства у скифов, а также о том, имелось ли у них государство вообще, нет единой точки зрения (см., например: [Смирнов 1966: 146–150; Гуляев 2005: 232–239]).

¹⁶ По словам М.Э. Смит, вождества часто доставляют «беспокойство» исследователям из-за того, что есть большие расхождения, отнести ли данную политику к высшему вождеству или раннему государству [Smith 1985: 97], а некоторые, как Уэбб [Webb 1975, цит. по: Smith 1985: 97], даже считали вождества, за отдельными исключениями, эволюционным тупиком, указывая, что те вождества, которые могут превратиться в государство, лучше определять как зарождающиеся государства (“incipient states”).

¹⁷ И, кстати, этот факт отмечается даже теми, кто считает такие вождества догосударственными обществами в стадильном смысле (см.: [Carneiro 1981; Карнейро 2000: 90]).

¹⁸ Отметим, что в Чжоуском Китае особая роль родственного статуса в кланах правителя во многом определялась тем, что чжоусцы были сравнительно малочисленным этносом в покоренной стране (так же, впрочем, было и во многих других государствах, например, в Киевской Руси). Кроме того, на административные должности назначали не только родственников правителя, но и аристократов, имевших способности и заслуги. Многие должности были наследственными, но это вовсе не было строгой нормой. «Людей назначали на пост и повышали по службе на основе их личных качеств и способностей» [Крил 2001: 88; см. также: Васильев 1993: 187 и др.]. И это, на наш взгляд, существенным образом отличает Западную Чжоу как раннее государство от Гавайев как аналога раннего государства.

¹⁹ При этом он вместе с приближенными демонстративно нарушил ряд наиболее строгих табу (см.: [Service 1975: 155–157; Латушко 2006]), в частности открыто вошел к своим женам и стал вместе с ними есть.

²⁰ Хотя последние исследования показывают, что разрыв в уровне городов и поселений не был столь радикальным, как это представлялось ранее.

²¹ Такие названия происходят от наименования племени «черные олени», которое стало господствующим [Итс, Яковлев 1967: 79].

²² Кстати, в однолинейных периодизациях XVIII в. (Тюрго, Барнава, Робертсона, Миллара, Фергюсона, А. Смита, Десницкого и др.) на этом основании скотоводство стадильно предшествовало земледелию. И такое ошибочное представление держалось примерно до середины XIX в. (см.: [Илюшечкин 1986: 15]; см. также: [Шнирельман 1980: 7–10]).

²³ Но надо непременно учитывать, что между мельчайшими и даже мелкими ранними государствами, с одной стороны, и их аналогами — с другой — различия порой становятся малозаметными просто из-за того, что небольшой размер делает ненужными многие административные институты, учреждения, функции. Не с этим ли во многом связаны и споры по поводу разделения таких политий на государственные или негосударственные? Также надо иметь в виду, что для образования малого государства, как нам представляется, нередко требуется больше населения, чем для его жизнедеятельности, поскольку позже такое государство может распасться или разделиться, создав меньшие по размерам государства, чем было первоначальное.

²⁴ Потребность в консенсусе «вызывает отсутствие стабильности в центре конфедерации и ведет к потере связи с “окраинами”» [Фентон 1978: 114].

²⁵ Классен и Скальник подчеркивали, что переход к государственности вызывает эффект снежного кома: если ком пришел в движение, то он движется все быстрее и быстрее [Claessen, Skalnik 1978a: 624–625].

²⁶ Особый отделенный от населения аппарат управления становится обязательным признаком только следующего эволюционного типа государства — развитого (см.: [Гринин 2010: 188]).

²⁷ Там, где оно выполняет производственные задачи, соответственно и управленцев требуется больше. Наконец, наличие достаточно развитого рынка делает ненужным часть управленцев, появляющихся в ряде государств в отсутствие рынка.

²⁸ Иногда говорят о делегировании задач [Claessen 1978: 576] или «делегируванном принятии решений» [Spencer 2000: 157], но это только часть указанного нами принципа.

²⁹ В Китае еще на самой заре формирования государства появляется «сентенция, уподобляющая государственное устройство строению человеческого тела, а именно: государь — это голова, а сановники или же чиновники — это его руки и ноги, глаза и уши» [Бокшанин 1998a: 213]. Аналогичный образ использовался и гавайцами, но уже после формирования там государства в XIX в. (см.: [Johnson, Earle 2000: 302]).

³⁰ В частности, специализация деятельности по кланам могла являться одним из источников формирования госаппарата и аппарата принуждения. См. об этом процессе, например, в Древней Японии с VI века н. э.: [Patterson 1995: 131–132; см. также: Дьяконова 1989: 214; Пасков 1987; Мещеряков, Грачев 2003].

³¹ Но даже в бюрократических ранних государствах управленцы мало или вовсе не походили на тот тип чиновников, о котором писал Вебер [Weber 1947: 333–334].

³² То есть членов родственной группы, только из представителей которой выделялись управленцы и функционеры на определенные должности.

³³ См. о роли слуг, рабов и прочих неполноправных в управлении, армии и других органах в разных обществах — в Египте в Древнем царстве: [Janssen 1978: 223]; в Древней Руси: [Платонов 1994: 129; Ключевский 1937, т. 1]; в государствах Африки: [Кочакова 1986: 255; Кобищанов 1974: 168–169; Годинер 1982: 94–96; Киселев 1985: 98–102; Орлова, Львова 1978: 253; Куббель 1976: 107–108].

³⁴ В знаменитом древнеиндийском трактате о политике «Артхашастра», написанном, как предполагают, Каутильей, министром царя Чандрагупты, в конце IV в. до н. э., очень много места уделено сведениям о контроле над теми, кто выполнял роль «надзирателей» за подданными и «элементами царства», и «проверке исполнения ими традиционных или специально оговоренных норм, договоров, обязательств, проверке честности при передаче в казну должной части дохода, а также осуществлении наказаний, штрафования и устранении нарушителей... тех, кто присваивал царское имущество, царскую долю

доходов и т. д.» [Лелюхин 2000: 37, 42]. Такие проблемы типичны для многих ранних государств.

³⁵ Как это было, например, у зулусов при Чаке. Последний вел бесконечные войны и был заинтересован в возможно большей численности армии. Поэтому он чрезмерно усилил традицию, согласно которой юноши могли жениться только после прохождения своего рода военного обучения в военных лагерях. Чака запрещал воинам жениться в течение многих лет, поскольку они непрерывно находились на военной службе. Такое право он давал только за особые заслуги отдельным воинам или целым частям (см.: [Риттер 1968]).

³⁶ Например, в Исландии (см.: [Ольгейрсон 1957: 179–186, 189–191]).

³⁷ Об их роли согласно уже упоминавшейся «Артхашастре» в Индии в IV в. до н. э. см.: [Лелюхин 2000; Лелюхин, Любимов 1998; Lelioukhine 2000: 272; Mishra P., Mishra J. 2002; Косамби 1968: 169].

³⁸ Х.Й.М. Классен и Я.Г. Остин подчеркивали, что в ранних государствах часто ситуация, когда правитель и центральная элита поощряют сохранение и укрепление центральной власти, а местные элиты стремятся к децентрализации. На практике эти попытки выливаются скорее в поиск «баланса власти» и в соперничество за важные должности, чем в доминирование центрального правителя над высшей стратой [Claessen, Oosten 1996].

³⁹ Упорядоченная централизация власти — характерная черта уже нового эволюционного типа государства — развитого (см., например: [Гринин 2006а; 2010; Grinin 2008а]).

⁴⁰ «Распад и смена одних “имперских” образований другими в XIX в., перемещение “имперских” политических центров были проявлением поступательного развития ранней африканской государственности...» [Кочакова 1986: 270] (см. также: [Ambrosino 1995; Kowalewski et al. 1995]).

⁴¹ Параллельно с этим может идти расширение прав и привилегий новой элиты, на которую верховная власть пытается опереться, но с которой в будущем она в свою очередь может начать борьбу.

⁴² Многие исследователи единодушны в том, что для этого необходимы определенный размер и уровень социополитической сложности (см., в частности: [Claessen 1978: 586–588]). Правда, в отношении того, какие минимальные параметры требуются для появления зачаточного государства (особенно в отношении численности населения), есть большие расхождения (см. подробнее: [Feinman 1998: 97–99; Grinin 2010: 16–20; Grinin 2003; 2009а]).

⁴³ Так, на Таити и Гавайях объективные условия для образования государства появились задолго до конца XVIII в. (см. выше), но только после открытия островов европейцами и распространения огнестрельного оружия начался процесс их трансформации в государство.

⁴⁴ Наш подход, однако, имеет важные отличия. Во-первых, мы выделяем не только объективные условия и триггеры, но и конкретно-исторические условия, без которых возможность возникновения нужного толчка резко уменьшается (о других различиях см.: [Гринин 2006а; 2011: 242–243]); во-вторых, к числу важнейших толчков, в отличие от Классена, мы в первую очередь относим военный фактор [Гринин 2001–2006 и др. соч.; Grinin 2003; 2004с; Grinin, Коротаев 2009], а также и такие сопутствующие ему, как заимствование новых видов оружия, особенно огнестрельного, как это произошло, например, на Мадагаскаре в XVII в. [Дешан 1984: 353; Ратцель 1902, т. 1: 445], на Таити и Гавайях в XVIII в. [Service 1975]. Но нельзя не указать, что взгляды Х.Й.М. Классена на роль военного фактора в процессе государствогенеза в последние годы изменились (например: [Claessen 2006; 2010; см. также: Grinin 2011: 223, сн. 170]).

⁴⁵ Либо не создавая ее никогда.

Аверкиева Ю.П. 1973. О путях распада родового строя // Основные проблемы африканистики. Этнография. История. Филология / ред. Ю.В. Бромлей. М.: Наука. С. 51–57.

Агларов М.А. 1988. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII — начале XIX в. М.: Наука.

Александренков Э.Г. 1976. Индейцы Антильских островов. М.: Наука.

Андреев И.Л. 1998. Тайные общества как альтернативный государству механизм властного регулирования традиционных отношений в странах Тропической Африки // АОКЯ. С. 38–53.

Антонова Е.В. 2004. Древнейшая Индия // ИДВ. С. 59–96.

Архенгольц Ф. 1991. История морских разбойников Средиземного моря и океана. М.: Новелла.

Баглай В.Е. 1995. Древнеацтекское государство: структура власти и управления // РФПО. С. 230–258.

Базаров Б.В., Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. 2004. Введение: Кочевники, монголосфера и цивилизационный процесс // МИКМ. С. 3–18.

Барфилд Т.Дж. 2004. Монгольская модель кочевой империи // МИКМ. С. 254–269.

Барфилд Т.Дж. 2006. Мир кочевников-скотоводов // РГАА. С. 415–441.

Барфилд Т.Дж. 2009. Теневые империи: формирование империй на границе Китая и кочевников // МИКМ. Кн. 3.

Батыр К.И., Поликарпова Е.В. (ред.). 1996. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М.: Юрист. Т. 1.

Белков П.Л. 1993. Социальная стратификация и средства управления в доклассовом и предклассовом обществе // РФСС. С. 71–97.

- Берве Г.* 1997. Тираны Греции: пер. с нем. Ростов н/Д: Феникс.
- Березкин Ю.Е.* 1991. Инки. Исторический опыт империи. Л.: Наука.
- Бессмертный Ю.Л.* 1972. Возникновение Франции // История Франции: в 3 т. / ред. А.З. Манфред. Т. 1. М.: Наука. С. 9–68.
- Бобровников В.О.* 2002. Берберы (XIX — начало XX в. н. э.) // ЦМП. С. 177–195.
- Бокщанин А.А.* 1998а. Зарождение административно-управленческого аппарата в Древнем Китае // ГИО. С. 204–224.
- Бокщанин А.А.* 1998б. Сложение государственно-административных институтов в Китае (эпоха Шан-Инь, XVI — середина XI в. до н. э.) // ГИО. С. 225–249.
- Бонгард-Левин Г.М.* 1973. Индия эпохи Маурьев. М.: Наука.
- Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф.* 1969. Древняя Индия. Исторический очерк. М.: Наука.
- Бондаренко Д.М.* 1995. Бенин накануне первых контактов с европейцами. Человек. Общество. Власть. М.: Институт Африки РАН.
- Бондаренко Д.М.* 2000. «Гомологические ряды» социальной эволюции и альтернативы государству в мировой истории // АПЦ С. 198–206.
- Бондаренко Д.М.* 2001. Доимперский Бенин: формирование и эволюция социально-политических институтов. М.: Институт Африки РАН.
- Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В.* 2010. Социальная эволюция: альтернативы и варианты (к постановке проблемы) // Эволюция: проблемы и дискуссии / ред. Л.Е. Гринин, А.В. Марков, А.В. Коротаев. М.: ЛКИ. С. 120–159.
- Бондаренко Д.М., Коротаев А.В.* (ред.). 2002. ЦМП.
- Бочаров В.В.* 1991. Политические системы Тропической Африки: от племени к государству // ПГА. С. 65–75.
- Бродель Ф.* 1995. Что такое Франция?: пер. с фр. М.: Изд-во им. Сабашниковых. Т. 2. Ч. 1
- Буданова В.П.* 1990. Готы в эпоху Великого переселения народов. М.: Наука.
- Буданова В.П.* 2000. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М.: Наука.
- Бюттнер Т.* 1981. История Африки с древнейших времен: пер. с нем. М.: ГРВЛ.
- Васильев Л.С.* 1993. История Востока: в 2 т. М.: Высшая школа. Т. 1.
- Васютин С.А.* 2002. Типология постстарных и политических систем кочевников // КАСЭ. С. 86–98.
- Васютин С.А.* 2004. Монгольская империя как особая форма ранней государственности? (к дискуссии о политических системах кочевых империй) // МИКМ. С. 269–287.

- Вейнберг И.П.* 1989. Сирия, Финикия и Палестина в первой половине I тысячелетия до н. э. // ИДМ. Кн. 2. С. 95–114.
- Вигасин А.А.* 2000. Древняя Индия // ИВ. С. 389–432.
- Вильсон Д.* 2004. Англосаксы. Покорители кельтской Британии: пер. с англ. М.: ЗАО «Центрполиграф».
- Владимирцов Б.Я.* 1934. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л.: Изд-во АН СССР.
- Влит Э.Ч.Л. ван дер.* 2006. Полис: проблема государственности. Раннее государство, его альтернативы и аналоги // РГАА. С. 387–412.
- Воробьев Д.В.* 2002. Ирокезы (XV–XVIII вв. н. э.) // ЦМП. С. 159–176.
- Гиоргадзе Г.Г.* 1989. Ранняя Малая Азия и Хеттское царство // ИДМ. Кн. 1. С. 212–234.
- Гиоргадзе Г.Г.* 2000. Ранняя Малая Азия и Хеттское царство // ИВ. С. 113–127.
- Гиренко Н.М.* 1993. Племя и государство: проблемы эволюции // РФСС. С. 122–131.
- Глускина Л.М.* 1983. Проблемы кризиса полиса // Античная Греция. Проблемы развития полиса / отв. ред. Е.С. Голубцова. М.: Наука. Т. 2: Кризис полиса. С. 5–42.
- Голден П.* 2004. Кипчаки средневековой Евразии: пример негосударственной адаптации в степи // МИКМ. С. 103–134.
- Гомеров И.Н.* 2002. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура. М.: ЮКЭА.
- Годинер Э.С.* 1982. Возникновение и эволюция государства в Буганде. М.: Наука.
- Годинер Э.С.* 1991. Политическая антропология о происхождении государства // Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения / ред. С.Я. Козлов, П.И. Пучков. М.: Наука. С. 51–78.
- Граков Б.Н.* 1971. Скифы. М.: МГУ.
- Гринин Л.Е.* 1997. Формации и цивилизации. Гл. 4: Социально-политические, этнические и духовные аспекты социологии истории // Философия и общество. № 5. С. 5–63.
- Гринин Л.Е.* 2001–2006. Генезис государства как составная часть процесса перехода от первобытности к цивилизации (общий контекст социальной эволюции при образовании раннего государства). [Книга печаталась в журнале «Философия и общество» с 2001 по 2006 г.]
- Гринин Л.Е.* 2002. Характеристики и признаки раннего государства // Философия и общество. № 3. С. 5–73.
- Гринин Л.Е.* 2006а. От раннего к зрелому государству // РГАА. С. 523–556.
- Гринин Л.Е.* 2006б. Раннее государство и демократия // РГАА. С. 337–386.

Гринин Л.Е. 2006в. Раннее государство и его аналоги // РГАА. С. 85–163.

Гринин Л.Е. 2007а. Аналоги раннего государства: альтернативные пути эволюции // Личность. Культура. Общество. Т. IX. Вып. 1 (34). С. 149–169.

Гринин Л.Е. 2007б. Зависимость между размерами общества и эволюционным типом политики // История и математика: анализ и моделирование социально-исторических процессов / ред. А.В. Коротаев, С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин. М.: КомКнига. С. 263–303.

Гринин Л.Е. 2008. О некоторых особенностях политогенеза в кочевых и варварских обществах // МИКМ. С. 58–92.

Гринин Л.Е. 2010. Государство и исторический процесс. Эволюция государственности: От раннего государства к зрелому. 2-е изд., испр. М.: Либроком.

Гринин Л.Е. 2011. Государство и исторический процесс. Эпоха формирования государства. Общий контекст социальной эволюции при образовании государства. 2-е изд. М.: Либроком.

Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2009. Социальная макроэволюция. Генезис и трансформации Мир-Системы. М.: Либроком.

Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2010. Политическая эволюция Мир-Системы: формальный и количественный анализ // ИМ. С. 52–118.

Гуляев В.И. 2005. Скифы: расцвет и падение великого царства. М.: Алетейя.

Гумилев Л.Н. 1993. Хунну. СПб.: Тайм-Аут-Компасс.

Гуревич А.Я. 1972. История и сага. М.: Наука.

Гуревич А.Я. 1980. Образование раннефеодального государства в Норвегии (конец IX — начало XIII в.) // История Норвегии / ред. А.С. Кан. М.: Наука. С. 126–151.

Дешан Ю. 1984. История большого острова // История Тропической Африки (с древнейших времен до 1800 г.) / ред. Д.А. Ольдерогге. М.: ГРВЛ. С. 345–357.

Дьяконов И.М. 1951. Реформы Уракагины в Лагаше // ВДИ. № 1. С. 15–32.

Дьяконов И.М. 1956. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н. э. М.; Л.: Изд-во АН СССР.

Дьяконов И.М. (ред.). 1983. История Древнего Востока. ГРВЛ. М. Т. 1: Месопотамия.

Дьяконов И.М. 2000а. Города-государства Шумера // ИВ. С. 45–56.

Дьяконов И.М. 2000б. Переход к территориальному государству в Месопотамии // ИВ. С. 57–66.

Дьяконова Е.М. 1989. Древняя Япония // ИДМ. Кн. 3. С. 211–219.

Ёрл Т.К. 2002. Гавайские острова (800–1824 гг.) // ЦМП. С. 77–88.

Залесский Н.Н. 1959. Этруски в Северной Италии. Л.: ЛГУ.

Илюшечкин В.П. 1986. Сословно-классовое общество в истории Китая (опыт системно-структурного анализа). М.: Наука.

Итс Р.Ф., Яковлев А.Г. 1967. К вопросу о социально-экономическом строе ляншанской группы народности и // ОСО. С. 64–106.

Карнейро Р.Л. 2000. Процесс или стадии: ложная дихотомия в исследовании истории возникновения государства // АПЦ. С. 84–94.

Киселев Г.С. 1985. Доколониальная Африка. Формирование классового общества (состояние проблемы и перспективы ее разработки). М.: Наука.

Классен Х.Дж.М. 2006. Было ли неизбежным появление государства? // РГАА. С. 71–84.

Ключевский В.О. 1937. Курс русской истории: в 4 ч. М.: Соцгиз. Ч. 1.

Кобищанов Ю.М. 1974. Африканские феодальные общества: воспроизводство и неравномерность развития // Африка: возникновение отсталости и пути развития / ред. Л.Е. Куббель. М.: Наука. С. 85–290.

Кобищанов Ю.М. 1989. Туареги в истории Африки // Туареги Ахаггара / ред. А. Лот. М.: Наука. С. 232–245.

Колесницкий Н.Ф. 1963. Об этническом и государственном развитии средневековой Германии (VI–XIV вв.) // Средние века. Вып. 23. С. 183–197.

Колосовская Ю.К. 2000. Рим и мир племен на Дунае I–IV вв. н. э. М.: Наука.

Кортаев А.В. 1995а. Апология трайбализма: Племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ // Социологический журнал. № 4. С. 68–86.

Кортаев А.В. 1995б. Горы и демократия: к постановке проблемы // АПРГ. С. 77–93.

Кортаев А.В. 1997. Сабейские этюды. Некоторые общие тенденции и факторы эволюции сабейской цивилизации. М.: Восточная литература.

Кортаев А.В. 2000а. От государства к вожеству? От вожества к племени? (Некоторые общие тенденции эволюции южно-аравийских социально-политических систем за последние три тысячи лет) // РФСО. С. 224–302.

Кортаев А.В. 2000б. Племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ (в основном по материалам Северо-Восточного Йемена) // АПЦ. С. 265–291.

Кортаев А.В., Гринин Л.Е. 2010. Политическое развитие Мир-Системы и урбанизация: сравнительный количественный анализ // ИМ. С. 119–188.

Корсунский А.Р., Гюнтер Р. 1984. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение варварских королевств (до середины VI в.). М.: МГУ.

Косамби Д. 1968. Культура и цивилизация Древней Индии: пер. с англ. М.: Прогресс.

Кочакова Н.Б. 1986. Рождение африканской цивилизации (Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея). М.: ГРВЛ.

Кочакова Н.Б. 1991. Вождество и раннее государство (подходы к изучению и сравнительный анализ) // ПГА. С. 51–64.

Кочакова Н.Б. 1995. Размышления по поводу раннего государства // РФПО. С. 153–164.

Кочакова Н.Б. 1999. Раннее государство и Африка (аналитический обзор публикаций Международного исследовательского проекта «Раннее государство»). М.: Институт Африки РАН.

Кошеленко Г.А. 1983. Введение. Древнегреческий полис // Античная Греция. Проблемы развития полиса / отв. ред. Е.С. Голубцова. М.: Наука. Т. 1: Становление и развитие полиса. С. 9–36.

Крадин Н.Н. 1992. Кочевые общества. Владивосток: Дальнаука.

Крадин Н.Н. 2001а. Империя хунну. 2-е изд. Владивосток: Дальнаука.

Крадин Н.Н. 2001б. Кочевники в мировом историческом процессе // Философия и общество. № 2. С. 108–137.

Крадин Н.Н. 2002. Структура власти в кочевых империях // КАСЭ. С. 109–125.

Крадин Н.Н., Бондаренко Д.М. (ред.). 2002. КАСЭ.

Крадин Н.Н., Кортаев А.В., Бондаренко Д.М., Лыниша В.А. (ред.). 2000. АПЦ.

Крадин Н.Н., Лыниша В.А. (ред.). 1995. АПРГ.

Крил Х.Г. 2001. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу: пер. с англ. СПб.: Евразия.

Куббель Л.Е. 1976. Об особенностях классовообразования в средневековых обществах Западного и Центрального Судана // Становление классов и государств / ред. А.И. Першиц. М.: Наука. С. 87–123.

Куббель Л.Е. 1988. Возникновение частной собственности, классов и государства // История первобытного общества. Эпоха классовообразования / ред. Ю.В. Бромлей. М.: Наука. С. 140–269.

Кучма В.В. 1998. Государство и право Древнего мира. Курс лекций по истории государства и права зарубежных стран. Волгоград: Офсет.

Кузьмищев В.А. 1974. Инка Гарсиласо де ла Вега // Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства Инков. Л.: Наука. С. 683–711.

Лапушко Ю.В. 2006. Трансформация гавайского общества (конец XVIII — середина XIX в.): дис. ... канд. ист. наук. Владивосток: ДВО РАН.

Ле Гофф Ж. 1992. Цивилизация средневекового Запада: пер. с фр. М.: Прогресс.

Лелюхин Д.Н. 2000. «Тайная служба» в древнеиндийской политической теории // Политическая интрига на Востоке / ред. Л.С. Васильев. М.: Восточная литература. С. 35–44.

Лелюхин Д.Н., Любимов Ю.В. 1998. Проблема государства и его критериев. Введение // ГИО. С. 3–7.

Леру Ф. 2000. Друиды: пер. с фр. СПб.: Евразия.

Логинов А.В. 1988. Крики // НМ. С. 233.

Лот А. 1989. Туареги Ахаггара: пер. с фр. М.: Наука.

Львова Э.С. 1995. Складывание эксплуатации и ранней государственности у народов бассейна Конго // АПРГ. С. 151–164.

Мажуга В.И. 1990. Королевская власть и церковь во франкском государстве // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI–XVII вв.) / ред. В.И. Рутенбург, И.П. Медведев. Л.: Наука. С. 46–70.

Макнамара Э. 2006. Этруски. Быт, религия, культура: пер. с англ. М.: ЗАО «Центрполиграф».

Маретина С.А. 1995. К проблеме универсальности вожеств: о природе вождей у нага (Индия) // РФПО. С. 79–103.

Массон В.М. 1989. Первые цивилизации. Л.: Наука.

Мельникова Е.А. 1987. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М.: Мысль.

Мелюкова А.И., Смирнов А.П. 1966. Киммерийцы, скифы, сарматы // ИДВНД. Т. 1. С. 214–225.

Мецзяков А.Н., Грачев М.В. 2003. История Древней Японии. СПб.: Гиперион-Триада.

Миллер Дж. 1984. Короли и сородичи. Ранние государства мбунду в Анголе: пер. с англ. М.: Наука.

Монгайт А.Л. 1974. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. М.: Наука.

Морган Л.Г. 1934. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации: пер. с англ. Л.: Изд-во Ин-та народов Севера.

Морган Л.Г. 1983 [1851]. Лига ходеносауни, или ирокезов: пер. с англ. М.: Наука.

Мортон А.Л. 1950. История Англии: пер. с англ. М.: ИЛ.

Мурзин В.Ю. 1990. Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского этноса. Киев: Наукова думка.

Неронова В.Д. 1989. Этруские города-государства в Италии // ИДМ. С. 369–381.

Неусыхин А.И. 1968. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к раннефеодальному (на материалах истории Западной Европы раннего средневековья) // Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1 / ред. Л.В. Данилова. М.: Наука. С. 596–617.

Новожилова Е.М. 2000. Традиционные тайные общества Юго-Восточной Нигерии (потестарные аспекты функционирования) // РФСО. С. 109–122.

Ольгейрссон Э. 1957. Из прошлого исландского народа. Родовой строй и государство в Исландии: пер. с исл. М.: ИЛ.

Орлова А.С., Львова Э.С. 1978. Страницы истории великой саванны. М.: Наука.

Османов М.О. 1988. Лезгины // НМ. С. 251–252.

Пасков С.С. 1987. Япония в раннее Средневековье. VII–XII века. Исторические очерки. М.: Наука.

Патрушев А.И. 2003. Германская история. М.: Весь мир.

Переломов Л.С. 1974. Китай в эпоху Лего и Чжаньго // История Китая с древнейших времен до наших дней / ред. Л.В. Симоновская, М.Ф. Юрьев. М.: Наука. С. 17–32.

Перепёлкин Ю.Я. 2001. История Древнего Египта. СПб.: Журнал «Нева», Летний сад.

Першиц А.И. 1968. Общественный строй туарегов Сахары в XIX в. // Разложение родового строя и формирование классового общества / ред. А.И. Першиц. М.: Наука. С. 320–355.

Петкевич К. 2006а. Великое княжество Литовское // РГАА. С. 304–334.

Петкевич К. 2006б. Казачье государство // РГАА. С. 280–303.

Платонов С.Ф. 1994. Лекции по русской истории. М. Т. 1, 2.

Попов В.А. 1995а. Политогенетическая контроверза, параполитейность и феномен вторичной государственности // РФПО. С. 188–204.

Попов В.А. (ред.) 1995б. РФПО.

Попов В.А. 2000. Предисловие // РФСО. С. 3–7.

Райс Т.Т. 2004. Скифы. Строители степных пирамид: пер. с англ. М.: ЗАО «Центрполиграф».

Ратцель Ф. 1902. Народоведение: в 2 т.: пер. с нем. СПб.: Типография товарищества «Просвещение».

Риттер Э.А. 1968. Чака Зулу. Возвышение зулусской империи: пер. с англ. М.: Наука.

Рыбаков Б.А. 1966. Русь в эпоху «Слова о полку Игореве». Обособление самостоятельных русских княжеств в XII — начале XIII в. // ИДВНД. Т. 1. С. 573–639.

Рыбаков Б.А. 1987. Мир истории. Начальные века русской истории. М.: Молодая гвардия.

- Садаев Д.С.* 1979. История Ассирии. М.: Наука.
- Салинз М.Д.* 1999. Экономика каменного века: пер. с англ. М.: ОГИ.
- Санников С.В.* 2002. Структурно-компаративная типология древнегерманских обществ (по данным письменных источников) // Труды XI Междунар. науч. студенческой конф. «Студент и научно-технический прогресс» / ред. С.Г. Пятков. Новосибирск: НГУ. С. 59–66.
- Санников С.В.* 2003. Развитие ранних форм королевской власти у германских народов: особенности политогенеза // История и социология государства / ред. А.П. Дервянко. Новосибирск: НГУ. С. 36–54.
- Саутхолл Э.* 2000. О возникновении государства // АПЦ. С. 130–136.
- Сергеева Г.А.* 1988. Даргинцы // НМ. С. 151.
- Сиротенко В.Т.* 1975. История международных отношений в Европе во второй половине IV — начале VI в. Пермь: ПГУ.
- СИЭ 1966. Маробод. Т. 9. С. 123.
- СИЭ 1967. Арминий. Т. 1. С. 746.
- СИЭ 1969а. Саксы. Т. 12. С. 478–480.
- СИЭ 1969б. Саксонская правда. Т. 12. С. 475.
- Скальчик П.* 1991. Понятие «политическая система» в западной социальной антропологии // СЭ. № 3. С. 144–146.
- Скрынникова Т.Д.* 1997. Харизма и власть в эпоху Чингисхана. М.: Восточная литература.
- Смирнов А.Р.* 1966. Скифы. М.: Наука.
- Стеблин-Каменский М.И.* 1971. Мир саги. Л.: Наука.
- Тантлевский И.Р.* 2004. История Израиля и Иудеи в эпоху Первого Храма. Первая половина I тысячелетия до н. э. // ИДВ. С. 421–485.
- Тевено Э.* 2002. История галлов: пер. с фр. М.: Весь мир.
- Тиханова М.Ф.* 1958. Готы в Причерноморских степях // Очерки истории СССР III–IX вв. / ред. Б.А. Рыбаков. М.: АН СССР.
- Тиханова М.Ф.* 1963. Готы // СИЭ. Т. 4. С. 667–668.
- Тишков В.А.* 1988. Гуроны // НМ. С. 148.
- Токарев С.А.* 1980. Ранние формы религии. М.: Политиздат.
- Токарев С.А., Толстов С.П.* (ред.). 1956. Народы Австралии и Океании. М.: Изд-во АН СССР.
- Тумаркин Д.Д.* 1964. Вторжение колонизаторов в «край вечной весны». М.: Наука.
- Тумаркин Д.Д.* 1971. Гавайский народ и американские колонизаторы. 1820–1865. М.: Наука.
- Удальцова З.В.* 1967. Остготы // СИЭ. Т. 10. С. 654.
- Файрсервис В.* 1986. К вопросу о происхождении Хараппской цивилизации // Древние цивилизации Востока. Ташкент: ФАН. С. 188–199.

- Федоров Г.В., Полевой Л.Л.* 1984. «Царства» Бурбисты и Децебала: союзы племен или государства? // ВДИ. № 7. С. 58–80.
- Фентон У.Н.* 1978. Ирокезы в истории: пер. с англ. // Североамериканские индейцы / ред. Ю.П. Аверкиева. М.: Прогресс. С.109–156.
- Филатов И.* 1965. Исландия // СИЭ. Т. 6. С. 341–348.
- Филип Я.* 1961. Кельтская цивилизация и ее наследие: пер. с чеш. Прага.
- Французов С.А.* 2000. Общество Райбуна // АПЦ. С. 302–312.
- Фролов Э.Д.* 1986. Рождение греческого полиса // Становление и развитие раннеклассовых обществ (город и государство) / ред. Г.Л. Курбатов, Э.Д. Фролов, И.Я. Фроянов. Л.: ЛГУ. С. 8–99.
- Фроянов И.Я.* 1999. Киевская Русь: главные черты социально-экономического строя. СПб.: СПбГУ.
- Хазанов А.М.* 1975. Социальная история скифов. М.: Наука.
- Хазанов А.М.* 2006. Кочевники евразийских степей в исторической ретроспективе // РГАА. С. 468–489.
- Хазанов А.М.* 2008. Кочевники и внешний мир. 4-е изд., доп. СПб.: Филол. фак-т СПбГУ.
- Хизриева Г.А.* 2002. Формирование исландской этнокультурной общности в эпоху Средневековья // Природа и самоорганизация общества / ред. Э.С. Кульпин. М.: Московский лицей. С. 78–92.
- Хорошкевич А.Л.* 1966. Образование единого Российского государства // ИДВНД. С. 105–141.
- Хьюльмарссон Й.Р.* 2003. История Исландии: пер. с англ. М.: Весь мир.
- Шинаков Е.А.* 2002. Образование Древнерусского государства: сравнительно-исторический аспект. Брянск: БГУ.
- Шкунаев С.В.* 1988. Кельты в Западной Европе в V–I вв. до н. э. // История Европы / отв. ред. Е.С. Голубцова. М.: Наука. Т. 1: Древняя Европа. С. 492–503.
- Шкунаев С.В.* 1989. Община и общество западных кельтов. М.: Наука.
- Шкунаев С.В.* 1990. Раннеирландская традиция и языческое прошлое: проблемы и перспективы изучения // ВДИ. № 3. С. 34–48.
- Шнирельман В.А.* 1980. Происхождение скотоводства. М.: Наука.
- Штаерман Е.М.* 1951. Древняя Галлия. Обзор послевоенной буржуазной историографии // ВДИ. № 1 (35). С. 209–215.
- Штаерман Е.М.* 1989. К проблеме возникновения государства в Риме // ВДИ. № 2. С. 76–94.
- Штырбул А.А.* 2006. Безгосударственные общества в эпоху государственности (III тыс. до н. э. — II тыс. н. э.). Омск: Изд-во Омского гос. пед. ун-та.
- Штырбул А.А.* 2007. В поисках загадочной республики. Омск.

- Щетенко А.Я.* 1979. Первобытный Индостан. Л.: Наука.
- Щукин М.Б.* 2005. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб.: Филол. фак-т СПбГУ.
- Эванс-Причард Э.Э.* 1985. Нуэры: пер. с англ. М.: Наука.
- Якобсон В.А.* 1997. Государство как социальная организация (теоретические проблемы) // Восток. № 1. С. 5–15.
- Янковская Н.Б.* 1989. Ашшур, Митанни, Аррапхэ // ИДМ. Кн. 1: Ранняя древность. С. 174–197.
- Янковская Н.Б.* 2010. Ойкумена амарнской эпохи и Крит // История и современность. № 1. С. 35–60; № 2. С. 63–85.
- Alexeev I.L., Beliaev D.D., Bondarenko D.M.* (eds.). 2004. Hierarchy and Power in the History of Civilizations. Abstracts of the 3rd International Conference (Moscow, June 18–21, 2004). Moscow: Center for Civilizational and Regional Studies.
- Ambrosino J.N.* 1995. Inter-Societal Contact and the Rise of the State: A Brief Note Work in Progress // APES. P. 54–59.
- Bargatzky T.* 1985. Person Acquisition and the Early State in Polynesia // DD. P. 290–310.
- Bargatzky T.* 1987. Upward Evolution, Suprasystemic Dominance, and the Mature State // ESD. P. 24–38.
- Beliaev D.D., Bondarenko D.M., Frantsouzoff S.A.* (eds.). 2002. Hierarchy and Power in the History of Civilizations. Moscow: IAF RAN.
- Bellwood P.* 1987. The Polynesians. Prehistory of an Island People. L.: Thames and Hudson.
- Bondarenko D.M.* 2000. “Homologous Series” of Social Evolution and Alternatives to the State in World History (An Introduction) // ASE. P. 213–219.
- Bondarenko D.M.* 2006. Homoarchy: a Principle of Culture’s Organization. The 13th–19th Centuries Benin Kingdom as a Non-State Supercomplex Society. Moscow: KomKniga.
- Bondarenko D.M., Grinin L.E., Korotayev A.V.* 2002. Alternative Pathways of Social Evolution // SEH. № 1 (1). P. 54–79.
- Bondarenko D.M., Korotayev A.V.* 2000a. Introduction // CMP. P. 5–34.
- Bondarenko D.M., Korotayev A.V.* (eds.). 2000b. CMP.
- Bondarenko D.M., Sledzevsky I.V.* (eds.) 2000. Hierarchy and Power in the History of Civilizations. International Conference (Moscow, June 15–18, 2000): Abstracts. Moscow: Center for Civilizational and Regional Studies.
- Carneiro R.L.* 1970. A Theory of the Origin of the State // Science. Vol. 169. P. 733–738.
- Carneiro R.L.* 1978. Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion // OS. P. 205–223.

- Carneiro R.L.* 1981. The Chiefdom: Precursor of the State // The Transition to Statehood in the New World / eds. G.D. Jones, R.R. Kautz. Cambridge: Cambridge University Press. P. 37–79.
- Carneiro R.L.* 2000. The Muse of History and the Science of Culture. N.Y.: Kluwer Academic / Plenum Publishers.
- Chabal P., Feinman G., Skalnik P.* 2004. Beyond States and Empires: Chiefdoms and Informal Politics // SEH. № 3 (1). P. 21–38.
- Chadwick N.* 1987. The Celts. L.: Penguin Books.
- Claessen H.J.M.* 1978. The Early State: A Structural Approach // ES. P. 533–596.
- Claessen H.J.M.* 1989. Evolutionism in Development // Vienne Contributions to Ethnology and Anthropology. Vol. 5. P. 231–247.
- Claessen H.J.M.* 1996. Ideology and the Formation of Early States: Data from Polynesia // IFES. P. 339–358.
- Claessen H.J.M.* 2000. Structural Change: Evolution and Evolutionism in Cultural Anthropology. Leiden: CNWS Press.
- Claessen H.J.M.* 2002. Was the State Inevitable? // SEH. № 1. P. 101–117.
- Claessen H.J.M.* 2004. Was the State Inevitable? // ESAA. P. 72–87.
- Claessen H.J.M.* 2006. War and State Formation — Is there a Connection? // Warfare and Society. Archaeological and Social Anthropological Perspectives / eds. T. Otto, H. Thrane, H. Vandkilde. Aarhus: Aarhus University Press. P. 217–226.
- Claessen H.J.M.* 2010. On Early States — Structure, Development, and Fall // SEH. № 9 (1). P. 3–51.
- Claessen H.J.M., Oosten J.G.* 1996. Introduction // IFES. P. 1–23.
- Claessen H.J.M., Skalnik P.* 1978a. Limits: Beginning and End of the Early State // ES. P. 619–636.
- Claessen H.J.M., Skalnik P.* 1978b. The Early State: Theories and Hypotheses // ES. P. 3–29.
- Claessen H.J.M., Skalnik P.* 1978c. The Early State: Models and Reality // ES. P. 637–650.
- Claessen H.J.M., Skalnik P.* (eds.). 1978d. ES.
- Claessen H.J.M., Skalnik P.* 1981. Ubi sumus? The Study of the State Conference in Retrospect // SS. P. 469–510.
- Claessen H.J.M., Velde P. van de.* 1987. Introduction // ESD. P. 1–23.
- Clark G., Piggott S.* 1970. Prehistoric Societies. Harmondsworth, Middlesex, UK: Penguin Books Ltd.
- Cohen R.* 1981. Evolution, Fission and Early State // SS. P. 96–112.
- Crone P.* 1989. Pre-Industrial Societies. Oxford; Cambridge: B. Blackwell.
- Crumley C.L.* 1995. Heterarchy and the Analysis of Complex Societies // HACC. P. 1–15.

Crumley C.L. 2001. Communication, Holism, and the Evolution of Sociopolitical Complexity // FLR. P. 19–33.

Davenport W. 1969. The “Hawaiian Cultural Revolution”: Some Political and Economic Considerations // AA. № 71. P. 1–20.

Diamond J. 1999. Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies. N.Y., L.: W.W. Norton & Company.

Doornbos M.R. 1994. Early State Formation and the Present: Reflections on Identity and Power // Pivot politics: Changing Cultural Identities in Early State Formation Processes / eds. M. van Bakel, R. Hagesteijn, P. van de Velde. Amsterdam: Het Spinhuis. P. 281–295.

Earle T.K. 1997. How Chiefs Come to Power: The Political Economy in Prehistory. Stanford, CA: Stanford University Press.

Earle T.K. 2000. Hawaiian Islands (AD 800–1824) // CMP. P. 73–86.

Ehrenreich R.M., Crumley C.L., Levy J.E. (eds.). 1995. Heterarchy and the Analysis of Complex Societies. Washington, DC: American Anthropological Association.

Ember C.R., Ember M. 1999. Anthropology. 9th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Inc.

Feinman G.M. 1998. Scale and Social Organization: Perspectives on the Archaic State // AS. P. 95–133.

Fortes M., Evans-Pritchard E.E. 1987/1940. Introduction // APS. P. 1–24.

Frantsuzov S.A. 2000. The Society of Raybūn // ASE. P. 258–265.

Gledhill J. 1994. Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics. L.; Chicago, IL: Pluto Press.

Gluckman M. 1960. Tribalism in Modern British Central Africa // Cahiers d’Etudes Africaines. № 1 (1). P. 55–70.

Grinin L.E. 2002. General Context of the Social Evolution at the Early State Formation. Volgograd: Uchitel.

Grinin L.E. 2003. The Early State and its Analogues // SEH. № 1. P. 131–176.

Grinin L.E. 2004a. Democracy and Early State // SEH. № 3 (2). P. 93–149.

Grinin L.E. 2004b. Early State and Democracy // ESAA. P. 419–463.

Grinin L.E. 2004c. The Early State and Its Analogues: A Comparative Analysis // ESAA. P. 88–136.

Grinin L.E. 2008a. Early State, Developed State, Mature State: Statehood Evolutionary Sequence // SEH. № 7 (1). P. 67–81.

Grinin L.E. 2008b. Early State in the Classical World: Statehood and Ancient Democracy // Hierarchy and Power in the History of Civilizations: Ancient and Medieval Cultures / eds. L.E. Gri-

nin, D.D. Beliaev, A.V. Korotayev. Moscow: URSS, KomKniga. P. 31–84.

Grinin L.E. 2009. The Pathways of Politogenesis: Early States Analogues and Models of Early States // SEH. № 8 (1). P. 92–132.

Grinin L.E., Carneiro R.L., Bondarenko D.M., Kradin N.N., Korotayev A.V. (eds.). 2004. ESAA.

Grinin L.E., Korotayev A.V. 2006. Political Development of the World System: A Formal Quantitative Analysis // History and Mathematics. Historical Dynamics and Development of Complex Societies / eds. P. Turchin, L. Grinin, V.C. de Munck, A. Korotayev. Moscow: URSS. P. 63–114.

Grinin L.E., Korotayev A.V. 2009. The Epoch of Primary Politogenesis // SEH. № 8 (1). P. 52–91.

Haas J. 2001. Nonlinear Paths of Political Centralization // FLR. P. 235–243.

Harris M. 1995. Cultural Anthropology. 4th ed. N.Y.: Addison-Wesley.

Hunter Blair P. 1966. Roman Britain and Early England 55 B.C. — A.D. 871. N.Y.; L.: W.W. Norton & Company.

Irons W. 2004. Cultural Capital, Livestock Raiding, and the Military Advantage of Traditional Pastoralists // ESAA. P. 466–475.

Janssen J.J. 1978. The Early State in Ancient Egypt // ES. P. 213–234.

Johnson A.W., Earle T.K. 2000. The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State. 2nd ed. Stanford, CA: Stanford University Press.

Johnson G. 1981. Monitoring Complex System Integration and Boundary Phenomena with Settlement Size Data // Archaeological Approaches to the Study of Complexity / ed. S.E. van der Leeuw. Amsterdam: van Giffen Instituut voor Prae-en Protohistorie. P. 144–188.

Khazanov A.M. 1978. The Early State among the Scythians // ES. P. 425–439.

Korotayev A.V., Kradin N.N., de Munck V., Lynsha V.A. 2000. Alternatives of Social Evolution: Introductory Notes // ASE. P. 12–51.

Kottak C.Ph. 1980. The Past in the Present; History, Ecology and Cultural Variation in Highland Madagascar. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Kowalewski S.A., Nicolas L., Finsten L., Feinman G.M., Blanton R.E. 1995. Regional Restructuring from Chiefdom to State in the Valley of Oaxaca // APES. P. 93–99.

Kradin N.N. 1995. The Transformation of Political Systems from Chiefdom to State: The Mongolian Example // APES. P. 136–143.

Kradin N.N., Bondarenko D.M., Barfield T.J. (eds.). 2003. *Nomadic Pathways in Social Evolution*. Moscow: Center for Civilizational and Regional Studies.

Kradin N.N., Korotayev A.V., Bondarenko D.M., de Munck V., Wason P.K. (eds.). 2000. *ASE*.

Kradin N.N., Lynsha V.A. (eds.). 1995. *APES*.

Kurtz D. 1978. *The Legitimation of Aztec State* // *ES*. P. 169–189.

Lal B.B. 1984. *Some Reflections on the Structure Remains at Kalibangan* // *Frontiers of the Indus Civilization*. New Delhi: Books and Books. P. 55–62.

Leach E.R. 1970. *Political Systems of Highland Burma*. Boston: Beacon Press.

Leeson P.T. 2007. *An-arrgh-chy: The Law and Economics of Pirate Organization*. Department of Economics. West Virginia University // URL: <http://www.peterleeson.com/An-arrgh-chy.pdf>

Lelioukhine D.N. 2000. *State and Administration in Kautilya's "Arthashastra"* // *ASE*. P. 266–272.

Lloyd P. 1981. *West African Kingdoms and the Early State: A Review of Some Recent Analyses* // *SS*. P. 223–238.

Lozny L. 1995. *The Transition to Statehood in Central Europe* // *APES*. P. 84–92.

Marcus J., Feinman G.M. 1998. *Introduction* // *AS*. P. 3–13.

Marey A.V. 2000. *The Socio-Political Structure of the Pechenegs* // *ASE*. P. 289–293.

McIntosh S.K. 1999. *Pathways to Complexity: an African Perspective* // *BC*. P. 1–30.

Mishra P., Mishra J. 2002. *Strategy of Power Sharing in Ancient India: With Special Reference to Kautilya's Arthashastra* / Paper presented at the International Conference "Hierarchy and Power in the History of Civilizations" (St. Petersburg, July 4–7).

Oosten J. 1996. *Ideology and the Development of European Kingdoms* // *IFES*. P. 225–247.

Patterson T.C. 1995. *Gender, Class and State Formation in Ancient Japan* // *APES*. P. 128–135.

Pokora T. 1978. *China* // *ES*. P. 191–212.

Possehl G.L. 1998. *Sociocultural Complexity without the State: The Indus Civilization* // *AS*. P. 261–292.

Sahlins M.D. 1972a [1958]. *Social Stratification in Polynesia*. Seattle; L.: University of Washington Press.

Sahlins M.D. 1972b. *Stone Age Economics*. N.Y.: Aldine de Gruyter.

Schaedel R. 1995. *The Temporal Variants of Proto-State Societies* // *APES*. P. 47–53.

Seaton L. 1978. *The Early State in Hawaii* // *ES*. P. 269–287.

- Service E.R.* 1975. *Origins of the State and Civilization. The Process of Cultural Evolution.* N.Y.: Norton.
- Shifferd P.A.* 1987. *Aztecs and Africans: Political Processes in Twenty-Two Early States* // ESD. P. 39–53.
- Skrynnikova T.D.* 2004. *Mongolian Nomadic Society of the Empire Period* // ESAA. P. 525–535.
- Smith M.E.* 1985. *An Aspectual Analysis of Polity Formations* // DD. P. 97–125.
- Southall A.* 2000. *On the Emergence of States* // ASE. P. 150–153.
- Spencer Ch.S.* 2000. *The Political Economy of Pristine State Formation* // ASE. P. 154–165).
- Tainter J.A.* 1990. *The Collapse of Complex Societies.* Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press.
- Trigger B.G.* 2001. *Early Civilizations: Ancient Egypt in Context.* Cairo: The American University in Cairo Press.
- Trepavlov V.V.* 1995. *The Nogay Alternative: From a State to a Chiefdom and Backwards* // APES. P. 144–151.
- Van Bakel M.* 1996. *Ideological Perspectives of the Development of Kingship in the Early States of Hawaii* // IFES. P. 329–345.
- Vorobyov D.V.* 2000. *The Iroquois (15th–18th centuries A.D.)* // CMP. P. 157–174.
- Webb M.* 1975. *The Flag Follows Trade: An Essay on the Necessary Interaction of Military and Commercial Factors in State Formation* // ACT. P. 155–210.
- Weber M.* 1947. *The Theory of Social and Economic Organization.* N.Y.: Free Press.
- Wittfogel K.A.* 1957. *Oriental Despotism.* New Haven: Yale University Press.
- Wright H.T.* 1977. *Recent Research on the Origin of the State* // ARA. Vol. 6. P. 379–397.
- Wright H.T.* 2006. *Atlas of Chiefdoms and Early States* // URL: <http://repositories.cdlib.org/imbs/socdyn/sdeas/vol1/iss4/art1/>.
- Zin'kovskaya I.V.* 2004. *The Hermanarich Kingdom: Between Barbarity and Civilization* // *Hierarchy and Power in the History of Civilizations. Abstracts of the 3rd International Conference (Moscow, 18–24 June, 2004)* / eds. I.V. Sledzevsky [et al.]. Moscow: Center for Civilizational and Regional Studies. P. 84–85.

Д.М. Бондаренко

РОДСТВЕННЫЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ФЕНОМЕН ГОСУДАРСТВА

Понятие «государство» в свете критерия «родство — территориальность»

Подход, из которого исходит автор данной статьи, предполагает, что государство — это не только определенная система политических институтов, но прежде всего — государственное общество, то есть тип общественной организации, которой такая система политических институтов адекватна. Отсюда вытекает необходимость уделять особое внимание факту выхода в таком обществе на передний план неродственных, территориальных связей — факту, который сознательно или неосознанно упускается из виду авторами многих современных определений государства вследствие широкого распространения взгляда на государство как на всего лишь специфический комплекс политических институтов¹. В то же время мы вполне допускаем, что в некоторых случаях может оказаться разумным в аналитических целях разделять два аспекта государства и, таким образом, вести речь о государстве в двух отношениях: политическом и социальном (см.: [Бондаренко 1991]). Общество в принципе — более широкое понятие. С одной стороны, оно дополняет и увязывает воедино политические характеристики с социальными (и через них — также с экономическими). С другой стороны, социальная и политическая подсистемы общества часто развиваются асинхронно, причем чаще всего² политическая система изменяется быстрее и оказывается в состоянии достичь параметров администрации государственного типа раньше, чем преимущественно территориальное деление населения, и территория страны становится основой социальной организации. Как пишут А.У. Джонсон и Т.К. Ёрл, «в то время как в вождествах управленческие функции выполняются неспециализированными региональными институтами, в государствах рост интеграции требует выполнения

задач по контролю и управлению специализированными региональными институтами. <...> Параллельно с ростом степени разработанности управленческого аппарата нарастает стратификация. Элиты теперь не связаны родством с населением, которым они управляют...» [Johnson, Earle 2000: 304].

Однако очевидно, что в доиндустриальных обществах все их подсистемы (экономическая, социальная и т. д., включая политическую) не просто взаимосвязаны, но неразрывно переплетены друг с другом. Этот факт дает дополнительные основания для общей категоризации того или иного общества, исходя из типа организации его как целого, а не из особенностей лишь политических институтов, в нем существующих. Стоит отметить, что на понимании общественных форм (включая государство), при котором учитываются не только политические, но и социально-экономические характеристики, основываются важные для развития антропологической мысли и по сей день в большей или меньшей степени влиятельные теории эволюционистов (от Г.С. Мэйна до Ф. Энгельса), ученых французской социологической (Э. Дюркгейма, М. Мосса) и американской «исторической» (в особенности Р.Г. Лоуи) школ, британских структуралистов (Э.Э. Эванса-Причарда, М. Фортеса, Л. Мэйр и др.), представителей субстантивизма в экономической антропологии, начиная с К. Поланьи (см.: [Earle 1994: 947]). На той же посылке в той или иной мере зиждутся и знаменитые концепции американских неозволюционистов (М.Д. Салинза, Э.Р. Сервиса, М. Г. Фрида, Р.Л. Карнейро, Дж. Хааса), хотя, несомненно, в конечном счете в них «все продвижение (от локальной группы [*band*] к государству. — Д.Б.) <...> определяется в категориях политической организации» [Vansina 1999: 166].

Мы не имеем ни малейших возражений против того, что ученый может использовать любое выбранное или даваемое им самим определение государства, если оно соответствует задачам конкретного исследования и употребляется последовательно на протяжении работы или ее цельной части, но в рамках общей теории понятие государства не должно редуцироваться до его политической составляющей. В то же время, например, в концепции «архаического государства», разработанной группой археологов во главе с Г. Фейнманом

и Дж. Маркус, понятие государства действительно сведено к особому типу политической организации, поскольку государство видится исключительно «как политическая или управленческая единица» [Feinman, Marcus 1998: 4]. А. Тестар в недавних монографиях [Testart 2004; 2005] пишет о необходимости подходить к государству как к «особой общественной форме» и рассматривает общества как «элементарные единицы» (*unités élémentaires*) любого антропологического анализа. Однако парадоксальным образом, действительно анализируя процесс формирования государства с таких позиций, А. Тестар определяет его, основываясь на собственной интерпретации веберовской дефиниции, центральное место в которой занимает сугубо политический фактор — право власти на легитимное применение насилия.

В противоположность подобным подходам Х.Й.М. Классен, один из создателей концепции «раннего государства», недвусмысленно подчеркивает, что государство «есть *специфический вид социальной организации*, выражающий специфический тип общественного строя в социуме» [Классен 2002: 102; 2003: 161] (выделено мной. — Д.Б.). Именно такой взгляд (который также естественным образом предполагает учет политических аспектов социальной системы) всецело совпадает со взглядом автора данной работы. Исходя из него, мы не станем утверждать (как это делали Г.С. Мэйн, Л.Г. Морган и Ф. Энгельс), что о «завершенном государстве» — государстве в полном смысле слова, то есть и в социальном, и в политическом отношении, можно говорить лишь тогда, когда территориальный принцип организации общества вытесняет родственный практически полностью. В то же время мы не разделяем и позицию Х.Й.М. Классена, согласно которому «зачаточное», но все же государство может «ассоциироваться с доминированием родственных, семейных и общинных связей в политической сфере» [Claessen 1978: 589]³. Наша позиция — скорее промежуточная между постулатами эволюционизма XIX в. и концепцией «раннего государства»⁴. Держа в уме старую идею о доминировании «территории» над «родством», с одной стороны, и принимая во внимание достижения антропологической и исторической наук XX в. (см. ниже), мы полагаем, что о государстве в полном смысле слова можно говорить в ситуации, когда

территориальные связи явно (но не абсолютно) доминируют над родственными на надлокальных уровнях общественно-политической организации. Этот порог ниже, чем установленный, в частности, Г.С. Мэйном и Л.Г. Морганом, но выше того, который считают достаточным Х.Й.М. Классен и другие представители школы «раннего государства»⁵.

По нашему мнению, «завершенное государство» соответствует только «переходному раннему государству», «в котором в административном аппарате доминировали назначаемые чиновники, где родство влияло только на некоторые второстепенные аспекты управления» [Ibid]. Что же касается государства в узком, сугубо политическом, смысле — «ограниченного», или «неполного», государства, то мы склонны рассматривать в качестве такового общество, достигшее по крайней мере уровня «типичного раннего государства» в схеме Х.Й.М. Классена и П. Скальника. Согласно им, это «вид государства, в котором родственные связи [все еще] уравновешивались территориальными <...> [но] где выдвинувшиеся не по принципу родства чиновники и обладатели титулов [уже] играли ведущую роль в администрации» [Ibid.]. Разумеется, такие категории, как «явное, но не абсолютное доминирование», выглядят недостаточно точными и, возможно, даже оставляющими слишком обширное пространство для авторского волонтаризма, в отличие, скажем, от ситуации, когда государство определяется через утверждение об отсутствии в нем родственных связей, значимых для его функционирования на надлокальных уровнях социокультурной сложности. Но такая «мягкая» категоризация в действительности отражает и фиксирует природу и сущность образования государства как явления общественной эволюции, то есть как процесса, характеризуемого постепенностью протекания.

Даже высокоразвитые негосударственные общества, такие как сложные вождества, принято считать базирующимися на родственных связях, как не территориальные, а «родственные» по самой своей сути⁶. Показательно, что, производя критическую переоценку концепции «раннего государства», один из ее создателей — П. Скальник — открыто признал, что «раннее государство в ряде конкретных случаев, но также своей теорией зачаточного (зарождающе-

гося) государства “погловило” вождество как самостоятельную категорию» ([Skalník 2002: 6]; см. также: [Skalník 2004]). Ранее на это обратил внимание автор рецензии на две первые книги о «раннем государстве» [Claessen, Skalník 1978a; 1981] М.С. Уэбб [Webb 1984: 274–275]. В отношении «зачаточного раннего государства», которое мы не можем считать государством в каком бы то ни было смысле, Х.Й.М. Классен и П. Скальник постулируют не только доминирование родственных связей, но и «ограниченное существование профессиональных [*full-time*] специалистов» в области управления обществом [Claessen 1978: 589]. Их наличие в подобных обществах — явление «редкое» [Claessen, Skalník 1978c: 23], то есть такие администраторы не образуют объективно абсолютно необходимого и потому неустраняемого ядра системы управления. Даже существование монархии не предопределяет государственный характер общества, как немонархическая форма правления необязательно свидетельствует о негосударственной природе того или иного доиндустриального общества⁷.

В данной связи имеет смысл привести замечание А. Саутхолла: «...Классен и Скальник предложили различать зачаточное, типичное и переходное ранние государства [Claessen, Skalník 1978a]. Сегментарное государство больше всего подходит под признаки зачаточного государства, но Классен вообще не считает его в том виде, в каком я его определил⁸, государством» [Southall 2000: 150]. Следовательно, в свою очередь, мы тем более не можем считать его государством. То же самое можно сказать и о «племенах-государствах», или «государствах, основанных на принципах родства» (*consanguinal states*) Л. Крадера [Krader 1968: 4], правители которых осуществляют контроль за населением, но родство продолжает оставаться базовым принципом социальной организации. Б.Г. Триггер вполне обоснованно приравнял их к зачаточному «раннему государству» Х.Й.М. Классена и П. Скальника [Trigger 1985: 48].

Еще один важный для настоящей дискуссии момент был освещен Д.Г. Андерсоном: «Как уже отмечалось мной и рядом других авторов⁹, существует огромное множество социальных и природных факторов, способствующих организационной нестабильности в вождествах, среди которых — тот

факт, что наследование власти основывалось на родстве и любое количество близких родственников вождя, таким образом, могло законно претендовать на то, чтобы занять его место, был, возможно, наиважнейшим фактором, в частности, приводившим в этих обществах к непрерывному противостоянию группировок и вооруженным столкновениям между соперничающими элитами» [Anderson 1997: 253]. Это утверждение созвучно аргументу Р. Коэна о способности государства противостоять распаду как его главной характеристике [Cohen 1981]. По нашему мнению, в позиции Р. Коэна есть большая доля преувеличения и чрезмерной однозначности (ср., например: [Adams 2001: 353–356]). Тем не менее фактологические и теоретические основания рассматривать государство как в целом более устойчивую форму социально-политической организации, нежели догосударственные сложные общества, имеются [Tainter 1990: 27]. Замена родства как базового принципа организации территориальностью и появление в прямой связи с этим специализированного профессионального административного аппарата — бюрократии¹⁰ — залог относительно большей прочности государства.

В то же время верным и надежным признаком того, что общество уже основывается на территориальных связях (то есть что оно уже представляет собой «завершенное государство»), нам видится в получении центральной властью права и реальной возможности перекраивать по своему произволу традиционные, обусловленные делением населения на родственные группы границы между занимающими территорию страны социально-политическими единицами. Если это так — если верховная власть может по своему усмотрению объединять или дробить родственные по своей сути единицы локального уровня организации общества (общины, вождества и т.п.), то, очевидно, есть основания утверждать, что, даже если последние сохранили исконную структуру и внутреннее самоуправление, они уже представляют собой всего лишь административные и налоговые единицы в более широком социуме-государстве. В такой ситуации естественно, что локальные социально-политические единицы (чаще всего это общины) управляются администраторами, либо назначаемыми, либо утверждаемыми в должности вне

них — в политическом центре регионального или/и общегосударственного уровня. Примечательно, что с переходом к государству внутренняя структура общин приобретает тенденцию к упрощению, а общинники не только облагаются разнообразными повинностями, но и зачастую получают право свободно продавать общинную землю, что, несомненно, быстро подорвало бы первоосновы социума, если бы он оставался подлинно общинным, а не государственным [Коротаев 1991: 183–184; Бондаренко, Коротаев 1999: 134; Бондаренко 2001: 236–238].

Особенно яркие примеры вышесказанного дает Ближний Восток III–II тыс. до н.э.¹¹ Утверждение и сохранение такой ситуации жизненно важно для раннего государства: если ему не удастся подчинить общину своим нуждам, наступают стагнация и упадок политической системы (как это произошло, к примеру, в XIX в. с западноафриканскими государствами Самори и Кенедугу [Tymowski 1985; 1987: 65–66]). В политиях Нового и Новейшего времени структурные несоответствия между общиной и государством, зависимое положение первой от второго совершенно очевидны (см., например: [McGlynn, Tuden 1991a: 181–272]). Обобщая, можно сказать, что в состоявшемся государстве верховная власть не развивает далее общинную социокультурную «матрицу» (модель), «а, наоборот, начинает реструктуризировать общество по своему подобию» [Беляев 2000: 195]. Безусловно, главная цель государства на пути к легитимизации — «сокращение влияния локального уровня организации на граждан» ([Kurtz 1991/1984: 162]; также см.: ([Kurtz 2008])). Если эта цель оказывается достигнутой, происходит «охват [encompassment] локальной сферы государством» [Tanabe 1996: 154].

При этом приспособление общины к нуждам государства необязательно означает конец ее развития: примерами коэволюции общинных и государственных структур могут служить, в частности, общества Северной Индии и России Средневековья и Нового времени [Алаев 2000]¹². Как правило, община разлагается только в процессе перехода общества, частью которого она является, к капитализму (см., например: [Kamen 2000: 126–137])¹³. Случаи исчезновения общины в земледельческих обществах редки; наиболее зна-

чимый из них имел место в Египте, причем уже на раннем этапе его истории, скорее всего, в Древнем царстве [Виноградов 1989: 143; Дьяконов, Якобсон 1998: 26–27]. Однако даже в этом случае «не исключено <...> что древнеегипетское крестьянство, которое, как кажется, по большей части продолжало жить в традиционных деревнях и много позже эпохи Древнего царства, могло сохранять важные аспекты общинной социальной жизни...» [Trigger 1985: 59]. К тому же «возможно, что в каком-то смысле весь Египет рассматривался как община во главе с царем, причем не соседская, а родственная...» [Дьяконов, Якобсон 1998: 27]. Несомненно, в ранних государствах бюрократия может быть развита слабо¹⁴. Кроме того, она существенно отличается по ряду параметров от бюрократии современной ([Weber 1947/1922: 333–334, 343]; также см. [Morony 1987: 9–10; Shifferd 1987: 48–49])¹⁵. Тем не менее, несмотря на сделанные оговорки, по нашему мнению, наличие или отсутствие в обществе социальной группы специализированных профессиональных администраторов, то есть бюрократии, является верным показателем его государственного или негосударственного характера¹⁶. Сами перспективы превращения политической организации общества в бюрократическую зависят не от наличия или отсутствия в нем общины, но от его общинной или необщинной сути — от того, строится сложное общество по общинной «матрице» или нет, поскольку существование бюрократии в общине не предполагает ни один ее тип. Ситуация, когда семейная, линиджная и общинная организация непосредственно влияет на форму и суть надлокальных институтов, обратилась в прямо противоположную с подъемом государства, которое стремится направлять и регулировать все сферы общественной жизни, включая такую важную, как семейные отношения ([Trigger 2003: 194, 271, 274]; см. также, например: [Schoenbrun 1999: 143–145; Crest 2002: 351–352, 353]).

Государство и идеология родства

Как особо подчеркивает М. Годелье, «родство может в любой момент быть преобразовано в идеологическую конструкцию...» [Godelier 1989: 6] (выделено нами. — Д.Б.). Сама социальная природа родства, которая позволяет объяс-

лять и считать родственниками не только тех, кто является таковыми биологически, дает возможность манипулировать родством как идеологией в различных целях. Вследствие этого «в сложных обществах <...> можно обнаружить <...> стратегии использования родства во имя сохранения или приобретения богатства и власти. Родством манипулируют во имя выгодного обращения с отношениями богатства и власти, существующими помимо и вне родства» [Ibid.: 8]. Действительно, не только «примитивные», но и «сложные социально-политические системы могут быть легитимизированы в категориях родства...» [Claessen 2000b: 150]. Например, в государстве инков осуществление манипуляций с терминологией родства было обычным, широко распространенным путем достижения самых разных политических целей [Silverblatt 1988; Zuidema 1990]. Уже в типологически догосударственных обществах идеология родства может превратиться в эффективное средство манипулирования массовым сознанием ради утверждения социального и политического неравенства. Фиктивные генеалогии местных и пришлых вождей и привлечение труда бедняков богачами под видом родственной помощи — явления, которые сразу же приходят в голову в этой связи¹⁷. Конечно, также «в большинстве ранних государств <...> всеобъемлющие идентичности [*overarching identities*] обычно выражались в терминах символического родства с божествами, королями и королевами, часто изображавшимися “отцами и матерями” своих подданных» ([Spier 2005: 120]; также см.: [Trigger 1985]). Таким образом, для подданных ранних государств было типично восприятие государства по аналогии с семьей, а суверена — по аналогии с ее главой (см., например: [Ray 1991: 205; Vansina 1994: 37–38; Tymowski 1996: 248]). Исключениями из этого правила могли являться немногочисленные в истории обширные первичные «территориальные государства», такие как Египет или Китай, в которых сакральность верховного правителя имела универсализирующий характер, будучи направлена на утверждение идеологии территориального государства путем преодоления сопротивления идеологии родства [Демидчик 2002].

Более того, не только в ранних, но нередко и в «зрелых государствах» коннотации между обществом и семьей, авто-

ритарным правителем и главой семьи осознанно эксплуатируются в целях более прочной легитимации власти. Например, так было во Франции в XVI–XVIII вв. [Crest 2002]. Королева Англии XVI в. Елизавета I отказывалась выходить замуж за кого-либо, утверждая идеологический постулат о том, что она мистически помолвлена со своим народом, а королевская пропаганда навязчиво внедряла ее образ как «Матери Страны» [Smith 1976]. В дореволюционной России патерналистский дискурс отношений между монархом и подданными, хотя и не был внедрен официально и формализован, все же культивировался в массовом сознании¹⁸ и оказывал решающее воздействие на народные представления об обязанностях и поведении идеального суверена [Лукин 2000]. Даже И.В. Сталина в индустриализованном, территориально организованном и забюрократизированном Советском Союзе пропаганда неофициально, но каждодневно провозглашала «отцом народов» (а вождя социалистической революции, когда о нем рассказывали детям, вплоть до конца советского периода истории страны называли «дедушкой Лениным»). Также и основатель современного светского турецкого государства известен под именем «Ататюрк» — «отец турок», а в Китае Сунь Ятсену посмертно (в 1940 г.) правительством был официально присвоен титул «отца нации»¹⁹. Эксплуатация идеи уподобления общества семье, а главы государства — главе семьи достаточно широко распространена в странах третьего мира с авторитарными и тоталитарными политическими режимами. К примеру, бывший президент Того Г. Эйадема в годы нахождения у власти был провозглашен «отцом нации», как и ныне экс-президент Кении Д. арап Мои [Садовская 1999: 58]. В Заире (с 1997 г. — Демократическая Республика Конго) население призывалось разучивать и петь хором песни о «брачном союзе между народом и вождем» — тогдашним главой государства Мобуту [Там же: 61]. На другой аспект проблемы процветания идеологии родства в постколониальных африканских государствах обратил внимание Й. Аббинк: «В современной африканской политической культуре бросается в глаза роль этничности и порожденных ею конструкций: культура и “фиктивное родство” превращаются в коллективную идентичность, на основе которой выдвигаются социальные и по-

литические требования и создаются общественно-политические движения» [Abbink 2000: 5].

Итак, ясно, что идея уподобления общества семье и, следовательно, его правителя — главе последней представляется естественной и самоочевидной в рамках конкретного вида мышления, и неслучайно этот образ охотно эксплуатировался уже в древних государствах Востока и Запада (см. [Нерсесянц 1985; Stevenson 1992]). Также не вызывает сомнений, что этот идеологический постулат был не полной инновацией, появившейся лишь с возникновением государства, но итогом переосмысления в новых условиях более древней, догосударственной идеологии²⁰.

Однако случаи использования идеологии родства в государствах не следует путать с примерами ситуации совершенно иного рода. Даже в очень сложных доиндустриальных обществах (не менее сложных, чем многие ранние государства) характер социумов и направления их развития определяются не «сверху» (как должно быть в государствах), а «снизу», то есть с уровня локальной общины, которая, в свою очередь, пронизана родственными связями. По нашему мнению, такие общества не могут называться государствами и, следовательно, с учетом высокого общего уровня их социокультурной сложности должны обозначаться как «альтернативы государству» (см., например: [Bondarenko 2006]). Например, в Королевстве Бенин в XIII–XIX вв.²¹ политические отношения «естественным образом» воспринимались и выражались в терминологии родства²². Духи монарших предков «распространяли» свою власть на всех подданных суверена. Однако в Бенине родство было не только идеологией; оно было гораздо большим — подлинной, «объективной» социокультурной основой этого суперсложного общества²³, стягивавшей его в «мегаобщину» — иерархию социальных и политических институтов: от большой семьи через общину²⁴ и вождество к «королевству», «матричным» элементом которой являлась родственная семейная община (см., например: [Бондаренко 1995а; 1995б; 2001; Bondarenko 2004; 2006: 64–88, 96–107]).

Целостность мегаобщины обеспечивалась в принципе теми же разнообразными механизмами, что и общины. Само существование и процветание жителей мегаобщины, по их

собственному убеждению, гарантировалось наличием династии сакрализованных верховных правителей, титулованных *оба* [Бондаренко 1995а: 176–180]. Мегаобщинные институты возвысились над общинами и вождествами, утвердили свое доминирование над ними. Но в общинном по своей глубинной сути бенинском социуме, в котором территориальные связи не имели безусловного приоритета перед родственными, даже те, кто управлял им на высшем уровне, не были профессиональными администраторами. Специфика бенинской мегаобщины заключалась в организации в ее пределах на достаточно большом пространстве сложного, «многоярусного» общества на основе в первую очередь не территориального принципа, а трансформированного принципа родства, унаследованного от гетерогенной общины, в которой большие семьи не просто соседствовали, но сохраняли родственные отношения друг с другом. Таким образом, в бенинской общине родственные связи дополнялись территориальными. Безусловно, в процессе сложения мегаобщины и после его завершения (возможно, к середине XIII в.) значение территориальных связей существенно возросло. Однако следует еще раз подчеркнуть, что, как и прежде, эти связи были «встроены» в систему родственных отношений не только в идеологической сфере, но и в реалиях социально-политической организации [Bradbury 1957: 31]. Община не просто сохранилась: она продолжала играть роль базового социально-политического института, сколько бы «уровней сложности» ни надстраивалось над ней [Bradbury 1966: 129].

Помимо Бенина XIII–XIX вв., в доколониальной Африке мегаобщиной, в частности, можно признать королевство Бамум конца XVI–XIX вв. в лесной зоне современного Камеруна — суперсложное общество, которое представляло собой результат расширения вплоть до высшего уровня линиджных принципов и форм организации: «максимальный линидж» [Tardits 1980]. Аналогично в «традиционных королевствах», располагавшихся в саваннных областях того же постколониального государства, «монархическая система ... ни в коей мере не является совершенно уникальной и единственной формой организации, но представляет собой структуру, фактически идентичную структуре линиджных групп»

[Koloss 1992: 42]. За пределами африканского континента мегаобщины (не обязательно бенинского типа, то есть основанные на родственных локальных общинах) могут быть опознаны, например, в индийских обществах конца I тыс. до н.э. — первых веков н.э. Естественно, отличаясь во многих отношениях от бенинской модели, они тем не менее характеризовались наличием главной отличительной черты мегаобщины как негосударственного типа общественной организации — интеграции суперсложного общества на общинной основе и направления их развития «снизу вверх». Так, А.М. Самозванцев [2001] описывает эти общества как пронизанные общинными порядками, несмотря на различия в конкретных формах социально-политической организации. «Принцип общинности», утверждает он, был важнейшим фактором, определявшим социальную организацию индийских политий в тот период (см.: [Лелюхин 2001; 2004]). На юге Индии подобное положение сохранялось намного дольше, до времени империи Виджаянагара — середины XIV в., когда в регионе наконец произошли «усиление централизации политической власти и как следствие — концентрация ресурсов в руках царской бюрократии» [Palat 1987: 170]. Примеры суперсложных обществ, выстроенных по общинной «матрице», дает и Юго-Восточная Азия I тыс. н.э.: таковы были Фунань и, возможно, Дваравати ([Ребрикова 1987: 159–163]; см., однако: [Mudar 1999]). Специфика мегаобщины становится особенно ясной при сравнении ее с «галактическими» государствами, исследованными в Юго-Восточной Азии С. Тамбия [Tambiah 1977; 1985]. Подобно им, мегаобщина имеет политический и ритуальный центр — столицу, являющуюся резиденцией сакрализованного правителя, — и ближний, средний и дальний «круги периферии» вокруг нее. Однако, несмотря на кажущуюся центристскость, подлинный социокультурный фокус мегаобщины — община, а не политико-ритуальный центр, как в «галактических» государствах, где «круги периферии», образуемые прежде всего локальными общинами, образно говоря, вращаются вокруг него, как планеты вокруг Солнца. Мегаобщинами, основанными на общинах с доминированием не родственных, а территориальных (соседских) связей, гражданскими мегаобщинами можно считать общества по-

лисного типа [Бондаренко 1998; 2000; 2001: 259–263; 2004; Bondarenko 2006: 92–96; Штырбул 2006: 123–135].

Таким образом, прямого соответствия между социально-политическими (переход к государству) и идеологическими (отход от идеологии родства) процессами не существует, и этот, казалось бы, очевидный факт следует признавать и принимать во внимание исследователям.

Дихотомия «родство — территория»: ложная, но значимая

Как известно, Г.С. Мэйн и Л.Г. Морган противопоставляли основанное на родстве догосударственное общество (*societas*) организованному территориально обществу государственному (*civitas*) как проникнутое якобы изначально «естественными» связями, держащемуся на связях в этом смысле искусственных. Однако уже на заре XX в. Г. Шурц, а окончательно в середине прошлого века британские структуралисты и американские боасианцы показали, что Г.С. Мэйн и Л.Г. Морган (как и позднее, следуя Л.Г. Моргану, Ф. Энгельс²⁵) постулировали оппозицию между родством и территориальностью слишком жестко²⁶ даже тогда, когда признавали наличие у феномена родства не только биологического, но и социального измерения²⁷. Они (как и ряд других антропологов середины XX в.) собрали неопровержимые доказательства важности территориальных связей в негосударственных обществах. В результате уже в 1965 г. И.М. Льюис имел все основания утверждать, что «фундаментально территориальный характер любых социальных и политических объединений, действительно, обычно воспринимается как нечто само собой разумеющееся, и [это положение] распространяется на общества с сегментарными линиджами в той же мере, что и на общества других типов» [Lewis 1965: 96]. Годом позже Э.Г. Уинтер категорично утверждал, что, хотя дихотомия между родством и территориальностью была «полезной» для науки во времена, когда вопрос о ней поставил Г.С. Мэйн, «это время прошло» [Winter 1966: 173]. Начиная примерно с того же времени археологи и антропологи пишут о территориальности даже самых «примитивных» человеческих сообществ — локальных групп неспециализированных охотников и собирателей

(например: [Campbell 1968; Peterson 1975; Cashdan 1983; Casimir, Rao 1992]). Наконец, социобиологи, основываясь главным образом на этнографических материалах по наиболее архаичным социумам, развивают тезис о том, что чувство территориальности — ощущение некой территории как своей и готовность защищать ее от вторжения чужаков — есть врожденная черта, унаследованная человеком от дочеловеческих предков [Ardrey 1966; Malmberg 1980].

В то же время историки, в особенности медиевисты, показали, что типологически не-, а по происхождению — догосударственные институты родства сохранялись и продолжали играть важную роль и в государственных обществах (например: [Bloch 1961/1939–1940: 141 ff.; Genicot 1968; Duby 1970]). С. Рейнолдс даже жаловалась в 1990 г.: хотя «все, что мы знаем о средневековом [западноевропейском] обществе, не оставляет сомнений в важности родства <...> мы (медиевисты. — Д.Б.), в прошлом зачастую акцентировали внимание на родстве в ущерб другим [социальным] связям» [Reynolds 1990: 4]. Что же касается антропологов, то к середине 1950-х гг. «полевые исследования показывали раз за разом, что на протяжении тысячелетий и во многих географических широтах родственные связи сосуществовали с докапиталистическим государством» [Murra 1980: XXI]²⁸. В итоге оказалось, что проблема родства и территории — это вопрос меры, соотношения между ними, а не наличия или отсутствия, хотя общей социоисторической тенденцией действительно является постепенное вытеснение родственных институтов территориальными на надлокальных уровнях социокультурной и политической сложности. При этом антрополог А. Тестар настаивает на исключении контроля над четко очерченной территорией из определения государства. Он справедливо отмечает, что жесткая привязка государства как совокупности подданных к определенной территории — это правовая традиция, возникшая только в Новое время и наложившая явственный отпечаток на антропологическую мысль [Testart 2005: 81–82]²⁹. Действительно, в архаических обществах власть суверена, как правило, воспринимается как власть над людьми, а не над некой частью земной поверхности (см., например: [Копыtoff 1987]). Так, в Бенине вплоть до конца его доколониальной истории иностранцем

считался не тот, кто родился или жил вне пределов политики, а человек, не признававший бенинского верховного правителя своим сувереном [Melzian 1937: 43].

Несомненно, М.Х. Фрид был предельно точен, утверждая, что государство базируется не на неродственном, а на «надродственном» (*suprakin*) фундаменте [Fried 1970/1960: 692–693].

Помимо прочего, вопрос о возникновении государства как социально-политической единицы, основанной на территориальном принципе и имеющей преимущественно территориальный характер, серьезно осложняется еще одним важным обстоятельством. С одной стороны, раннее государство безусловно — по определению — иерархично (или «гомоархично», как нам представляется более правильным называть подобные общества, см., например: [Bondarenko 2006; 2007; Bondarenko, Nemirovskiy 2007])³⁰, тогда как, с другой стороны, негосударственные гомоархические общества характеризуются именно большей ролью родственных связей по сравнению с той ролью, которую эти связи играют в гетерархических («неиерархических») обществах того же уровня социокультурной сложности [Bondarenko 2006]. Эта закономерность обнаруживается уже у приматов, в частности у рода *Macaca*, в котором «виды с более деспотическим стилем доминирования существенно более ориентированы на тесные дружественные связи и альянсы с родственными особями по сравнению с видами, обладающими более эгалитарными внутригрупповыми отношениями» [Бутовская 2002: 59]. То же показывает и сравнение гетерархических («эгалитарных») и гомоархических («неэгалитарных») обществ неспециализированных охотников-собирателей, например бушменов и аборигенов Австралии [Артемова 2002]. Этот паттерн сохраняется и в гораздо более сложных обществах, включая многие современные страны второго и третьего миров (см.: [Бондаренко 2000; Bondarenko, Korotayev 2000; 2004]). В них связь между родственной ориентацией и гомоархической социально-политической организацией намного сложнее, а родственная ориентация обычно институализирована и санкционирована обширным комплексом культурных норм, мифов, верований и традиций, которые, в свою очередь, оказывают существенное влияние

на процессы социально-политической трансформации. Таким образом, сильная родственная ориентация одновременно является и предпосылкой социокультурной и политической гомоархизации, необходимой для формирования раннего государства, и препятствием на пути к государству как преимущественно неродственной форме общественно-политической организации.

Еще один тонкий момент заключается в том, что, с одной стороны, в основе государства не могут не лежать преимущественно территориальные связи, но, с другой стороны, это вовсе не значит, что никогда не существовало основанных на них же сложных негосударственных обществ (см., например: [Березкин 1995]). Более того, наиболее сложные из числа подобных обществ, такие как союзы соседских общин — «республики» или «вольные общества» Нагорного Дагестана³¹, вполне обоснованно могут быть признаны альтернативами раннему государству, то есть должны рассматриваться как сущностно не-, а не догосударственные общества (в частности, см.: [Коротаев 1995; Bondarenko 2006; Штырбул 2006]).

Принимая во внимание все вышесказанное, мы тем не менее все же согласны с утверждением, что «наиболее фундаментальное <...> различие (между государственными и негосударственными обществами. — Д.Б.) заключается в том, что государства организованы на политических и территориальных началах, а не на началах родственных...» [Diamond 1997: 280]. Следовательно, мы также полагаем, что принцип организации общества — преимущественно родственный или территориальный — как критерий различения государственных и негосударственных социумов значим и заслуживает внимания. Что необходимо четко сознавать и постоянно помнить при использовании этого критерия — его подлинно эволюционный характер: «Деления [общества], основанные на родстве, утрачивают свою важность в пользу институциональных, политических и экономических делений *постепенно*» [Tymowski 2008: 172] (выделено нами. — Д.Б.). В данном отношении история представляет собой континуум социально-политических форм, располагающихся в типологической последовательности. В этой последовательности можно обнаружить общую динамику от большей к меньшей

значимости родственных связей по сравнению с территориальными, в итоге приведшую к тому, что «родство и другие типы предписанных (*ascriptive*) отношений перестали быть центральными организующими принципами общества» [Hallpike 1986: 1]. Таким образом, нет никаких оснований искать в истории того или иного общества момент некоего скачка — от полного (или даже почти полного) доминирования родства к абсолютному господству территориальных связей.

¹ То же самое можно сказать и о характеристиках, даваемых общественным формам, по сравнению с которыми определяется государство; например, Т.К. Ёрл прямо утверждает, что «вождества должны пониматься как политические системы» [Earle 1991: 14]. В то же время Л.Г. Моргану — *volens nolens* предшественнику всех последующих теоретиков и изначальному, пусть ныне чаще всего косвенному, источнику вдохновения для многих из них — явление, рассматриваемое нами в данной статье, виделось более фундаментальным, нежели сложение собственно политической организации государства [Morgan 1877].

² Хотя и не всегда: регион, дающий, вероятно, наиболее важные в долгосрочной исторической перспективе примеры исключения из правила, — Европа, в некоторых частях которой унилинейные родственные группы исчезли на ранних этапах истории, будучи заменены нуклеарной (малой) семьей и соседской (территориальной) общиной. Так, в Греции это произошло к началу гомеровского периода [Андреев 1976: 74–78; Roussel 1976; Фролов 1988: 79–80] (о *genos* как не роде см.: [Smith 1985: 53]), в Лации — еще до основания Рима и утверждения в нем царской власти в VIII в. до н.э. (см., например: [Дождев 2002]; здесь же см. критику взгляда на *gens* как на род). В Скандинавии унилинейные родственные группы распались к концу бронзового века после переходного в этом смысле периода доминирования линиджа и большой семьи (примерно с 2600 г. до н.э.) [Earle 1997: 25–26, 163; Anderson 1999: 14–15]. Это привело не только к сложению территориальной организации общества ранее развитого бюрократического аппарата управления им [Kristiansen 1998: 45, 46], но и в совокупности с рядом других демократизирующих общественно-политический строй инноваций, например, утверждением моногамии [Коротаев, Бондаренко 2001], внесло существенный вклад в появление «феномена Европы», «европейского чуда» — современной европейской цивилизации. А.В. Коротаев убедительно показал, что «глубокая христианизация» способствует утверждению общинной (а в перспективе и надобщинной) демократии, разрушая унилинейную родственную организацию [Korotayev 2003; 2004: 89–107, 119–137]. Мы полагаем, что и обратное утверждение может быть верным: глубокая христиани-

зация легче достижима в социальной среде, характеризующейся отсутствием или слабостью унилинейной родственной организации. Следует обратить внимание и на то, что христианство имеет глубокие корни в древнем еврейском монотеизме; ветхозаветные пророки же начали проповедовать в ситуации постепенного ослабления (хотя и не разложения) у евреев родовой организации после образования Израильского царства [Никольский 1914: 385–415; Вейнберг 1997]. Также кажется разумным предположить, что, во-первых, именно ослабление унилинейной родственной организации, а не переход к территориальному делению общества само по себе внесло вклад в рождение «европейского чуда» и, во-вторых, что территориальная организация, тем не менее, является независимой переменной. Примерами, подтверждающими оба предположения, могут служить политически демократические племенные общества Западной и Центральной Азии, Северной Африки от древности до наших дней и даже Европы Нового времени, в которых сосуществуют территориальное деление, унилинейная родственная организация, в том числе в форме рода, и не христианские (ныне преимущественно исламские) религиозные верования (см., например: [Evans-Pritchard 1949; Barth 1959; Whitaker 1968; Irons 1975]). Второе предположение также подтверждается, к примеру, сведениями о североамериканских племенных обществах с отчетливо прослеживающимися в них унилинейными родственными группами (см., например: [Morgan 1851; Lowie 1935; Dräger 1968]). Завершая одну из своих статей, Ю.Е. Березкин [2000: 264] обращается к читателю с вопросом: «Нельзя ли предположить, что именно изначальная неразвитость фратриально-родовых институтов способствовала повышению роли личности, в результате чего формирование иерархий внутри общин оказалось затруднено?» Мы уверены, что такое предположение обоснованно.

³ Нашу дискуссию с Х.Й.М. Классеном по этому вопросу см.: [Bondarenko 2008; Claessen et al. 2008: 245–246].

⁴ Ярким примером проявления разницы в подходах ранних (и не только ранних) эволюционистов и теоретиков «раннего государства» к проблеме соотношения родственных и территориальных связей в государствах могут служить их трактовки замены меровингского титула «король франков» капетингским «король Франции». Для Г.С. Мэйна ([Maine 1861: 61–63]; также см.: [Sahlins 1968: 6]) она означала трансформацию догосударственного общества в государственное, а для Х.Й.М. Классена — продвижение общества от одного типа «раннего государства» к другому: от «зачаточного» через «типичное» к «переходному» [Claessen 1985].

⁵ Помимо [Claessen 1978] см., в частности, [Claessen, Skalnik 1978c; Claessen 1984; 2005: 151–154; Claessen, Velde 1987: 4–5; Bargatzky 1987].

⁶ В частности, см.: [Earle 1997: 5; Milner 1998: 2; Kottak 2002: 242, 259, 269].

⁷ См.: [Vansina et al. 1964: 86–87; Vansina 1992: 19–21; Quigley 1995; Oosten 1996; Wrigley 1996; Wilkinson 1999; Simonse 2002; Skalnik 2002; 2007; Bondarenko 2006: 93–94]. Не вызывает никаких сомнений, что монархия — наиболее распространенная форма политического режима в доиндустриальных государственных обществах, особенно в ранних государствах или цивилизациях (см.: [Claessen 1978: 535–596; Trigger 2003: 71–91, 264]). Тем не менее образцы немонархических бюрократических режимов встречались еще в древности и Средневековье. Например, в олигархической Венеции с 1297 г. и вплоть до ее оккупации Наполеоном в 1797 г. Великий совет, состоявший из взрослых мужчин — представителей определенных семей элиты, отбирал и избирал администраторов, включая главу политики (*дожа*), среди своих членов без всякого взаимодействия с народом. По сути, с точки зрения общества, в целом это было назначение узким кругом лиц, которому назначенцы и были подотчетны (см., например: [Romano 1987; Zannini 1993]). Тенденция к постепенному превращению в олигархическое бюрократическое государство (при сохранении формального правового равенства всех граждан) отчетливо проявлялась и в Новгородской республике, пока не была прервана на очень поздней стадии или вообще после своей полной реализации вследствие включения Новгорода в состав Московского царства в 1478 г. [Бернадский 1961]. Подчинение Новгорода Москве было предопределено его поражением в битве на р. Шелонь семью годами ранее; примечательно, что именно «вырождение на протяжении XV в. феодальной демократии Новгорода в откровенную олигархию привело к тому, что городские низы не поддержали боярское правительство. Это и обусловило поражение республики» [Хорошкевич 1992: 453–454]. В ганзейском городе Росток в конце XV — начале XVI в. «патрициат был не только экономически самой могущественной группировкой городского населения». В это время «он сосредоточил в своих руках также всю полноту политической власти, причем в рассматриваемый период усилился олигархический характер городского управления. Право заседать в городском совете узурпировалось ограниченным кругом патрицианских семейств...» [Подаляк 1988: 131]. Общественно-политический строй многих других суверенных городов позднесредневековой Северной и Южной Европы, чье процветание обеспечивалось морской торговлей, в конце концов обрел те же черты [Schildhauer et al. 1985; Brady 1991; Shaw 2001]. Таким образом, отсутствие монархии не означает априори ни отсутствия государства, ни его демократического характера.

⁸ См.: [Southall 1956; 1988; 1991; 1999].

⁹ См., например: [Webb 1975; Peebles, Kus 1977; Wright 1977; Carneiro 1981; Smith 1985; Spencer 1987; Earle 1991; Anderson 1994; 1996].

¹⁰ Например, [Diamond 1997: 281; Bondarenko 2006: 64]. При отношении к государству как типу общества, а не только как к форме политической организации именно неразрывная сущностная связь меж-

ду переходом к преимущественно территориальной (надродственной) социальной организации и появлением бюрократии не позволяет нам принять идею «небюрократического государства» [Vliet 1987; 2005; 2008; Testart 2004; Гринин 2006; 2007]. Прочно вставшая на ноги бюрократия может быть необходима для управления только территориально-организованными обществами, в то время как отнюдь не каждое подобное общество действительно нуждается в бюрократическом аппарате управления и имеет его. По нашему же мнению, как уже отмечалось, лишь при наличии в обществе обоих феноменов о нем можно говорить как о «завершенном государстве», государстве в полном смысле слова. Становление бюрократии может начаться (и чаще всего начинается) до перехода социума к территориальной организации, но если зачаточная бюрократия имеет перспективы полного сложения, она добивается перехода общества на преимущественно территориальный принцип организации во имя достижения своих собственных политических и экономических целей.

¹¹ Помимо многочисленных публикаций, посвященных отдельным обществам, см. в общих и сравнительных исследованиях, например: [Бутинов 1967; Зак 1975: 242–265; Maisels 1987: 345–346; 1990: 154–161, 252–264; Илюшечкин 1990: 160–162; Дьяконов, Якобсон 1998; Baines, Yoffee 1998: 225–227].

¹² Разумеется, сосуществование общины и государства — также одна из наиболее характерных и важных черт социально-политической организации многих современных постколониальных стран, в особенности африканских. Однако такие примеры не имеют отношения к проблематике данной статьи, поскольку государство, по крайней мере в своей нынешней форме, появилось там не в результате протекания внутренних процессов, а вследствие навязывания и внедрения его извне в XIX–XX вв. То есть подобные случаи демонстрируют примеры именно сосуществования, а не органичной коэволюции общины и государства.

¹³ Тогда же разрушаются и архаические институты родства [Parsons 1960; 1966].

¹⁴ Это обстоятельство многократно отмечалось исследователями, в том числе в 2000-е гг., см., например: [Johnson, Earle 2000: 248; Claessen 2003: 162; 2008: 12–13; Крадин 2004: 179; Chabal et al. 2004: 28; Christian 2004: 273–274; Гринин, Коротаев 2009: 200].

¹⁵ Притом что существует много поразительных совпадений между современной западной и древней китайской бюрократической машинами, на что обратил внимание создатель «теории бюрократии» М. Вебер (см.: [Крил 2001/1970: 13–17]).

¹⁶ См.: [Bondarenko 2006: 25–30]; также см., например: [Flannery 1972: 403; Cohen 1978a; 1978b: 36; Britan, Cohen 1983; Haas 1995: 18; Johnson, Earle 2000: 35; Spencer 2003: 11185; Spencer, Redmond 2004: 173; Llobera 2007: 110–111; Claessen 2008: 12–13; Kradin 2008: 115–118].

¹⁷ См, например: [Аверкиева 1970; Irons 1975; Barth 1987; Hedeager 1992: 153–155; Scarry 1996: 35, 57; Colarusso 1997; Robertshaw 1999: 124–127; Bulbeck, Prasetyo 2000: 133–134; Claessen 2000a; Булатова 2003: 218; Дамдынчап 2006: 14, 18; Wolf 1966].

¹⁸ Достаточно вспомнить такие устойчивые выражения, как «царь-батюшка» и «царица-матушка».

¹⁹ За информацию о Сунь Ятсене автор признателен В.Ц. Головачеву.

²⁰ Это догосударственное наследие особенно ощутимо в политической философии Конфуция, в которой государство уподоблено клану, а суверен — его главе (см., например: [Переломов 1993; Васильев 1985: 165–172]). Примечательно, что идеи Конфуция имели глубокие корни в архаических народных религиозных верованиях [Baum 2004]. В первую очередь это был культ предков, прослеживаемый в Китае со времени культуры Луншань, то есть с III тыс. до н.э. [Степугина 2004: 379].

²¹ Ныне его земли составляют юго-западную часть Федеративной Республики Нигерия, и, следовательно, доколониальный Бенин исторически не имеет ничего общего, кроме имени, с находящимся западнее современным государством.

²² Что вообще типично для так называемых «традиционных» африканских обществ, независимо от того, классифицируются они учеными как государства или нет (см.: [Diop 1958–1959: 16; Armstrong 1960: 38]; также см., например, [Kaberry 1959: 373; Tardits 1980: 753–754; Tymowski 1985: 187–188; Ray 1991: 205; Skalník 1996: 92]).

²³ То есть превосходящего по уровню структурной сложности составное вождество [Bondarenko 2006: 24–25, 54–63, 89–107].

²⁴ В Бенине община, как правило, состояла более чем из одной большой семьи.

²⁵ В марксистской теории переход от родственных связей к территориальным начал рассматриваться как сущностно важная предпосылка сложения общественных классов, в отсутствие которых появление государства провозглашалось невозможным, так как государство виделось политической организацией, предназначенной для обеспечения доминирования в обществе эксплуататорских классов. В частности, Ф. Энгельс писал: «Так как государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов; так как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих классов, то оно по общему правилу является государством самого могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса» [Энгельс 1985/1884: 198–199]. Наиболее жестко этот постулат был сформулирован В.И. Лениным: «Государство является там и тогда, где и когда появляется деление общества на классы» [Ленин 1974/1917: 67].

²⁶ Ср.: [Maine 1861; 1875; Morgan 1877; Энгельс 1985/1884с: Schurtz 1902; Evans-Pritchard 1940: 198 ff.; 1951; Fortes, Evans-Pritchard 1987/1940: XIV–XX, 6–7, 10–11; Lowie 1927; 1948: 10–12, 317–318; Brown 1951; Schapera 1956; Kaberry 1957; Middleton, Tait 1958: 5; Mair 1965: 99–100; 1970/1962: 11–16]; также см.: [Balandier 1967: Ch. 3; McGlynn, Tuden 1991b: 5–10; Bargatzky 1993: 267–269]. Недавнюю критику попыток современных эволюционистов посмотреть на процесс нарастания социокультурной сложности (включая образование государства) в свете идеи необратимого движения общественной организации от «родства» к «территории» см.: [McIntosh 1999: 1–30, 166–172].

²⁷ Обзор изменений господствующих взглядов по вопросу о глубинной природе феномена родства — биологической или социальной — с середины XIX до начала XXI в. и обоснование тезиса о родстве как связанном с биологией социальном феномене см.: [Bondarenko 2006: 64–66].

²⁸ См. также: [Lewis 1965: 99–101; 1999: 47–48; Claessen 1978: 589; Claessen, Skalnik 1978b: 641; 1978с: 22; Коротаев, Оболонков 1989; Tainter 1990: 29–30].

²⁹ При этом, впрочем, не следует упускать из вида, что эта правовая традиция Нового времени коренилась в политическом и идеологическом наследии предшествующей эпохи — Средневековья: В этой связи вновь вспомним превращение мерovingского титула «король франков» в капетингский «король Франции» [Claessen 1985].

³⁰ В хорошо известном «каноническом» определении раннего государства Х.Й.М. Классена и П. Скальника нами выделены курсивом те его фрагменты, из которых явственно вытекает, что этот феномен имеет иерархическую (гомоархическую) сущность: «Раннее государство — это *централизованная социально-политическая организация* для регулирования социальных отношений в сложном стратифицированном обществе, разделенном как минимум на два основных слоя, или формирующихся общественных классов — *управляющих и управляемых, отношения между которыми характеризуются политическим доминированием первых* и данническими обязанностями последних, будучи легитимизированы общей идеологией, в основе которой лежит принцип реципрокности [Claessen, Skalnik 1978b: 640]. В разработанном совсем недавно уточненном определении раннего государства выделенные нами курсивом фрагменты определения 1978 г. практически не претерпели изменений, и, следовательно, безусловно гомоархический характер раннего государства вновь нашел полное выражение в его дефиниции [Claessen et al. 2008: 260; Claessen 2008: 13].

³¹ См., например: [Хашаев 1961; Ихтилов 1967; Шихсаидов 1975; Агларов 1988].

Аверкиева Ю.П. 1970. Индейское кочевое общество XVIII–XIX веков. М.: Наука.

Агларов М.А. 1988. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII — начале XIX в. М.: Наука.

Алаев Л.Б. 2000. Л.Б. Алаев: община в его жизни. История нескольких научных идей в документах и материалах. М.: Восточная литература.

Андреев Ю.В. 1976. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л.: ЛГУ.

Артемова О.Ю. 2002. Начальные стадии политогенеза // ЦМП. С. 65–83.

Беляев Д.Д. 2000. Раннее государство у майя классического периода: эпиграфические и археологические данные // АПЦ. С. 186–196.

Березкин Ю.Е. 1995. Модели среднемасштабного общества: Америка и древнейший Ближний Восток // АПРГ. С. 94–104.

Березкин Ю.Е. 2000. Еще раз о горизонтальных и вертикальных связях в структуре среднемасштабных обществ // АПЦ. С. 259–264.

Бернадский В.Н. 1961. Новгород и Новгородская земля в XV в. М.; Л.: Наука.

Бондаренко Д.М. 1991. Возникновение классов и государства и некоторые особенности их функционирования в докапиталистических обществах // Концепции общественного прогресса. Точка зрения африканистов / ред. К.М. Труевцев. М.: Институт Африки АН СССР. С. 141–165.

Бондаренко Д.М. 1995а. Бенин накануне первых контактов с европейцами: человек, общество, власть. М.: Институт Африки РАН.

Бондаренко Д.М. 1995б. Мегаобщина как вариант структуры и типа социума: доколониальный Бенин // АПРГ. С. 139–150.

Бондаренко Д.М. 1998. Многолинейность социальной эволюции и альтернативы государству // Восток. № 1. С. 195–202.

Бондаренко Д.М. 2000. «Гомологические ряды» социальной эволюции и альтернативы государству в мировой истории // АПЦ. С. 198–206.

Бондаренко Д.М. 2001. Доимперский Бенин: формирование и эволюция системы социально-политических институтов. М.: Институт Африки РАН.

Бондаренко Д.М. 2004. Социально-политическая эволюция: от равноположенности типов общины к альтернативности форм надобщинной организации // Alaica. Сборник научных трудов российских востоковедов, подготовленный к 70-летию юбилею профессора, доктора исторических наук Л.Б. Алаева / ред. О.Е. Непомнин. М.: Восточная литература. С. 32–53.

Бондаренко Д.М., Коротяев А.В. 1999. Политогенез, «гомоло-

гические ряды» и нелинейные модели социальной эволюции (К кросскультурному тестированию некоторых политантропологических гипотез) // ОНС. Вып. 5. С. 128–139.

Булатова А.Г. 2003. Рутульцы в XIX — начале XX в. (историко-этнографическое исследование). М.: ИЭА РАН.

Бутинов Н.А. 1967. Этнографические материалы и их роль в изучении общины древнего мира // ОСО. С. 168–191.

Бутовская М.Л. 2002. Биосоциальные предпосылки социально-политической альтернативности // ЦМП. С. 39–64.

Васильев Л.С. 1985. Политическая и правовая мысль древнего Китая // История политических и правовых учений (Древний мир) / ред. В.С. Нерсисянц. М.: Наука, 1985. С. 156–208.

Вейнберг И.П. 1997. Палестина в первой половине I тысячелетия до у.э. // ИВ. С. 351–369.

Виноградов И.В. 1989. Раннее и Древнее царства Египта // ИДМ. Т. I. С. 140–160.

Гринин Л.Е. 2006. Раннее государство и демократия // РГАА. С. 337–386.

Гринин Л.Е. 2007. Государство и исторический процесс. Т. II: Эволюция государства: от раннего государства к зрелому. М.: Ком-Книга.

Гринин Л.Е., Кортаев А.В. 2009. Социальная макроэволюция: Генезис и трансформации Мир-Системы. М.: Либроком.

Дамдынчип В.М. 2006. Роль обычного права в развитии тувинского общества (вторая половина XIX — первая половина XX в.): автореф. дис. ... к.и.н. Абакан: Хакасский гос. ун-т.

Демидчик А.Е. 2002. Примечательная особенность идеологии древнейших территориальных государств // История и культура Востока Азии / ред. С.В. Алкин. Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН. Т. I. С. 76–79.

Дождев Д.В. 2002. Рим (VIII–II вв. до н.э.) // ЦМП. С. 275–305.

Дьяконов И.М., Якобсон В.А. 1998. Гражданское общество в древности // ВДИ. № 1. С. 22–30.

Зак С.Д. 1975. Методологические проблемы изучения сельской поземельной общины // Социальная организация народов Азии и Африки / ред. Д.А. Ольдерогге, С. А. Маретина. М.: Наука. С. 233–311.

Илюшечкин В.П. 1990. Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах. М.: Наука.

Ихлов М.М. 1967. Народности лезгинской группы. Этнографическое исследование прошлого и настоящего лезгин, табасаранцев, рутулов, цахуров, агулов. Махачкала: ИИЯЛ.

Кортаев А.В. 1991. Некоторые экономические предпосылки классовобразования и политогенеза // АО. Т. I. С. 136–191.

Кортаев А.В. 1995. Горы и демократия: к постановке проблемы // Восток. № 3. С. 18–26.

Кортаев А.В., Бондаренко Д.М. 2001. Полигиния и демократия: кросс-культурное исследование // АР. Вып. 7. С. 173–186.

Кортаев А.В., Оболюков А.А. 1989. Родовая организация в социально-экономической структуре классовых обществ // СЭ. № 2. С. 36–45.

Крадин Н.Н. 2004. Политическая антропология. М.: Логос.

Крил Х.Г. 2001/1970. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу. СПб.: Евразия.

Лелюхин Д.Н. 2001. Концепция идеального царства в «Артахаштре» Каутильи и проблема структуры древнеиндийского государства // ГИО. С. 9–148.

Лелюхин Д.Н. 2004 Проблема формирования социально-политической структуры раннего общества и государства по сведениям эпиграфики. Непал периода Личчави // ГДВ. С. 319–341.

Ленин В.И. 1974/1917. Государство и революция // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М.: Политическая литература. Т. XXXIII. С. 1–120.

Лукин П.В. 2000. Народные представления о государственной власти в России XVII века. М.: Наука.

Нерсесянц В.С. (ред.). 1985. История политических и правовых учений (Древний мир). М.: Наука.

Никольский Н.М. (ред.). 1914. История еврейского народа. Т. I: Древнейшая эпоха еврейской истории. М.: Мир.

Переломов Л.С. 1993. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М.: Наука.

Подаляк Н.Г. 1988. Изменения в социальной структуре Ростака в конце XV — первой трети XVI в. // Классы и сословия средневекового общества / ред. З.В. Удальцова. М.: МГУ. С. 127–133.

Ребрикова Н.В. 1987. Государство, община, класс в буддийских обществах Центрального Индокитая (V–XV вв.) // Государство в докапиталистических обществах Азии / ред. Г.Ф. Ким, К.З. Ашрафян. М.: Наука. С. 158–180.

Садовская Л.М. 1999. Политическая культура африканского лидера (харизма, вождизм) // Африка: особенности политической культуры / ред. Н.Д. Косухин. М.: Ин-т Африки РАН. С. 56–71.

Самозванцев А.М. 2001. Социально-правовая организация индийского общества в конце I тыс. до н.э. — первой половине I тыс. н.э. // ГИО. С. 259–292.

Степугина Т.В. 2004. Государство и общество в древнем Китае // ГДВ. С. 375–448.

Фролов Э.Д. 1988. Рождение греческого полиса. Л.: ЛГУ.

Хашаев Х.-М. 1961. Общественный строй Дагестана в XIX в. М.: Наука.

Хорошкевич А.Л. 1992. Русь и Восточная Европа в XIII–XV вв. // История Европы. Т. II: Средневековая Европа / ред. Е.В. Гутнова, З.В. Удальцова. М.: Наука. С. 430–463.

Шихсаидов А.Р. 1975. Дагестан в X–XIV вв. Опыт социально-экономической характеристики. Махачкала: Дагестанское книжное изд-во.

Штырбул А.А. 2006. Безгосударственные общества в эпоху государственности (III тысячелетие до н.э. — II тысячелетие н.э.). Омск: Омский гос. пед. ун-т.

Энгельс Ф. 1985/1884. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.: Политиздат.

Abbink J. 2000. Violence and State (Re)formation in the African Context: The General and the Particular: Paper presented at the Seminar "War and Society". Aarhus University, Denmark.

Adams R. McC. 2001. Complexity in Archaic States // JAA. Vol. 20. P. 345–360.

Anderson C.E. 1999. Formation and Resolution of Ideological Contrast in the Early History of Scandinavia: Unpublished Ph. D. dissertation. Cambridge: University of Cambridge.

Anderson D.G. 1994. The Savannah River Chiefdoms. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press.

Anderson D.G. 1996. Chiefly Cycling and Large-Scale Abandonments as Viewed from the Savannah River Basin // Scarry. P. 150–311.

Anderson D.G. 1997. The Role of Cahokia in the Evolution of South-eastern Mississippian Society // Cahokia Domination and Ideology in the Mississippian World / eds. T.R. Pauketat, T.E. Emerson. Lincoln, NE; London: University of Nebraska Press. P. 248–268.

Ardrey R. 1966. The Territorial Imperative: A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nation. N. Y.: Atheneum.

Armstrong R.G. 1960. The Development of Kingdoms in Negro Africa // Journal of the Historical Society of Nigeria. Vol. 2. P. 27–39.

Baines J., Yoffee N. 1998. Order, Legitimacy, and Wealth in Ancient Egypt and Mesopotamia // AS. P. 199–260.

Balandier G. 1967. L'Anthropologie politique. P.: Presses Universitaires de France.

Bargatzky T. 1987. Upward Evolution, Suprasystem Dominance and the Mature State // ESD. P. 24–38.

Bargatzky T. 1993. Politik, die "Arbeit der Götter" // Handbuch der Ethnologie / eds. T. Schweizer, M. Schweizer, W. Kokot. Berlin: Reimer. P. 263–283.

Barth F. 1959. Political Leadership among Swat Pathans. L.: Athlone Press.

Barth F. 1987. *Cosmologies in the Making: A Generative Approach to Cultural Variation in Inner New Guinea*. Cambridge: Cambridge University Press.

Baum R. 2004. *Ritual and Rationality: Religious Roots of the Bureaucratic State in Ancient China* // SEH. Vol. 3 (1). P. 41–68.

Bloch M. 1961/1939–1940. *Feudal Society*. Chicago: University of Chicago Press.

Bondarenko D.M. 2004. *From Local Communities to Megacommunity: Biniland in the 1st Millennium B.C. — 19th Century A.D.* // ESAA. P. 325–363.

Bondarenko D.M. 2006. *Homoarchy: A Principle of Culture's Organization. The 13th — 19th Centuries Benin Kingdom as a Non-State Supercomplex Society*. Moscow: KomKniga.

Bondarenko D.M. 2007. *Homoarchy as a Principle of Socio-Political Organization: An Introduction* // *Anthropos*. Vol. 102. P. 187–199.

Bondarenko D.M. 2008. *Kinship, Territoriality and the Early State Lower Limit* // SEH. Vol. 7 (1). P. 19–53.

Bondarenko D.M., Korotayev A.V. 2000. *Family Size and Community Organization: A Cross-Cultural Comparison* // CCR. Vol. 34. P. 152–189.

Bondarenko D.M., Korotayev A.V. 2004. *A Historical-Anthropological Look at Some Sociopolitical Problems of Second and Third World Countries* // *Community, Identity and the State. Comparing Africa, Eurasia, Latin America and the Middle East* / ed. M. Gammer. L.; N.Y.: Routledge. P. 14–41.

Bondarenko D.M., Nemirovskiy A.A. (eds.). 2007. *Alternativity in Cultural History: Heterarchy and Homoarchy as Evolutionary Trajectories. Third International Conference "Hierarchy and Power in the History of Civilizations". June 18–21 2004, Moscow. Selected Papers*. Moscow: Center for Civilizational and Regional Studies Press.

Bradbury R.E. 1957. *The Benin Kingdom and the Edo-Speaking Peoples of Southwestern Nigeria*. L.: International African Institute Press.

Bradbury R.E. 1966. *Fathers, Elders and Ghosts in Edo Religion* // AASR. P. 127–153.

Brady T.A. 1991. *Rise of Merchant Empires, 1400–1700: A European Counterpoint* // *The Political Economy of Merchant Empires: State Power and World Trade, 1350–1750* / ed. J.D. Tracy. Cambridge: Cambridge University Press. P. 117–160.

Britan G.M., Cohen R. (eds.). 1983. *Hierarchy and Society. Anthropological Perspectives on Bureaucracy*. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues Press.

Brown P. 1951. *Patterns of Authority in Africa* // *Africa*. Vol. 21. P. 262–278.

Bulbeck F.D., Prasetyo B. 2000. Two Millennia of Socio-Cultural Development in Luwu, South Sulawesi, Indonesia // *World Archaeology*. Vol. 32. P. 121–137.

Campbell J.M. 1968. Territoriality among Ancient Hunters: Interpretations from Ethnography and Nature // *Anthropological Archaeology in the Americas* / ed. B.J. Meggers. Washington, D.C.: Anthropological Society of Washington. P. 1–21.

Carneiro R.L. 1981. The Chieftdom: Precursor of the State // *The Transition to Statehood in the New World* / eds. G.D. Jones, R.R. Kautz. Cambridge etc.: Cambridge University Press. P. 37–79.

Cashdan E.A. 1983. Territoriality Among Human Foragers: Ecological Models and an Application to Four Bushman Groups // *CA*. Vol. 24. P. 47–66.

Casimir M.J., Rao A. (eds.). 1992. Mobility and Territoriality: Social and Spatial Boundaries among Foragers, Fishers, Pastoralists and Peripatetics. Oxford: Berg.

Chabal P., Feinman G., Skalnik P. 2004. Beyond States and Empires: Chieftdoms and Informal Politics // *SEH*. Vol. 3 (1). P. 22–40.

Christian D. 2004. Maps of Time: An Introduction to Big History. Berkeley etc.: University of California Press.

Claessen H.J.M. 1978. The Early State: A Structural Approach // *ES*. P. 533–596.

Claessen H.J.M. 1984. The Internal Dynamics of the Early State // *CA*. Vol. 25. P. 365–379.

Claessen H.J.M. 1985. From the Franks to France — The Evolution of a Political Organization // *DD*. P. 196–218.

Claessen H.J.M. 2000a. Ideology, Leadership and Fertility: Evaluating a Model of Polynesian Chiefship // *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkerkunde*. Vol. 156. P. 707–735.

Claessen H.J.M. 2000b. Structural Change. Evolution and Evolutionism in Cultural Anthropology. Leiden: Leiden University.

Claessen H.J.M. 2002. Was the State Inevitable? // *SEH*. Vol. 1 (1). P. 101–117.

Claessen H.J.M. 2003. Aspects of Law and Order in Early State Societies // *The Law's Beginnings* / ed. F.J.M. Feldbrugge. Leiden: Brill/Nijhoff. P. 161–179.

Claessen H.J.M. 2005. Early State Intricacies // *SEH*. Vol. 4 (2). P. 151–158.

Claessen H.J.M. 2008. Before The Early State and After: An Introduction // *SEH*. Vol. 7 (1). P. 4–18.

Claessen H.J.M., Hagesteijn R.R., Velde P. van de. 2008. Early State Today // *SEH*. Vol. 7 (1). P. 245–265.

Claessen H.J.M., Skalnik P. (eds.). 1978a. *ES*.

- Claessen H.J.M., Skalnik P.* 1978b. The Early State: Models and Reality // ES. P. 637–650.
- Claessen H.J.M., Skalnik P.* 1978c. The Early State: Theories and Hypotheses // ES. P. 3–30.
- Claessen H.J.M., Skalnik P.* 1981. SS.
- Claessen H.J.M., Velde P. van de.* 1987. Introduction // ESD. P. 1–23.
- Cohen R.* 1978a. Introduction // OS. P. 1–20.
- Cohen R.* 1978b. State Origins: A Reappraisal // ES. P. 31–75.
- Cohen R.* 1981. Evolution, Fission, and the Early State // SS. P. 87–116.
- Colarusso J.* 1997. Peoples of the Caucasus // Encyclopedia of Cultures and Daily Life / ed. T.L. Gall. Pepper Pike, OH: Eastword Publications // URL: http://www.circassianworld.com/colarusso_2.html (accessed September 1, 2005).
- Crest A. du.* 2002. Modèle familial et pouvoir monarchique (XVI^e–XVIII^e siècles). Aix-en-Provence: Presses Universitaires d’Aix-Marseille.
- Diamond J.* 1997. Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies. N.Y.; L.: Norton.
- Diop T.* 1958–1959. Forme traditionnelle de gouvernement en Afrique Noir // Presence Africaine. Vol. 23. P. 1–16.
- Dräger L.* 1968. Formen der lokalen Organisation der Zentral-Algonkin von der Zeit ihrer Entdeckung bis zur Gegenwart. Berlin: Akademie-Verlag.
- Earle T.K.* 1991. The Evolution of Chiefdoms // Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology / ed. TK. Earle. Cambridge etc.: Cambridge University Press. P. 1–15.
- Earle T.K.* 1994. Political Domination and Social Evolution // Companion Encyclopedia of Anthropology / ed. T. Ingold. L.: Routledge. P. 940–961.
- Earle T.K.* 1997. How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Evans-Pritchard E.E.* 1940. The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press.
- Evans-Pritchard E.E.* 1949. The Sanusi of Syrenaica. Oxford: Clarendon Press.
- Evans-Pritchard E.E.* 1951. Kinship and Marriage among the Nuer. Oxford: Clarendon Press.
- Feinman G.M., Marcus J.* (eds.). 1998. AS.
- Flannery K.V.* 1972. The Cultural Evolution of Civilizations // Annual Review of Ecology and Systematics. Vol. 3. P. 399–426.
- Fortes M., Evans-Pritchard E.E.* (eds.). 1987/1940. APS.

Fried M.H. 1970/1960. On the Evolution of Social Stratification and the State // *The Logic of Social Hierarchies* / eds. E.O. Laumann, P.M. Siegel, R.W. Hodge. Chicago: Markham. P. 684–695.

Genicot L. 1968. *Le XIII^e siècle européen*. Paris: Presses Universitaires de France.

Godelier M. 1989. Kinship and the Evolution of Society // *Kinship, Social Change, and Evolution. Proceedings of a Symposium Held in Honour of Walter Dostal* / eds. A. Gingrich, Siegf. Haas, Sylv. Haas, G. Paleczek. Wien: Berger und Söhne. P. 3–9.

Haas J. 1995. *The Roads to Statehood* // APES. P. 16–18.

Hallpike C.R. 1986. *The Principles of Social Evolution*. Oxford: Clarendon Press.

Hedeager L. 1992. *Iron-Age Societies: From Tribe to State in Northern Europe, 500 BC to AD 700*. Oxford; Cambridge, MA: Blackwell.

Irons W. 1975. *The Yomut Turkmen: A Study of Social Organization among a Central Asian Turkic-speaking Population*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Johnson A.W., Earle T. 2000. *The Evolution of Human Societies. From Foraging Group to Agrarian State*. 2nd ed. Stanford, CA: Stanford University Press.

Kaberry P.M. 1957. Primitive States // *British Journal of Sociology*. Vol. 8. P. 224–234.

Kaberry P.M. 1959. Traditional Politics in Nsaw // *Africa*. Vol. 29. P. 366–383.

Kamen H. 2000. *Early Modern European Society*. L.; N.Y.: Routledge.

Koloss H.-J. 1992. Kwifon and Fon in Oku. On Kingship in the Cameroon Grasslands // *KA*. P. 33–42.

Kopytoff I. (ed.). 1987. *The African Frontier. The Reproduction of Traditional African Societies*. Bloomington, IN; Indianapolis, IN: Indiana University Press.

Korotayev A.V. 2003. Unilineal Descent Organization and Deep Christianization: A Cross-Cultural Comparison // *CCR*. Vol. 37. P. 133–157.

Korotayev A.V. 2004. *World Religions and Social Evolution of the Old World Oikumene Civilizations. A Cross-Cultural Perspective*. Lewiston, MN etc.: The Edwin Mellen Press.

Kottak C.P. 2002. *Cultural Anthropology*. 9th ed. Boston etc.: McGraw-Hill.

Krader L. 1968. *Formation of the State*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Kradin N.N. 2008. Early State Theory and the Evolution of Pastoral Nomads // *SEH*. Vol. 7 (1). P. 107–130.

Kristiansen K. 1998. *Europe before History*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kurtz D.V. 1991/1984. *Strategies of Legitimation and the Aztec State // AAPB*. P. 146–165.

Kurtz D.V. 2008. *Social Boundary Networks and the Vertical Entrenchment of Government Authority in Early State Formations // SEH*. Vol. 7 (1). P. 131–153.

Lewis I.M. 1965. *Problems in the Comparative Study of Unilineal Descent // The Relevance of Models for Social Anthropology / ed. M. Banton*. L.: Tavistock. P. 87–112.

Lewis I.M. 1999. *Arguments with Ethnography. Comparative Approaches to History, Politics and Religion*. L.; New Brunswick, NJ: Athlone Press.

Llobera J.R. 2007. *An Invitation to Anthropology. The Structure, Evolution and Cultural Identity of Human Societies*. N.Y.; Oxford: Berghahn Books.

Lowie R.H. 1927. *The Origin of the State*. N.Y.: Russel and Russel.

Lowie R.H. 1935. *The Crow Indians*. N.Y.: Farrar and Rinehart.

Lowie R.H. 1948. *Social Organization*. N.Y.: Rinehart.

Maine H.S. 1861. *Ancient Law. Its Connection with the Early History of Society and Its Relation to Modern Ideas*. L.: Murray.

Maine H.S. 1875. *Lectures on the Early History of Institutions*. L.: Murray.

Mair L. 1965. *An Introduction to Social Anthropology*. Oxford: Clarendon Press.

Mair L. 1970/1962. *Primitive Government*. Baltimore, MD: Penguin Books.

Maisels C.K. 1987. *Models of Social Evolution: Trajectories from the Neolithic to the State // Man (N.S.)*. Vol. 22. P. 331–359.

Maisels C.K. 1990. *The Emergence of Civilization. From Hunting and Gathering to Agriculture, Cities, and the State in the Near East*. L.; N.Y.: Routledge.

Malmberg T. 1980. *Human Territoriality. Survey of Behavioral Territories in Man with Preliminary Analysis and Discussion of Meaning*. The Hague etc.: Mouton.

McGlynn F., Tuden A. (eds.). 1991a. *Anthropological Approaches to Political Behavior*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

McGlynn F., Tuden A. 1991b. *Introduction // AAPB*. P. 3–44.

McIntosh S.K. (ed.). 1999. *BS*.

Melzian H.J. 1937. *A Concise Dictionary of the Bini Language of Southern Nigeria*. L.: Paul, Trench, Trubner and C°.

Middleton J., Tait D. (eds.). 1958. *Tribes without Rulers*. L.: Routledge & Kegan Paul.

Milner G.R. 1998. *The Cahokia Chiefdom: The Archaeology of a Mississippian Society*. Washington, DC; L.: Smithsonian Institution Press.

Morgan L.H. 1851. *The League of the Ho-de-no-sau-nee, or Iroquois*. Rochester, N.Y.: Sage.

Morgan L.H. 1877. *Ancient Society, Or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization*. Cleveland, OH: World Publishing Company.

Morony M.G. 1987. "In the City without Watchdogs the Fox is the Overseer": Issues and Problems in the Study of Bureaucracy // *The Organization of Power Aspects of Bureaucracy in the Ancient Near East* / eds. M.G. Gibson, R.D. Biggs. Chicago: University of Chicago Press. P. 7–18.

Mudar K.M. 1999. How Many Dvaravati Kingdoms? Locational Analysis of First Millennium AD Moated Settlements in Central Thailand // *JAA*. Vol. 18. P. 1–28.

Murra J.V. 1980. *The Economic Organization of the Inca State*. Greenwich, CT: JAI Press.

Oosten J.G. 1996. Ideology and the Development of European Kingdoms // *IFES*. P. 220–241.

Palat R.A. 1987. The Vijayanagara Empire. Re-Integration of the Agrarian Order of Medieval South India, 1336–1565 // *ESD*. P. 170–186.

Parsons T. 1960. *Structure and Process in Modern Societies*. N.Y.: Free Press.

Parsons T. 1966. *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Peebles C.S., Kus S. 1977. Some Archaeological Correlates of Ranked Societies // *American Antiquity*. Vol. 42. P. 421–448.

Peterson N. 1975. Hunter-Gatherer Territoriality: The Perspective from Australia // *AA*. Vol. 77. P. 53–68.

Quigley D. 1995. The Paradoxes of Monarchy // *Anthropology Today*. Vol. 11 (5). P. 1–3.

Ray B.C. 1991. *Myth, Ritual, and Kingship in Buganda*. N.Y.; Oxford: Oxford University Press.

Reynolds S. 1990. *Kingdoms and Communities in Western Europe, 900–1300*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press.

Robertshaw P. 1999. Seeking and Keeping Power in Bunyoro-Kitara, Uganda // *BC*. P. 124–135.

Romano D. 1987. *Patricians and Popolani: The Social Foundations of the Venetian Renaissance State*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Roussel D. 1976. *Tribu et cité: Etudes sur les groupes sociaux dans les cités grecques aux époques archaïque et classique*. P.: Plon.

- Sahlins M.D.* 1968. *Tribesmen*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Scarry J.F.* (ed.). 1996. *Political Structure and Change in the Prehistoric Southeastern United States*. Gainesville etc.: University Press of Florida.
- Schapera I.* 1956. *Government and Politics in Tribal Society*. L.: Watts.
- Schildhauer J.K.F., Stark W.* 1985. *Die Hanse*. Berlin: Akademie Verlag.
- Schoenbrun D.L.* 1999. The (In)visible Roots of Bunyoro-Kitara and Buganda in the Lakes Region: AD 800–1300 // BC. P. 136–150.
- Schurtz H.* 1902. *Alterklassen und Männerbünde. Eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft*. Berlin: Reimer.
- Shaw C.* 2001. Council and Consent in Fifteenth-Century Genoa // *English Historical Review*. Vol. 116. P. 834–862.
- Shifford P.A.* 1987. Aztecs and Africans: Political Processes in Twenty-Two Early States // *ESD*. P. 39–53.
- Silverblatt I.* 1988. Imperial Dilemmas, the Politics of Kinship, and Inka Reconstructions of History // *CSSH*. Vol. 30. P. 83–102.
- Simonse S.* 2002. Kingship as a Lever versus the State as a Killer of Suspense. Some Lessons from the Study of Early Kingship on the Upper Nile: Paper presented at the Conference “Kingship. A Comparative Approach to Monarchy from History and Ethnography”. University of St. Andrews, Fife, UK.
- Skalnik P.* 1996. Ideological and Symbolic Authority: Political Culture in Nanun, Northern Ghana // *IFES*. P. 84–98.
- Skalnik P.* 2002. Chieftoms and Kingdoms in Africa: Why They are neither States nor Empires // URL: <http://asc.leidenuniv.nl/pdf/chiefdomsandkingdoms.pdf> (дата обращения: 22.10.2003).
- Skalnik P.* 2004. Chieftom: A Universal Political Formation? // *Focaal*. Vol. 43. P. 76–98.
- Skalnik P.* 2007. Kingship and Chieftaincy // *Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives* / ed. D.S. Clark. Thousand Oaks, CA: Sage. Vol. III. P. 881–883.
- Smith E.O.* 1976. *Crown and Commonwealth: A Study in the Official Elizabethan Doctrine of the Prince*. Philadelphia: American Philosophical Society.
- Smith M.E.* 1985. An Aspectual Analysis of Polity Formations // *DD*. P. 97–125.
- Smith R.C.* 1985. The Clans of Athens and the Historiography of the Archaic Period // *Classical Views*. Vol. 4. P. 77–105.
- Southall A.* 1956. *Alur Society: A Study in Processes and Types of Domination*. Cambridge: Heffer.
- Southall A.* 1988. The Segmentary State in Africa and Asia // *CSSH*. Vol. 30. P. 52–82.

- Southall A.* 1991. The Segmentary State: From the Imaginary to the Material Means of Production // ESE. P. 75–96.
- Southall A.* 1999. The Segmentary State and the Ritual Phase in Political Economy // BC. P. 31–38.
- Southall A.* 2000. On the Emergence of States // ASE. P. 150–153.
- Spencer C.S.* 1987. Rethinking the Chieftdom // Chieftdoms in the Americas / eds. R.D. Drennan, C.A. Uribe. Lanham, MD: University Press of America. P. 369–390.
- Spencer C.S.* 2003. War and Early State Formation in Oaxaca, Mexico // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Vol. 100. P. 11185–11187.
- Spencer C.S., Redmond E.M.* 2004. Primary State Formation in Mesoamerica // ARA. Vol. 33. P. 173–199.
- Spier F.* 2005. How Big History Works: Energy Flows and the Rise and Demise of Complexity // SEH. Vol. 4 (1). P. 87–135.
- Stevenson T.R.* 1992. The Ideal Benefactor and the Father Analogy in Greek and Roman Thought // Classical Quarterly. Vol. 42. P. 421–436.
- Tainter J.A.* 1990. The Collapse of Complex Societies. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tambiah S.J.* 1977. The Galactic Polity: The Structure of Traditional Kingdoms in Southeast Asia // Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 293. P. 69–97.
- Tambiah S.J.* 1985. Culture, Thought, and Social Action: An Anthropological Perspective. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Tanabe A.* 1996. Indigenous Power, Hierarchy and Dominance: State Formation in Orissa, India // IFES. P. 154–165.
- Tardits C.* 1980. Le royaume Bamoum. P.: Colin.
- Testart A.* 2004. La servitude volontaire. Vol. II. L'origine de l'Etat. P.: Editions Errance.
- Testart A.* 2005. Eléments de classification des sociétés. P.: Editions Errance.
- Trigger B.G.* 1985. Generalized Coercion and Inequality: The Basis of State Power in the Early Civilizations // DD. P. 46–61.
- Trigger B.G.* 2003. Understanding Early Civilizations: A Comparative Study. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tymowski M.* 1985. The Evolution of Primitive Political Organization from Extended Family to Early State // DD. P. 183–195.
- Tymowski M.* 1987. The Early State and After in Precolonial West Sudan. Problems of the Stability of Political Organizations and the Obstacles to Their Development // ESD. P. 54–69.
- Tymowski M.* 1996. Oral Tradition, Dynastic Legend and Legitimation of Ducal Power in the Process of the Formation of the Polish State // IFES. P. 242–255.

- Tymowski M.* 2008. State and Tribe in the History of Medieval Europe and Black Africa — a Comparative Approach // SEH. Vol. 7 (1). P. 171–197.
- Vansina J.* 1992. Kings in Tropical Africa // KA. P. 19–26.
- Vansina J.* 1994. Antécédents des royaumes Kongo et Teke // Muntu. Vol. 9. P. 7–49.
- Vansina J.* 1999. Pathways of Political Development in Equatorial Africa and Neo-evolutionary Theory // BC. P. 166–172.
- Vansina J., Mauny R., Thomas L.V.* 1964. Introductory Summary // The Historian in Tropical Africa / eds. J. Vansina, R. Mauny, L.V. Thomas. L. etc.: Oxford University Press. P. 1–103.
- Vliet E.C.L. van der.* 1987. Tyranny and Democracy. The Evolution of Politics in Ancient Greece // ESD. P. 70–90.
- Vliet E.C.L. van der.* 2005. Polis. The Problem of Statehood // SEH. Vol. 4 (2). P. 120–150.
- Vliet E.C.L. van der.* 2008. The Early State, the Polis and State Formation in Early Greece // SEH. Vol. 7 (1). P. 197–221.
- Webb M.C.* 1975. The Flag Follows the Trade: An Essay on the Necessary Interaction of Military and Commercial Factors in State Formation // ACT. P. 155–209.
- Webb M.C.* 1984. The State of the Art on State Origins? // Reviews in Anthropology. Vol. 11. P. 270–281.
- Weber M.* 1947/1922. The Theory of Social and Economic Organization. N. Y.: Oxford University Press.
- Whitaker I.* 1968. Tribal Structure and National Politics in Albania, 1910–1950 // History and Social Anthropology / ed. I.M. Lewis. P. 253–293. L.: Tavistock.
- Wilkinson T.A.H.* 1999. Early Dynastic Egypt. L.: Routledge.
- Winter E.H.* 1966. Territorial Groupings and Religion among the Iraqw // AASR. P. 155–174.
- Wolf E.R.* 1966. Kinship, Friendship, and Patron-Client Relations in Complex Societies // The Social Anthropology of Complex Societies / ed. M. Banton. L.: Tavistock. Wright, H.T. P. 1–21.
- Wright H.T.* 1977. Recent Research on the Origin of the State // ARA. Vol. 6. P. 379–397.
- Wrigley C.C.* 1996. Kingship and State: The Buganda Dynasty. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zannini A.* 1993. Burocrazia e burocrati a Venezia in eta moderna: I cittadini originari (secoli XVI–XVIII). Venezia: Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
- Zuidema R.T.* 1990. Inca Civilization in Cuzco. Austin: University of Texas Press.

Ю.Е. Березкин

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И ПОЛИТОГЕНЕЗ*

Любая наука существует для ответа на два вопроса: «Как устроено?» и «Как возникло?» Антропология и ее разделы — не исключение. Именно этим легко объяснить, почему изучением политических (или потестарно-политических) отношений занимаются представители двух разных антропологических школ, между собой почти не взаимодействующих. Хотя их можно назвать английской и американской, у обеих со временем появились последователи и в других странах

Английская школа, основанная А. Рэдклифф-Брауном, интересуется устройством и функционированием живых обществ, а ее главное «поле» всегда находилось в Африке. Этот выбор вряд ли был обусловлен только лишь географией английской колониальной империи. Африка южнее Сахары до недавних пор являлась регионом без древней истории. Процесс появления сложных политических образований, существовавших здесь ранее начала активной транссахарской торговли и контактов с Азией через порты восточного побережья, и сейчас еще слабо изучен. Археологические исследования на континенте дороги и порою небезопасны, а древние памятники, за редкими исключениями, незаметны в современном

* Статья написана в рамках проекта РФФИ № 11-06-00441а «Динамика централизации–децентрализации традиционных социально-политических систем Старого и Нового Света по археологическим, историческим и этнографическим данным». Вариант этой статьи, задуманный год назад, превратился в монографию [Березкин, в печати]. Статья, которую читатель видит перед собой, включает некоторые выводы, содержащиеся в книге в более развернутом, но менее концентрированном виде. Источники сведений для таблиц с определенными характеристиками древних обществ в части, касающейся Южной Америки и Передней Азии, содержатся в монографии. Данные по обществам Китая взяты в основном из [Деопик 2009; Лаптев 2006; Lee 2004; Liu 2003; 2005; Sage 1992]. При подготовке таблиц использованы некоторые материалы других участников проекта, а именно М.В. Палагуты (Балкано-Карпатский регион) и Д.Д. Беляева (Мезоамерика).

ландшафте. Большинство технологических достижений, которые обусловили демографический рост и усложнение социальной структуры, проникали в Африку южнее Сахары со стороны, в основном из Азии, от VI–V тыс. до н.э. и вплоть до периода европейской колонизации. Понятно, что те регионы, в которых процесс культурной эволюции шел под влиянием мощных внешних воздействий, представляют для исследователей политогенеза меньший интерес, чем те, в которых развитие происходило спонтанно. В то же время сеть надобщиных политических связей в Африке южнее Сахары отличается исключительной сложностью, а выделение в пределах этой сети отдельных единиц и их типология — одна из труднейших и вместе с тем интереснейших задач, с которыми сталкивается социальная антропология.

Американская школа, связанная прежде всего с именем Дж. Стьюарда, всегда была занята поиском ответа на вопрос «Как возникло?» Для этого опять-таки существуют свои причины. Вначале это был интерес к изучению прошлого, свойственный старой немецкой науке. Если в самой Германии он породил фантастические построения миграционистов, то, переместившись вместе с Ф. Боасом и его учениками в Новый Свет, приобрел позитивистскую взвешенность, не отказавшись от прежних целей. Когда ученики Боаса размежевались на впавших в ересь психологического редуционизма и на признававших возможность и необходимость изучения дописменной истории, основным «полем» для неэволюционистской антропологии стал Новый Свет. Работать здесь было проще, чем где-то за океаном, а памятники прошлого во многих районах были заметны на каждом шагу. Главное же, что процесс развития культуры от заселения Америки до Колумбы шел поразительно быстро и динамично, так что его изучение в диахронии немедленно принесло плоды.

Во второй половине XX в. два направления в политической антропологии, наметившиеся еще до Второй мировой войны, разошлись окончательно. Английская школа естественным образом вписалась в магистральный тренд современной антропологии — изучение общностей и процессов, существующих и протекающих на наших глазах. Стьюардовская школа почти целиком ушла из антропологии в археологию, поскольку именно эта наука взяла на себя львиную

долю работы по изучению прошлого. Антропологов, которые занимаются эволюцией политических систем и остаются при этом в границах именно этой дисциплины, остались считанные единицы. Другим антропологам результаты их исследований, как правило, безразличны — зная о трудностях изучения современных обществ, коллеги слабо верят в возможность реконструкции и классификации обществ древних и для прямого наблюдения недоступных.

Другое дело — археология. Большинство археологов, работающих в тех регионах, где процессы политогенеза протекали динамично и где системы разного типа сменяли друг друга во времени, по-прежнему относятся к Дж. Стьюарду, Г. Чайлду и Л. Уайту как к отцам-основателям. Конкретные выводы корифеев нередко подвергаются критике, но заложенное ими направление успешно развивается. В поисках типологической сетки, с которой можно было бы сопоставить известные по данным раскопок древние общества, археологи продолжают обращаться если не прямо к отцам-основателям, то к разработкам 1970–1980-х годов, когда такие понятия, как «вождество» и «раннее государство» особенно активно обсуждались [Carneiro 1970; 1987; Claessen et al. 1985; D’Altroy, Earle 1985; Drennan et al. 1987; Earle 1987; Jones, Kautz 1981; и мн. др.].

Однако археология и антропология — это все же разные дисциплины. Если последователи английской социальной антропологии работали и работают с живыми информантами, то ни один антрополог-эволюционист не наблюдал и не мог наблюдать среднemasштабных и раннегосударственных обществ, устройство которых его коллеги обсуждают десятилетиями. Речь может идти лишь об обществах, давно утративших самостоятельность и встроенных в политические системы современного мира. Основные данные, которыми пользуются антропологи, занимающиеся изучением политогенеза, почерпнуты либо из ранних источников от Античности до XVIII в., либо из археологических публикаций.

Любимое занятие американских археологов, раскапывающих памятники древних цивилизаций — сперва расклассифицировать общества по заимствованным у антропологов типологическим ячейкам, чаще всего по ступенькам «четырехчленки» стьюардovской школы, а затем подвергнуть эти

заклучения сомнению (например: [Quilter, Koons 2012]). В российской науке стьюардовская «четырёхчленка» не прижилась — отчасти потому, что для большинства обществ, существовавших на территории бывшего СССР, она подходит гораздо хуже, чем для Нового Света, отчасти из-за знакомства с ней в тот период, когда сами американские антропологи стали относиться к универсальным типам вообще и концепции вождества в частности все более критически. Для российской науки были характернее дискуссии относительно государственного или негосударственного статуса политических образований у народов Великой Степи, но к материалам археологии участники этих споров почти не обращались. Однако и в этом случае исследователи старались сопоставить весьма специфический материал с набором универсальных понятийных ячеек.

В спорах о типологии древних обществ заметны признаки «аргументации по кругу». Археологи пытаются наклеить антропологические ярлыки на свои материалы, а изучающие политогенез антропологи готовы привлекать данные археологии для создания классификаций. Это не значит, что конкретные выводы тех и других всегда необоснованны, а концептуальные предложения сомнительны. Например, почти гениальной находкой стало предложение считать общества, которые в тех или иных отношениях отличаются от классического вождества и раннего государства или о которых вообще малоизвестно, «аналогами вождеств» и «аналогами государств» [Гринин 2006; Гринин, Коротаев 2012; Grinin, Korotayev 2011]. Этим мы избавляемся от необходимости придумывать новые термины и определяем примерное место обществ в перспективе эволюции человечества. Однако сама шкала эволюции все равно остается описанной языком антропологии даже там, где материалы получены только в ходе раскопок.

Число лучше или хуже изученных археологами древних обществ, которые были устроены сложнее общины из нескольких сотен людей, но не обладали со всей очевидностью признаками развитых государств, измеряется многими сотнями, и с публикациями по большинству из них антропологи не знакомы. Но даже если бы они и были лучше начитаны в археологической литературе, само по себе это мало повлияло бы на развитие политической антропологии. Археологи

изучают не отношения между людьми, а характер оставленных людьми материальных остатков. Пытаться создать типологию, опираясь на археологические материалы и при этом используя термины, созданные антропологами, есть то же самое, что напрямую отождествлять археологические культуры с носителями определенных языков. Антропологи или лингвисты должны принимать данные археологии к сведению, но лишь как сырые источники, требующие критической оценки специалистов по другой дисциплине. Точно так же, как древняя керамика бывает прочерченной или расписной, но не индоевропейской или дравидской, монументальные платформы или курганы сами по себе не делятся на возведенные в государствах, вожествах или же в их аналогах.

Нет сомнений, что материалы археологии отражают процессы политической эволюции. Однако описывать эти процессы необходимо прежде всего в терминах самой археологии. Перевод полученных результатов на язык антропологии есть задача вторичная и, как всякая квадратура круга, до конца не решаемая.

Какие же факты, известные по материалам археологии, можно использовать в качестве свидетельств усложнения политической организации? Мы отобрали несколько категорий данных. Все они отличают культуры, существовавшие на протяжении последних тысячелетий, от более ранних, в которых подобных свидетельств нет. С какими конкретно формами социополитической организации соответствующие факты связаны, вопрос почти всегда спорный. Трудно даже утверждать, что все те общества, для которых какого-либо из подобных свидетельств нет, были устроены проще всех тех, для которых оно обнаружено. Однако в совокупности и статистически связь рассматриваемых категорий данных с усложнением социополитической организации сомнений не вызывает.

Отобранные категории таковы.

1. Крупные общественно-культовые сооружения. Любые объекты сочетают практическую направленность с символической ценностью. Тем не менее в некоторых преобладает утилитарная функция (каналы, сельскохозяйственные террасы и пр.), а в других — символическая. Определить размеры коллективов, создававших утилитарные сооружения, крайне непросто, поскольку отдельные группы строителей могли

действовать по собственной инициативе, побуждаемые практическим интересом. Но неутилитарные сооружения с высокой вероятностью предполагают наличие в обществе хоть какого-то организационного центра.

Общественные работы свидетельствуют о координации труда многих людей и соответственно о существовании больших и достаточно сплоченных коллективов. Сложность представляет оценка времени, ушедшего на создание объектов, и определение той границы, после которой объект следует считать «крупным». Универсальных критериев нет, но в пределах одной культурной традиции даже простое сравнение объемов перемещенного грунта по периодам отражает динамику изменения социальной структуры. Конкретные формы управления коллективами реконструкции не поддаются. В качестве свидетельства политической сложности особое место занимает монументальная скульптура, требующая как специальных навыков обработки камня, так и коллективных усилий по транспортировке и установке тяжелых блоков.

Добавим, что отделить культовые сооружения от административно-общественных невозможно не только по данным археологии, но порой и на основании этнографических наблюдений. Соответственно определение точного функционального назначения монументальных объектов, лишенных явного утилитарного назначения, не является критически важной задачей. Примером служат данные по индейцам коги на северо-востоке Колумбии. Коги — прямые потомки создателей доиспанской культуры тайрона, которые после ожесточенной борьбы с испанцами ушли с карибского побережья в горы Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. Традиция коги — единственная в пределах андского пояса Южной Америки и юго-востока Центральной Америки, которая не является синкретической, а прямо продолжает существовавшую до Колумба. Данные о постройках особого статуса, собранные среди коги в середине XX в., и о лицах, которые принимают решения, показывают, что эти объекты можно с одинаковым правом именовать деревенскими храмами либо административными центрами, а людей — жрецами либо главами общин [Reichel-Dolmatoff 1975: 201–202; 1985: 137–141].

2. Наличие изделий, производство или доставка которых объективно дороги, причем утилитарная полезность предме-

тов, если она вообще присутствует, не оправдывает затраченного труда. Речь идет об изделиях как из редкого сырья (из драгоценных металлов, камней редких пород, экзотических раковин), так и из доступного. В последнем случае высокая стоимость предметов определяется дефицитом специалистов, способных их изготовить. Это высококачественная керамика, орнаментированные, сложные в изготовлении ткани и прочие «предметы искусства», создание которых требует профессиональной квалификации. Сокровища в захоронениях,кладах и жертвенниках свидетельствуют о существовании лиц, облеченных властью («вождей»), поскольку ценностями распоряжаются конкретные люди — по крайней мере, де-факто.

3. Крупные поселения. Жизнь в них при отсутствии современных средств снабжения и санитарии имела очевидные неудобства по сравнению с жизнью в небольших деревнях и хуторах близ сельскохозяйственных и промысловых угодий. Эти минусы должны были перекрываться преимуществами, проистекающими из контактов значительного числа людей. Прямой же контакт многих сотен и тем более тысяч людей предполагает наличие механизмов управления коллективом. Преимущества совместного проживания могли быть связаны с влиянием двух независимых факторов. Первый — это особенности социополитической организации, требовавшей общения членов коллектива друг с другом. Второй — внешняя угроза и нужды обороны.

Понятно, что никакой определенной границы между крупными и некрупными поселениями установить невозможно — важен вектор изменений, характерный для региона. Примерно же речь идет о коллективах с числом жителей порядка тысячи человек и более. Археологические материалы прямой информации о численности коллективов не содержат, такого рода сведения вычисляют на основе данных о площади поселений и плотности застройки. Оценки обычно расходятся в два-три раза, но все же не на порядок.

4. Иерархия поселений по размеру и различия в характере сооружений на поселениях разного ранга. Предполагается, что четырехуровневая иерархия свидетельствует о возникновении государства, трехуровневая — о наличии сложных, а двухуровневая — простых вожеств. Однако невозможно

сказать наверняка, в какой степени системы поселений отражают иерархию в принятии решений в тех или иных древних обществах. Известно лишь, что в обществах, в которых государственная организация заведомо существовала, поселения резко различаются по размеру.

Если данные о системах поселений специально собирались, для изучения политогенеза этот признак часто является основным. Однако классификация поселений по размеру надежна лишь там, где их площадь различается в несколько раз, а это бывает далеко не всегда. Другая проблема — границы общности, для которой делается оценка. Так, для побережья Перу с середины II тыс. до н.э. и до середины I тыс. н.э. можно надежно выделить четыре уровня иерархии, если делить всю территорию на зоны влияния крупнейших центров, но лишь три или два уровня, если ограничиваться пределами отдельных оазисов. Влияние крупнейших центров наверняка выходило за пределы отдельных долин, но в каких конкретно формах оно выражалось, сказать невозможно.

Названные категории признаков независимы друг от друга. Встречаются очень крупные поселения, вокруг которых нет центров второго порядка (например, Шахри-Сохте в Сисстане III тыс. до н.э.) или не выявлено даже деревушек и хуторов (Алтын-депе на юге Туркмении в III тыс. до н.э.). Для III–II тыс. до н.э. в Перу нет богатых захоронений, имущественная дифференциация погребений лишь намечена, однако общественно-культовые сооружения достигают гигантских размеров. Таких примеров можно привести много.

Чтобы продемонстрировать степень вероятного разнообразия форм общественной организации, отраженного в несомненном и очевидном разнообразии археологических свидетельств, ниже помещены таблицы, в которых приведены данные по некоторым хорошо известным специалистам ранним сложным обществам.

Для большей компактности и наглядности данные эти предельно обобщены. В категорию монументальных сооружений попадают как имеющие объем порядка 1–2 тыс. куб. м, так и в тысячу раз более массивные. Сокровища — это и 200 кг золота из колумбийского могильника Малагана или невероятно сложные в изготовлении и художественно совершенные ткани культуры топара на полуострове Пара-

кас, а также относительно небольшие изделия из золота и несколько более значительные из серебра в майкопской культуре. Наличие золота все же отмечено специально, поскольку соответствующие погребальные комплексы резко выделяются на общем фоне. Что касается построек общественно-культового характера, то особо оговорены лишь те случаи, когда массивы насыпей и платформ невелики, вряд ли требуя для своего возведения более 1 тыс. человеко-часов, а также когда речь идет о домах большого размера и, вероятно, специального назначения, которые в пределах поселения не выделены планировочно, а включены в жилую застройку. На наличие каменной скульптуры указано там, где она служит главным свидетельством крупномасштабных общественных работ. Кроме абсолютных размеров, следует учитывать положение объектов в культурном контексте. «Большой Бассейн» может считаться небольшим сооружением для Мохенджо-Даро, но он бы выглядел весьма значимо среди неолитического поселка.

При всей фрагментарности и схематичности приведенные данные позволяют проследить существенные закономерности.

Начнем с территории от долины Инда до карпато-балканского ареала. Древние культуры этой зоны были исторически связаны между собой, в большей или меньшей степени восприняв результаты переднеазиатской «неолитической революции». Более того: в состав их создателей вошли прямые потомки тех мигрантов из Передней и Малой Азии, которые начали расселяться в результате демографического взрыва, обусловленного становлением производящего хозяйства в конце X — начале VIII тыс. до н.э. Тем не менее на ранних этапах политогенеза свидетельства усложнения общества в рассматриваемом регионе поразительно разнообразны.

Древнейшее сложное общество мира, создавшее монументальный центр Гёбекли-тепе, вообще не имеет аналогов. Данное общество находилось в процессе перехода от присваивающей экономики к производящей и, по-видимому, сохраняло значительную сезонную мобильность. Как предположил руководитель раскопок К. Шмидт, традиция Гёбекли-тепе оборвалась именно из-за перехода к земледелию и утраты своих позиций той элитой (Шмидт называет ее «шаманами»), которая сформировалась в совершенно иных

Таблица 1

Распространение признаков усложнения общественной организации в некоторых культурах Старого Света

Название	Датировка	Монументальные сооружения	Поселения с числом жителей 1500–1700	Поселения с числом жителей 7500 и более	Сокровища	3–4-х ранговая система поселений
ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ						
Гёбекли-тепе: верхний Евфрат	9500–8500 до н.э.	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Ашikli-хеюк: Анатолия	7500–7000 до н.э.	<i>нет</i>	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Чатал-хеюк: Анатолия	7400/7000–6200/6000 до н.э.	<i>нет</i>	есть	возможно	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Айн-Газаль: Южный Левант	7500–7000 до н.э.	<i>нет</i>	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Поздний убейд: Месопотамия	4500–4000/3800 до н.э.	<i>нет</i>	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Энеолит южного Леванта	5200–3500 до н.э.	<i>нет</i>	есть?	<i>нет</i>	есть	нет?
Телль-Брак: Верхняя Месопотамия	4200/4000–3500	есть?	есть	есть	есть?	есть?
Урук VI–IV: Нижняя Месопотамия	3600–3100/3000 до н.э.	есть	есть	есть	нет?	есть
Раннединастический Шумер	2900–2300 до н.э.	есть	есть	есть	есть	есть
ПЕРИФЕРИЯ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ						
Майкоп: Северный Кавказ	4000/3800–3000 до н.э.	есть (курганы)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	ЗОЛОТО	<i>нет</i>

Продолжение таблицы 1

Название	Датировка	Монументальные сооружения	Поселения с числом жителей 1500–1700	Поселения с числом жителей 7500 и более	Сокровища	3–4-х ранговая система поселений
Периоды 1–2 основного этапа хараппской культуры	2600–2200 до н.э.	небольшого размера, включены в застройку	есть	есть	<i>нет</i>	есть
Шахри-Сохте: Систан	3100/3000–2200 до н.э.	<i>нет</i>	есть	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Илгынлы-депе: южная Туркмения	4000–3000 до н.э.	<i>нет</i>	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Алтын-депе, период Намазга IV: южная Туркмения	3000–2250 до н.э.	небольшого размера	<i>нет</i>	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Гонур-депе: южная Туркмения	2200/2150–1800 до н.э.	есть	<i>нет?</i>	<i>нет</i>	ЗОЛОТО	<i>есть?</i>
Варна: Болгария	4400/4300–4000/3900 до н.э.	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	ЗОЛОТО	<i>нет</i>
Триполье VII–CI: Украина	3600–3200 до н.э.	<i>нет</i>	есть	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Усатово: Украина	3100–2800 до н.э.	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	есть	<i>нет</i>
КИТАЙ						
Ляншенжень: Шаньдун	2500–2000?	<i>нет</i>	есть	<i>есть?</i>	<i>есть?</i>	<i>есть?</i>

Название	Датировка	Монументальные сооружения	Поселения с числом жителей 1500–1700	Поселения с числом жителей 7500 и более	Сокровища	3–4-х ранговая система поселений
Таоси, ранний и средний периоды: Шаньси	2600–2100 до н.э.	есть	есть	есть	есть	есть?
Лянчжу: Чжэцзян	2700–2400	есть?	есть	есть?	есть	есть?
Эрлитоу: Хэнань	1800–1550 до н.э.	есть	есть	есть?	есть	есть
Янши: Хэнань	1550–1400 до н.э.	есть	есть	есть?	есть?	есть
Аньян: Хэнань	1400–1050 до н.э.	есть	есть	есть	есть	есть
Учэн: Цзянси	1700/1400–1100?	есть?	есть	есть?	есть	есть?
Саньсиндуй: Сычуань	1500–1100? до н.э.	есть	есть	есть?	есть	есть?

условиях [Schmidt 1999: 14]. Показательно, что уже в строениях верхнего слоя Гёбекли-тепе стелы становятся гораздо меньше размером [Корниенко 2011: 84; Schmidt 2001: 49]. Дальнейшая тенденция развития систем поселений в Передней Азии и более восточных районах (Иран с прилегающими к нему областями) была, видимо, одинакова, хотя на юге Туркмении она прослеживается с опозданием почти на 3 тыс. лет. Вместо обслуживавшего рассеянное население крупного ритуального центра появляются деревни с небольшими святилищами. Таковы анатолийский Ашикли-хеюк, и Песседжик-депе джейтунской культуры, и, весьма вероятно, Айн-Газаль, и другие крупные поселения юга Леванта, возникшие в конце докерамического неолита Б. На следующем этапе появляются поселения без специализированных святилищ, в которых все ритуальные действия осуществля-

Таблица 2

**Распространение признаков усложнения
общественной организации в некоторых культурах Нового Света**

Название	Датировка	Монументаль- ные сооружения	Поселения с числом жителей 1500–1700	Поселения с числом жителей 7500 и более	Сокровища	3–4-х ранговая система поселений
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ АНДЫ						
Норте-Чико: север побере- жья Перу	3000/2750– 2000 до н.э.	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Культура манчан: центральное побережье Перу	1850–900 до н.э.	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Сечин-Альто и Пампа-де-лас- Льямас — Мохеке: долина Касма, север побережья Перу	1600–1250 до н.э.	есть	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>	есть?
Кабальо-Муэр- то: долина Моче: север побережья Перу	1500–900 до н.э.	есть	<i>есть?</i>	<i>нет</i>	<i>есть?</i>	<i>нет</i>
Кунтур-Уаси, север горной области Перу	4500– 4000/3800 до н.э.	есть	<i>нет?</i>	<i>нет</i>	ЗОЛОТО	<i>нет</i>
Чавин-де- Уантар, север горной области Перу	1500/1200- 500/400 до н.э.	есть	есть	<i>нет</i>	ЗОЛОТО	<i>нет</i>
Санта-Роса: долина Чинча, юг побережья Перу	500 до н.э. — 0/200 н.э.	есть	<i>есть?</i>	<i>нет</i>	есть	<i>нет</i>

Продолжение таблицы 2

Название	Датировка	Монументальные сооружения	Поселения с числом жителей 1500–1700	Поселения с числом жителей 7500 и более	Сокровища	3–4-х ранговая система поселений
Кауачи: долина Наска, юг побережья Перу	100–350 н.э.	небольшого размера	есть	нет	есть?	есть?
Серро-Арена: долина Моче, север побережья Перу	400–200 до н.э.	нет	есть	нет	нет	нет
Гальинасо: долина Виру, север побережья Перу	100 до н.э. — 100 н.э.	есть	есть	есть	нет	есть
Уакас-де-Моче (культура мочика), север побережья Перу	200–800 н.э.	есть	есть	есть	золото	есть?
Пампа-Гранде (культура мочика), север побережья Перу	650–750 н.э.	есть	есть	есть	золото	есть
Пашаш (культура рекуай), север горного Перу	200–600 н.э.	есть	есть?	нет	есть	есть?
Пукара: юг горного Перу	200 до н.э. — 200 н.э.	есть	есть	нет?	есть	есть
Тиауанако: горная Боливия	400–1150 н.э.	есть	есть	есть	есть	есть
Уари: юг горного Перу	600–900 н.э.	есть	есть	есть	есть	есть

Продолжение таблицы 2

Название	Датировка	Монументальные сооружения	Поселения с числом жителей 1500–1700	Поселения с числом жителей 7500 и более	Сокровища	3–4-х ранговая система поселений
Ранние инки: юг горного Перу	1200–1400	<i>нет</i>	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>	есть
Чимор: север побережья Перу	950–1475 н.э.	есть	есть	есть	есть	есть
ЭКВАДОР, КОЛУМБИЯ, ПАНАМА, КОСТА-РИКА						
Реаль-Альто: побережье Эквадора	2750–2500 до н.э.	<i>нет</i>	<i>есть?</i>	<i>нет</i>		<i>нет</i>
Толита: побережье Эквадора	300 до н.э. — 200 н.э.	небольшого размера	есть	<i>нет</i>		есть
Мантеньо: побережье Эквадора	800–1500 н.э.	каменная скульптура	есть	<i>нет?</i>		<i>есть?</i>
Малагана: юг горной Колумбии	0–400 н.э.	<i>нет</i>	<i>есть?</i>	<i>нет</i>	ЗОЛОТО	<i>есть?</i>
Сан-Агустин: юг горной Колумбии	0–800 н.э.	каменная скульптура	<i>нет</i>	<i>нет</i>	золото (не в погребениях)	<i>нет?</i>
Тайрона: север горной Колумбии	1200–1550 н.э.	включены в застройку	есть	<i>нет</i>	ЗОЛОТО	есть

Окончание таблицы 2

Название	Датировка	Монументальные сооружения	Поселения с числом жителей 1500–1700	Поселения с числом жителей 7500 и более	Сокровища	3–4-х ранговая система поселений
Муиски: север горной Колумбии	1200/1550 н.э.	включены в застройку	есть	<i>нет</i>	золото	есть
Ситио-Контэ (культура коклэ): Панама	750–950 н.э.	небольшого размера	есть	<i>нет</i>	золото	есть?
Чирики: Коста-Рика	800–1400/1500 н.э.	включены в застройку	есть	есть?	золото	есть
МЕЗОАМЕРИКА						
Пасо-де-ла-Амада, тихоокеанское побережье Чьяпаса	1650/1550–1300 до н.э.	небольшого размера	есть	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
Сан-Лоренсо: низменности Табаско	1400/1300–1300 до н.э.	есть	есть	<i>нет</i>	есть	есть
Монте-Альбан II: Оахака	100 до н.э. –200 н.э.	есть	есть	есть	есть	есть

лись в жилых помещениях домохозяйств. Примером служат не только всемирно известный Чатал-хеюк, но и Илгынлы-депе в Южной Туркмении и, очень вероятно, убейдское поселение Телль-Абада в Ираке. В V тыс. до н.э. в убейдской культуре вновь появляются храмы, но первоначально они мало отличались от обычных домов и были, по-видимому, включены в жилую застройку. И лишь после «городской революции» в Нижней Месопотамии, проходившей в контексте урукской культуры, храмы приобретают монументальность. То же, причем несколькими столетиями раньше, могло иметь место в Верхней Месопотамии (Телль-Брак и Хамукар), хотя данные на этот счет пока довольно отрывочны.

По крайней мере до середины, а, может быть, до конца IV тыс. до н.э. в культурах Сирии и Месопотамии нет ни сокровищ, ни значительной дифференциации погребений. Отсутствие как сокровищ, так и монументальных общественно-культурных сооружений указывает на преобладание горизонтальных, а не вертикальных связей между социальными группами и о контроле элиты скорее над распределением продуктов потребления, нежели над циркуляцией престижных ценностей и эзотерическими знаниями [Stein 1994].

На периферии переднеазиатского ареала развитие шло по-иному. В южном Леванте в конце V или начале IV тыс. появляются сокровища (знаменитый клад ритуальных медных изделий в пещере Нахаль-Мишмар), хотя монументальной архитектуры нет. Материалы по Закавказью пока недостаточно известны. Однако, поскольку майкопская культура наверняка была создана мигрантами с юга, можно предполагать, что и в Закавказье в IV тыс. до н.э., то есть в урукское время, сокровища уже были.

На Балканах мы видим еще один вариант развития. Поселение, где жили люди, похороненные в Варненском могильнике, не найдено и, скорее всего, оказалось уничтожено прежде, чем археологи сумели его исследовать. Размеры его, соответственно, не известны, но специалисты предполагают, что речь может идти скорее о многих сотнях, чем о немногих тысячах жителей. В то же время золотые вещи из погребений Варны представляют для V тыс. до н.э. такое же уникальное явление, как и огромные каменные стелы с рельефами в святилищах Гёбекли-тепе для X–IX тыс. до н.э.

Поселения-гиганты трипольской культуры — еще одно необычное явление. Они ничем принципиально не отличаются от рядовых трипольских деревень, но размеры некоторых из них и число обитателей (до 10 тыс. чел.) соответствуют размерам и числу обитателей протогородских центров.

Наконец, специфический вариант развития демонстрируют поселения Ирана и южной Туркмении, а также долины Инда в III тыс. до н.э. В это время здесь практически нет ни сокровищ (хотя золото и серебро были известны), ни значительных памятников монументальной архитектуры, однако поселения велики по размеру. Если на Алтын-депе могло жить 7–8 тыс. чел., то на Шахри-Сохте — 20 тыс., а в каждой из четырех протоиндских столиц — вдвое или втрое больше. Города являлись центрами ремесленного производства, и самые богатые могилы на Шахри-Сохте — это погребения квалифицированных ремесленников [Piperno 1979].

Степень изученности культур Китая III–II тыс. до н.э. значительно ниже, чем культур Передней Азии и Нового Света. Тем не менее восточноазиатская специфика примерно понятна. Значительных вариаций по отдельным территориям здесь не заметно. Монументальные сооружения, сокровища (в данном случае изделия не из золота, а из нефрита и позже из бронзы) и крупные поселения появляются в Китае примерно синхронно. Монументальная архитектура представлена скорее дворцами, нежели храмами, хотя, как говорилось выше, отделить одно от другого по археологическим данным трудно. Пока наиболее ранним примером сложного общества кажется культура лянчжу (к югу от устья Янцзы), но это впечатление может быть обманчиво, поскольку лянчжу привлекает больше внимания — с ней связано большинство находок неолитических изделий из нефрита. С середины III тыс. до н.э. тенденции к росту социополитической сложности становятся заметны в разных районах бассейнов Хуанхэ и Янцзы. Со второй четверти II тыс. появляются общества, для которых надежно фиксируются все четыре отобранные нами категории археологических свидетельств, указывающих на усложнение социополитической организации.

Ход развития в Новом Свете, по крайней мере в Центральном Андах, отличался от хода развития как в Передней Азии, так и в Китае. Во второй четверти III тыс. до н.э. (если

не во второй половине IV тыс. до н.э.) на севере Перу появляются памятники монументальной общественно-культовой архитектуры объемом 10–15 тыс. куб. м. Через тысячу лет они достигают гигантских размеров — 2 млн. куб. м и более. Материальная культура этого времени очень бедна, значительных поселений тоже нет, сооружения, по-видимому, возводились усилиями десятков и редко сотен строителей, но на протяжении длительного времени. В конце II или в начале I тыс. в погребениях появляются изделия из золота, но лишь после рубежа нашей эры численность обитателей на поселениях вокруг некоторых монументальных центров начинает приближаться к 10 тыс. В Андах иногда встречаются поселения и без монументальной архитектуры, с вероятным числом жителей, достигавшим нескольких тысяч человек. Однако подобные поселения появляются лишь в кризисные периоды после распада сложных систем и в целом для региона не характерны.

Как отметил К. Маковский, один из виднейших специалистов по социальной антропологии Центральных Анд, в древних культурах Перу и Боливии население обычно скапливалось вокруг монументальных общественно-культовых объектов, тогда как на Ближнем Востоке такие объекты появлялись в городах, когда те достигали больших размеров [Маковский 1996: 78; 2008: 640]. Основой власти элиты в обществах Древней Америки являлся контроль над циркулирующей изделий и материалов, связанных с престижным потреблением, а также над эзотерическим знанием. О последнем, в частности, свидетельствуют данные об использовании сильных галлюциногенов. Изображения наркотиков, предметы, связанные с их использованием, и изображения этих предметов встречаются в культурах как II–I тыс. до н.э., так и I тыс. н.э., когда в Андах существовали очень сложные политические образования, для которых характерны системы поселений с четырьмя и даже пятью уровнями иерархии. Участниками ритуалов были представители высшей элиты. Для культур андского пояса и юго-востока Центральной Америки характерны также изображения голов-трофеев. Они тоже встречаются в обществах самого разного уровня и отражают не степень военной активности (она сильно варьировала), а особенности идеологии и ритуальные практики.

Там, где политическая организация опиралась на контроль за престижным потреблением и эзотерическим знанием, ее стабильность должна была прямо зависеть от доверия к соответствующим формам идеологии. Распад сложных политических систем в некоторых случаях трудно объяснить чем-либо иным, кроме как идеологическим кризисом. В Передней Азии нечто подобное можно предполагать только для IX тыс. до н.э. — времени исчезновения памятников круга Гёбекли-тепе и появления новой идеологии, сохранявшейся в регионе практически до распространения мировых религий [Cauvin 1994]. Деурбанизация южного Леванта в конце III тыс. до н.э. или же Ирана, южной Туркмении и долины Инда во второй половине и середине II тыс. до н.э. обусловлена совершенно другими причинами — аридизацией климата и невозможностью снабжать продовольствием и водой большие скопления людей. В Америке природные катастрофы не были редкостью, но их влияние ограничивалось значительно меньшими территориями, чем влияние кризисов, обусловленных утратой доверия к прежней элите.

Мы указали лишь на самые главные отличия в политических системах Передней Азии и Южной Америки. Чем подробнее описание, тем эти различия заметнее. Использование универсальных ярлыков для характеристики данных обществ различия затемняет и смазывает. В то же время отказ от прослеживания общих тенденций делает региональные исследования несопоставимыми и возвращает нас к до-стьюардовским временам — к историческому партикуляризму Ф. Боаса. Вряд ли следует, да и бессмысленно призывать к отказу от использования терминов типа «раннее государство» или «вождество». Дело не в терминах, а в их определении. На мой взгляд, наличие всех четырех археологически видимых признаков, свидетельствующих о значительном усложнении политической организации (монументальная архитектура, крупные поселения, сокровища, четырехуровневая иерархия поселений), достаточно для того, чтобы условно именовать соответствующие общества государствами или, точнее, достигшими государственного уровня организации. В этом смысле Мочика, Уари, Эрлитоу или Монте-Альбан государствами являются. Урук — видимо, тоже, хотя отсутствие сокровищ (возможно, пока просто не найденных)

свидетельствует об отличиях в политической организации общества юга Месопотамии IV тыс. до н.э. не только от американских обществ сопоставимого уровня сложности, но и от обществ Месопотамии III тыс. до н.э.

Сказанное не значит, что общество побережья Перу в первой половине и середине I тыс. н.э. (культура мочика) с его плохо понятной соподчиненностью центров в отдельных долинах было более развитым, чем высоко урбанизованное общество Урука, создавшее первую в мире письменность, и организовавшее далекие колонии типа Хабубы-Кабиры. Эти общества различны почти по всем пунктам. Но выбрав чисто археологические критерии и не пытаясь реконструировать конкретные формы управления (что на сегодняшний день невозможно), мы в состоянии сравнить основные направления развития регионов. Соответствующие тенденции видны на рис. 1. Коррекции могут подвергаться условно принятые параметры, например, связанные с вероятной численностью населения, принятой для того, чтобы считать поселения крупными, или же касающиеся критериев оценки для определения вещей как «сокровищ», а общественно-культурных сооружений в качестве «монументальных». Тем не менее сами критерии объективны, они могут быть выражены цифрами и не зависят от предположений и реконструкций отдельных исследователей.

Принимая подобный подход, мы признаем тот факт, что археология является «этной» наукой [Harris 1979: 53; Pike 1954: 8–28] и не может претендовать на описание того видения мира, которое было свойственно создателям археологических культур. Вопрос же о том, является ли определенное политическое образование «государством», не может обойтись без изучения «эмной» позиции. Если общество Эрлитоу действительно соответствует династии Ся (что вполне вероятно, хотя и не общепризнанно [Liu 2009]) и если знаменитый образ «мандата неба» появился в бассейне Хуанхэ уже в XVIII–XVI вв. до н.э., то тогда Эрлитоу можно было бы называть «настоящим» государством, то есть государством в «этном» и «эмном» смыслах. Но если этот образ возник позже, например в политическом образовании Янши, которое с Эрлитоу, по-видимому, и покончило, то тогда первым «настоящим» государством в Восточной Азии оказывается

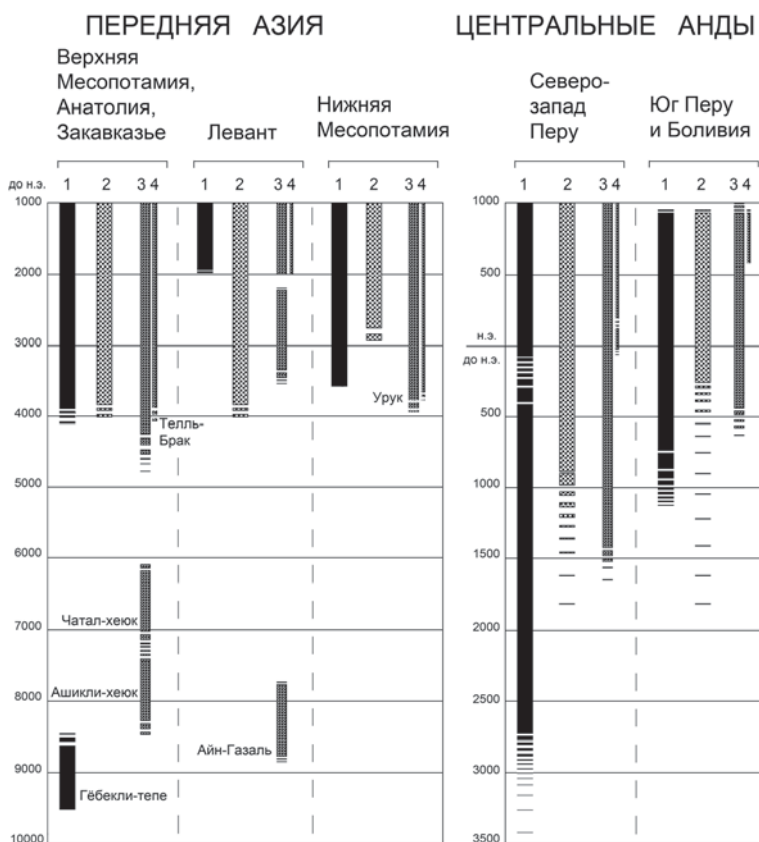


Рис. 1. Время появления общественных сооружений, сокровищ и крупных поселений в Передней Азии и в Центральных Андах
 1. Монументальные сооружения. 2. Сокровища (золото).
 3. Поселения с числом жителей более 1,5-2 тыс. чел.
 4. Поселения с числом жителей более 10 тыс. чел.

именно Янши. Так же и в Шумере о «настоящем» государстве можно говорить после того, как появились понятие сходящей с неба «царственности» и представление об этой «царственности» как о норме [Дьяконов 1983]. Существовали или нет такие понятия уже в IV тыс. до н.э., мы никогда не узнаем, поскольку урукские таблички подобной информации заведомо не содержат. Что касается Центральных Анд,

то не похоже, чтобы там имелось что-то подобное. Отсюда — множество архаических особенностей политической и хозяйственной системы инков, связанных с отсутствием ясной и всеми признаваемой, раз и навсегда обретенной легитимности централизованного правления.

Березкин Ю.Е., в печати. Между общиной и государством. Среднемасштабные общества Нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. СПб.: МАЭ РАН.

Гринин Л.Е. 2006. Раннее государство и его аналоги // РГАА. С. 85–163.

Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2012. Вождества и их аналоги: к типологии среднесложных обществ // ПАТСО. С. 92–123.

Деоник Д.В. 2009. Царство Мо — первое государство Восточной и Юго-Восточной Азии // Юго-Восточная Азия: историческая память, этнокультурная идентичность и политическая реальность. М.: МГУ. С. 17–44.

Дьяконов И.М. 1983. Раннединастический период в Двуречье и Эламе // История Древнего Востока. М.: ГРВЛ. Ч. 1. С. 162–232.

Корниенко Т.В. 2011. Стелы Северной Месопотамии эпохи раннего неолита: предварительный обзор // Археологические вести. Вып. 17. С. 70–95.

Лантев С.В. 2006. Предыстория и история народов Вьет: археология Нижнего Янцзы и Юго-Восточного Китая периода от раннего неолита до раннего железного века. М.: ИСАА МГУ. Т. 1.

Carneiro R.L. 1970. A theory of the origin of the state // Science. 169. P. 733–738.

Carneiro R. 1987. Cross-currents in the theory of state formation // American Ethnologist. 14 (4). P. 756–770.

Claessen H., Velde P. van de, Estellie Smith M. (eds.). 1985. Development and decline: the evolution of sociopolitical organization. South Hadley, Mass.: Bergin & Garvey.

Cauvin J. 1994. Naissance des divinités, naissance de l'agriculture. La Révolution des symboles au Néolithique. P.: CNRS Éditions.

D'Altroy T.N., Earle T.K. 1985. Staple finance, wealth finance, and storage in the Inka political economy // CA. 26(2). P. 187–206.

Drennan R.D., Uribe C.A. (eds.). 1987. Chiefdoms in the Americas. Lanham; N.Y.; L.: University Press of America.

Earle T.K. 1987. Chiefdoms in archaeological and ethnohistorical perspective // ARA. 16. P. 279–308.

Grinin L., Korotayev A. 2011. Chiefdoms and their analogues: alternatives of social evolution at the societal level of medium cultural complexity // SEH. 10 (1). P. 276–334.

Harris M. 1979. *Cultural Materialism: the Struggle for the Science of Culture*. N.Y.: Random House.

Jones G.D., Kautz R.R. 1981. *The Transition to Statehood in the New World*. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press.

Lee Y.K. 2004. Control strategies and polity competition in the lower Yi-Luo Valley, North China // *JAA*. 23 (2004). P. 172–195.

Liu L. 2003. “The products of minds as well as of hands”: production of prestige goods in the Neolithic and Early State periods of China // *Asian Perspectives*. 42 (1). P. 1–40.

Liu L. 2005. *The Chinese Neolithic. Trajectories to Early State*. Cambridge: Cambridge University Press.

Liu L. 2009. Academic freedom, political correctness, and early civilization in Chinese archaeology: the debate on Xia-Erlitou relations // *Antiquity*. 83 (321). P. 831–843.

Makowski K. 1996. La ciudad y el origen de la civilización en los Andes // *Estudios Latinoamericanos (Varsovia)*. 17. P. 63–88.

Makowski K. 2008. *Andean urbanism // Handbook of South American Archaeology*. N.Y.: Springer. P. 633–657.

Pike K.L. 1954. *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior*. Glendale: Summer Institute of Linguistics.

Piperno M. 1979. Socio-economic implications from the graveyard of Shahr-i Sokhta // *South Asian Archaeology*. Naples: Instituto Universitario Orientale. Vol. 1. P. 123–139.

Quilter J., Koons M.L. 2012. The fall of the Moche: a critique of claims for the New World’s first state // *Latin American Antiquity*. 23 (2). P. 127–143.

Reichel-Dolmatoff G. 1975. Templos kogi // *Revista Colombiana de Antropología*. 19. P. 199–243.

Reichel-Dolmatoff G. 1985. *Los Kogi*. Bogotá: Procultura. Vol. 1.

Sage S.F. 1992. *Ancient Sichuan and the Unification of China*. N.Y.: State University of New York Press.

Schmidt K. 1999. The 1999 campaign at Göbekli Tepe (Southeastern Turkey) // *Neo-Lithics*. 3. P. 12–15.

Schmidt K. 2001. Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A preliminary report on the 1995–1999 excavations // *Paléorient*. 26 (1). P. 45–54.

Stein G. 1994. *Economy, ritual, and power in 'Ubaid Mesopotamia // Chiefdoms and Early States in the Near East*. Madison: Prehistory Press. P. 35–46.

Н.Н. Крадин

**АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ:
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ***

Введение

В своей знаменитой работе о городской революции Вир Гордон Чайлд выделил десять археологических критериев архаических *цивилизаций*: появление городских центров; возникновение классов, занятых вне производства пищи (ремесленники, торговцы, жрецы, чиновники и пр.) и живущих в городах; значительный прибавочный продукт, изымаемый элитой; наличие монументальных культовых, дворцовых и общественных сооружений; обособление правящих групп, наличие фиксируемой в археологических источниках резкой социальной стратификации; появление письменности и зачатков математики; развитие изысканного художественного стиля; появление торговли на дальние расстояния; образование государства; взимание налогов или дани [Childe 1950].

Понятно, что в данном случае под цивилизацией он не имел в виду особый культурно-исторический тип общества (как, например, А. Тойнби), а рассматривал ее как стадию развития общества вслед за Л. Морганом и Ф. Энгельсом. С некоторой долей редукционизма можно сказать, что под цивилизацией он понимал общество, имеющее классы и государство. В этой работе термин «цивилизация» трактуется как синоним комплексному обществу, имеющему развитую социальную структуру, государственность или не менее сложные альтернативные формы политической организации. Подобное использование термина «цивилизация» находится в русле стадияльных теорий общества и не имеет ничего общего с так называемым цивилизационным подходом к историческому процессу [Крадин 2008].

* Работа осуществлена при поддержке РФФИ (проект № 11-06-00441а).

Впоследствии список археологических признаков стадии цивилизации неоднократно уточнялся. В настоящее время существует много работ, в которых перечисляется широкий набор признаков цивилизации. В табл. 1 представлены отдельные работы, которые посвящены обсуждению этого вопроса.

Таблица 1

Признаки цивилизации

	Adams 1966	Renfrew 1972	Haas 1982	Массон 1989	Павленко 1989	Maisels 1999
Город		X	X	X	X	X
Монументальная архитектура		X		X	X	X
Письменность		X	X	X	X	
Календарь			X			
Развитое ремесло	X	X	X		X	
Ирригация			X			
Прибавочный продукт			X			X
Стратификация погребений	X	X			X	
Иерархия поселений	X				X	
Элитарная культура					X	
Внешняя торговля и престижные товары			X		X	
Бюрократия	X		X			
Территориальное деление	X					
Региональные стили			X			
Непроизводительные группы (воины и др.)						X
Изысканные стили						X
Зачатки научных знаний						X
Политическая централизация	X					X

Не трудно заметить, что такие признаки, как «город», «монументальная архитектура», «письменность» и «высокоразвитое ремесло», встречаются чаще, другие критерии — несколько реже. В данной статье предполагается обратиться к рассмотрению заявленной темы с привлечением имеющихся в антропологии и археологии баз данных.

Этнографический атлас Дж. П. Мёрдока

Когда исследователи конструируют какие-то схемы, то для составления списка признаков пользуются одним или в лучшем случае несколькими хорошо изученными образцами. К сожалению, практически невозможно учесть и проанализировать все имеющиеся случаи и их варианты. Антропологи давно столкнулись с данной проблемой и еще в конце XIX в. были предприняты попытки составления подробных баз данных и проведения сравнительных (кросс-культурных) исследований. Наиболее значимые достижения в этой области связаны с именем выдающегося американского антрополога XX в. Дж.П. Мёрдока. Именно он начал систематическую работу по составлению наиболее полной коллекции этнографических данных (HRAF), которую продолжают собирать в Йельском университете, стал пионером компьютеризации подобных исследований и составил самую популярную базу данных, которая используется в кросс-культурных исследованиях антропологов по 186 обществам. Эта база данных получила название *Standard Cross-Cultural Sample* = SCCS [Murdock, White 1969; 2006; White 2006].

В 1973 г. Дж.П. Мёрдок в соавторстве с К. Провост опубликовал статью, в которой была предпринята попытка определить критерии сложности общества [Murdock, Provost 1973]. Авторы использовали SCCS, но взяли всего 10 наиболее важных, с их точки зрения, критериев культурной сложности: письменность, оседлость, земледелие, урбанизацию, технологию, транспорт, деньги, плотность населения, политическую иерархию и социальную стратификацию (ср.: [Peregrine, Ember, Ember 2004]). Нетрудно заметить, что выбранные признаки частично пересекаются с выделяемыми археологами критериями цивилизации. Каждая из переменных была оценена по пятибалльной шкале от 0 до 4. Исследователи закодировали информацию по 186 обществам из всех регионов мира.

По их замыслу общая сумма баллов должна свидетельствовать о степени сложности общества. Понятно, что полученные цифры условны. Нельзя оценивать сложность общества только на основе простого арифметического суммирования. Это признают сами авторы, отмечая достаточно курьезный факт: русская культура оценена ими в 38 из

40 максимальных баллов, тогда как древний Вавилон и Рим, соответственно, в 39 баллов. Один балл у вавилонян и римлян отсутствует по причине того, что они не использовали механические транспортные средства, тогда как русские недосчитались целых двух баллов вследствие низкой плотности населения [Ibid: 388].

Однако Дж.П. Мёрдок и К. Провост и не задавались целью создать топ-лист человеческих культур и цивилизаций. Они попытались показать только общие тенденции динамики культурной сложности. В этом они достигли положительного результата. Важно не конкретное место каждого из обществ, а типологический ряд, в котором они находятся. Общества охотников-собирателей располагаются на нижней строке их табл. 3 «Выборка обществ в порядке ранжирования общей культурной сложности» (например, тиви — 2, бушмены-кунг — 2, хадза — 0). Сегментарные общества имеют несколько большее количество очков (масаи, гиляки — 9, яномамо — 8). У вождеств сумма баллов еще больше (Тонга — 20, тробрианцы — 16). Верхнюю строчку списка занимают государства и империи (Китай, Япония — по 40, Вавилон, Рим — по 39, Корея, Россия, Турция — по 38).

Фактически все технологически и культурно сложные общества оказались вверху списка Мёрдока и Провост. Впоследствии критики подчеркивали, что это естественное ограничение технологически ориентированного вестерналистского подхода [Chick 1997]. Интересно, что несколько ранее независимо, пользуясь иной методикой подсчета, аналогичное исследование выполнил Р. Карнейро [Carneiro 1973: 846, 853]. В его системе намного больше признаков, система подсчетов более разработанная. Однако, просмотрев оба списка, следует сказать, что там, где речь идет об одних и тех же примерах, количество совпадений существенно [Murdock, Provost 1973: 390]. Подобная верифицируемость обеих гипотез свидетельствует о том, что Карнейро, Мёрдок и Провост предложили схожие пути решения проблемы. Эти принципы были использованы при оценке уровня стадияльной сложности кочевых обществ [Kradin 2006b; Крадин 2007: 61-85; Васютин, Дашковский 2009: 333–342].

Некоторое время назад автор настоящей статьи проверил, насколько идеи Мёрдока и Провост могут быть применимы

к поиску археологических критериев сложных обществ уровня «цивилизации» ([Kradin 2004; 2006а; Крадин 2006]; в последней работе перечислены значения признаков, изложено подробное описание методики). Условно к стадии цивилизации мной были отнесены общества, обладавшие наиболее развитой социальной структурой и политической системой, сопоставимой с государством (в списке признаков Мёрдока это максимальные значения признаков «*социальная стратификация*» — «три и более отличные друг от друга страты (класса и др.)» и «*политическая интеграция*» — «три и более уровня иерархии, например государство, разделенное на области и на районы»).

К сожалению, не удалось найти качественные универсальные признаки цивилизации. Ни письменность, ни урбанизация, ни монументальная архитектура, ни иной критерий не являются обязательным признаком сложного общества с государственностью и цивилизацией. Всегда находилось определенное количество исключений, когда, например, общества с развитой политической иерархией не имеют письменности и, наоборот, общества с развитой письменностью не обладают сформированной политической иерархией. В то же время кросс-культурный анализ показал наличие *иерархической* и *гетерархической* тенденций/стратегий в социальной эволюции (подробнее о данных тенденциях см.: [Березкин 1995; Коротаев 1995; Blanton et al. 1996; Бондаренко, Коротаев 1999; Crumley 2001; Feinman 2001; Гринин 2007; Kristiansen 2008 и др.]). В целом, для создания развитого стратифицированного общества с тремя классами и многоуровневой политической иерархией как минимум необходимы постоянная оседлость, земледельческое хозяйство как основа экономики (как правило, интенсивное земледелие), разнообразные ремесла с обязательной обработкой металлов [Крадин 2006].

Атлас культурной эволюции

В базу данных SCCS Дж. Мёрдоком были включены в основном этноисторические общества эпохи колониализма. Поэтому сделанные выводы следует принимать с определенной оговоркой. Не очень понятно, насколько они применимы к доколониальному периоду. К сожалению, археологические

источники очень фрагментарны [Клейн 1995], и в принципе невозможно составить базу данных, сопоставимую с SCCS. Однако выше было показано, что для изучения социальной эволюции совсем не обязательно наличие большого числа признаков. Десять признаков, которые были использованы Мёрдоком и Провост, вполне достаточно для исследований динамики социокультурной сложности.

Основываясь на этом допущении, американский археолог П. Перегрин составил другую базу данных по 289 первобытным и раннегосударственным обществам — «Атлас культурной эволюции» [*Atlas of Cultural Evolution* = ACE; Peregrine 2001; 2003]. В процессе работы над девятитомником «Энциклопедия доистории» [Peregrine, Ember 2001-2002] Перегрин с коллегами собирал и структурировал сведения, которые содержались в статьях, написанных для этой книги. К работе над энциклопедией было привлечено более 200 исследователей из 20 стран. В издание были включены данные по всем наиболее важным и известным археологическим культурам эпохи первобытности. Хронологический охват работы — 500 000–500 до н.э. Столь представительная выборка вполне репрезентативна для проведения как синхронных, так и диахронных кросс-культурных исследований обществ периодов первобытности и политогенеза [Peregrine 2001; 2004].

За основу были взяты 10 признаков из работы Дж.П. Мёрдока и К. Провост. Однако П. Перегрин несколько модифицировал признаки, сделав их более удобными для использования археологами [Peregrine 2001: 13; 2003: 6]. В итоге перечень стал выглядеть следующим образом.

1. Письменность и записи

- 1 = нет;
- 2 = мнемонические или неписьменные записи;
- 3 = настоящая письменность.

2. Оседлость поселения

- 1 = кочевое;
- 2 = полукочевое;
- 3 = оседлое.

3. Земледелие

- 1 = нет;
- 2 = 10 % или более, но вторичное;

3 = первичное.

4. Урбанизация (крупные поселения)

1 = до 100 человек;

2 = 100–399 человек;

3 = 400 и более человек.

5. Технологическая специализация

1 = нет;

2 = гончарство;

3 = металлообработка (сплавы, ковка, литье).

6. Наземный транспорт

1 = переноска грузов людьми;

2 = вьючные или верховые животные;

3 = транспортные средства.

7. Деньги

1 = нет;

2 = заменители денег (domestically usable articles);

3 = деньги.

8. Плотность населения

1 = менее 1 чел./кв. милю;

2 = 1-25 чел./кв. милю;

3 = 26+ чел./кв. милю.

9. Политическая интеграция

1 = автономная локальная община;

2 = 1-2 уровня над общиной;

3 = 3 и более уровня над общиной.

10. Социальная стратификация

1 = эгалитаризм;

2 = 2 социальных класса;

3 = 3 и более социальных классов или каст.

П. Перегрин продемонстрировал перспективы использования данной базы данных при реконструкции процессов социокультурной эволюции, а также при моделировании процессов политогенеза. В работе «Атлас культурной эволюции» были показаны перспективы использования АСЕ в кросс-культурных исследованиях. В частности, были очерчены контуры динамики культурного роста по отдельным признакам, установлена корреляция между различными переменными и факторами, дан сравнительный анализ темпов роста социальной сложности в Старом и Новом Свете [Peregrine 2003]. В статье «Моделирование происхождения государ-

ства посредством использования кросс-культурных данных» П. Перегрин и его соавторы пришли к справедливому выводу, что невозможно выделить универсальные факторы происхождения государства. По их мнению, культурная эволюция в эпоху политогенеза также имеет многолинейный и многофакторный характер [Peregrine, Ember, Ember 2007].

Описание результатов

В настоящей статье делается попытка использовать АСЕ для выявления археологических признаков стадии цивилизации. Прежде всего необходимо определить, какие из признаков АСЕ более всего соответствуют такой стадии общества, как цивилизация. Еще в 1970-х гг. Г. Джонсон и Г. Райт предложили определять государство как общество с тремя уровнями иерархии. По их мнению, два уровня иерархии должны соответствовать сложному вождеству, тогда как три уровня и более — государству [Johnson 1973: 3, 141; Wright, Johnson 1975: 272]. Критикуя впоследствии эту концепцию, многие исследователи приводили контраргументы, показывающие, что иерархия в два и три уровня не является признаком только государства [Isbell, Schreiber 1978; Cohen 1981; Haas 1982 etc.]. Для суперсложных вождеств кочевников характерны 5–6 уровней иерархии [Крадин 2007]. Следовательно, три уровня политической иерархии далеко не всегда могли соответствовать государству и цивилизации.

Наиболее полно содержанию понятия «цивилизация» соответствует многоуровневая социальная стратификация. Кросс-культурный анализ 21 раннего государства, проделанный Х.Дж.М. Классеном, показывает, что «социальная стратификация в ранних государствах была достаточно сложной материей. Обычно существовало несколько социальных категорий с дифференцированным доступом к материальным и другим ресурсам. «Мы провели различие между двумя основными слоями, высшим и низшим, — пишет Классен, — и обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев также существовал средний слой. Высший слой включал правителя, аристократию, к которой принадлежали родственники правителя, обладатели высших должностей и главы кланов и линиджей, и духовенство (priesthood). Средний

слой состоял из таких категорий, как служащие (ministerials) и провинциальная элита (gentry). К низшему слою принадлежали мелкие владельцы и арендаторы и реже такие категории, как ремесленники, торговцы, слуги и рабы» [Claessen 1978: 587-588]. Исходя из этого, можно быть уверенным, что *трехуровневая социальная стратификация* должна свидетельствовать об обществе, соответствующем уровню раннего государства и цивилизации (в терминологии Г. Чайлда).

Таким образом, основываясь на названных критериях [Крадин 2006: 184] (ср.: [Trigger 2003: 46]), условимся считать цивилизацией *общество с тремя и более уровнями политической иерархии и развитой социальной стратификацией (не менее трех страт или классов)*.

Все расчеты производились при помощи специальной статистической программы SPSS 12.0 for Windows. Первым шагом стало изучение степени корреляции между всеми признаками (табл. 2). Были внимательно рассмотрены все 45 корреляций между признаками. Далее показаны только принципиально важные корреляции.

Таблица 2

Общая корреляция между признаками

	Земледелие	Урбанизация	Письменность	Оседлость	Технология	Транспорт	Деньги	Население	Политическая интеграция	Стратификация
Земледелие	1	,744	,276	,827	,711	,389	,290	,770	,810	,756
Урбанизация	,744	1	,460	,688	,752	,513	,467	,763	,833	,785
Письменность	,276	,460	1	,236	,402	,623	,722	,444	,469	,439
Оседлость	,827	,688	,236	1	,713	,308	,315	,720	,737	,663
Технология	,711	,752	,402	,713	1	,603	,397	,670	,834	,791
Транспорт	,389	,513	,623	,308	,603	1	,616	,497	,557	,576
Деньги	,290	,467	,722	,315	,397	,616	1	,643	,474	,485
Население	,770	,763	,444	,720	,670	,497	,643	1	,777	,766
Политическая интеграция	,810	,833	,469	,737	,834	,557	,474	,777	1	,899
Стратификация	,756	,785	,439	,663	,791	,576	,485	,766	,899	1

Самая высокая корреляция оказалась между признаками «политическая интеграция» и «социальная стратификация» (табл. 3).

Таблица 3

Политическая интеграция и социальная стратификация

		Социальная стратификация			ВСЕГО
		эгалитаризм	2 соц. класса	3 и более соц. классов или каст	
Политическая интеграция	автономные лок. общины	115	1	0	116
	1 или 2 уровня над общиной	21	81	14	116
	3 и более уровня над общиной	0	1	56	57
ВСЕГО		136	83	70	289

$$R = 0,899$$

$$\text{Asymp. Std. Error}(a) = 0,016$$

$$\text{Approx. T}(b) = 34,695$$

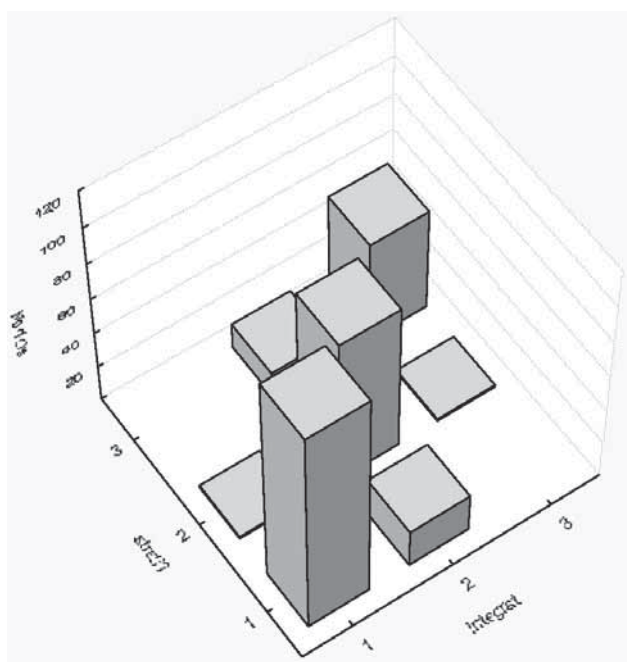
R — это простая линейная корреляция Пирсона, которая определяет, насколько значения двух переменных пропорциональны друг другу. Коэффициенты корреляции изменяются в пределах от -1.00 до $+1.00$. В рассматриваемом случае $R = 0,899$. Это очень высокая корреляция. Помимо линейной корреляции Пирсона, используется ранговая корреляция R Спирмена. Этот показатель также оказался очень высоким.

$$R = 0,896$$

$$\text{Asymp. Std. Error}(a) = 0,017$$

$$\text{Approx. T}(b) = 34,095$$

Поскольку расчеты ранговой корреляции R Спирмена выявили точно такие же тенденции, как и при линейной корреляции Пирсона, этот показатель для удобства изложения результатов проведенного исследования был опущен.



Политическая интеграция и социальная стратификация

При анализе SCCS самая большая корреляция также была зафиксирована между показателями «политическая иерархия» и «социальная стратификация» [Крадин 2006]. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что кросс-культурные методы полностью подтверждают достоверность высказанного еще в XIX в. тезиса, согласно которому развитие социальной стратификации идет параллельно с увеличением политической иерархии.

При этом фиксируется интересная особенность. На графике хорошо видны боковые варианты, когда двухуровневая политическая иерархия соответствует трехклассовой социальной структуре и наоборот. Это свидетельствует в пользу многовариантности социальной эволюции, сосуществования *иерархической* и *гетерархической* тенденций/стратегий. Аналогичная тенденция была зафиксирована при использовании базы данных SCCS [Крадин 2006: 193, 199, табл. 1, рис. 1].

В процессе проведения исследования были изучены все остальные 44 корреляции. Самыми интересными оказались корреляции, связанные с признаком «письменность». Первая важная закономерность была обнаружена при рассмотрении корреляции между переменными «письменность» и «политическая интеграция» (табл. 4). Трехуровневая иерархия выше была принята как некий условный критерий общества, достигшего уровня государства или его аналога и отчасти стадии цивилизации. В табл. 4 приведены данные о 57 подобных обществах. Из них 34 являлись полностью бесписьменными, 2 обладали зачатками письменности и 21 общество имело письменность. При этом общества с письменностью имели не менее трех уровней иерархии. В данном случае зафиксирована не количественная, а качественная корреляция!

Таблица 4

Письменность и политическая интеграция

		Политическая интеграция			ВСЕГО
		автономная локальная община	1 или 2 уровня над общиной	3 и более уровней над общиной	
Письменность и записи	нет	116	116	34	266
	мнемонические или неписьменные записи	0	0	2	2
	настоящая письменность	0	0	21	21
ВСЕГО		116	116	57	289

$$R = 0,469$$

$$\text{Asymp. Std. Error}(a) = 0,042$$

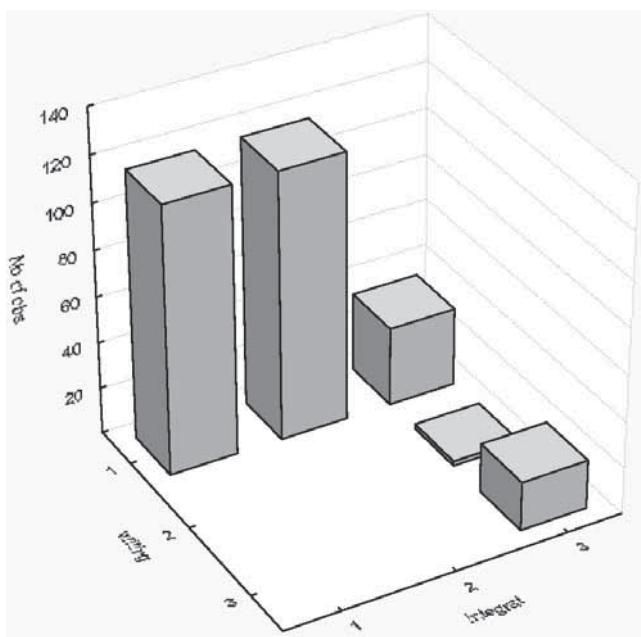
$$\text{Approx. T}(b) = 8,995$$

$$\text{Gamma} = 1,00$$

$$\text{Asymp. Std. Error}(a) = 0,000$$

$$\text{Approx. T}(b) = 5,427$$

В рассматриваемом случае ни линейная корреляция Пирсона (R), ни ранговая корреляция R Спирмена не от-



Письменность и политическая интеграция

ражают полученного результата. В частности, корреляция Пирсона $R = 0,469$. Это слабая корреляция. В данном случае целесообразно использовать гамма-статистику. Последняя основывается на использовании рангового порядка, однако показывает разницу между вероятностью того, что ранг двух переменных совпадает, минус вероятность того, что он не совпадает, поделенный на единицу, минус вероятность совпадений. В данном случае $\text{Gamma} = 1,00$.

Точно также качественная корреляция $\text{Gamma} = 1,00$ фиксируется при рассмотрении переменных «письменность» и «социальная стратификация» (табл. 5). В АСЕ зафиксированы 70 обществ с развитой трехранговой (трехклассовой) социальной стратификацией. 21 из них имело письменность. Однако из 21 общества, имеющего письменность, нет ни одного, которое бы имело менее трех рангов или классов.

Таблица 5

Письменность и социальная стратификация

		Социальная стратификация			ВСЕГО
		эгалитаризм	2 соц. класса	3 и более соц. классов или каст	
Письменность и записи	нет	136	83	47	266
	мнемонические или неписьменные записи	0	0	2	2
	настоящая письменность	0	0	21	21
ВСЕГО		136	83	70	289

$R = 0,439$

Asymp. Std. Error(a) = 0,041

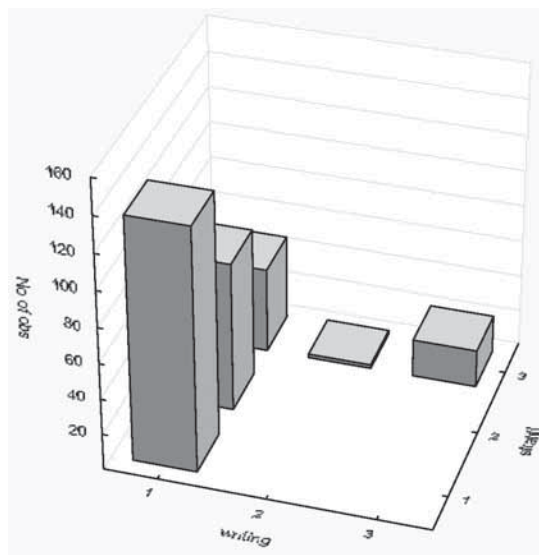
Approx. T(b) = 8,283

Gamma = 1,00

Asymp. Std. Error(a) = 0,000

Approx. T(b) = 5,407

Линейная корреляция Пирсона выражена слабо: $R = 0,439$. Однако $\text{Gamma} = 1,00$ показывает качественную кор-



Письменность и социальная стратификация

реляцию между письменностью и трехранговой (трехклассовой) социальной структурой.

Качественная корреляция имеется между переменными «письменность» и «оседлость» (табл. 6).

Таблица 6

Письменность и оседлость поселения

		Оседлость поселения			ВСЕГО
		кочевое	полукочевое	оседлое	
Письменность и записи	нет	75	51	140	266
	мнемонические или неписьменные записи	0	0	2	2
	настоящая письменность	0	0	21	21
ВСЕГО		75	51	163	289

$R = 0,236$

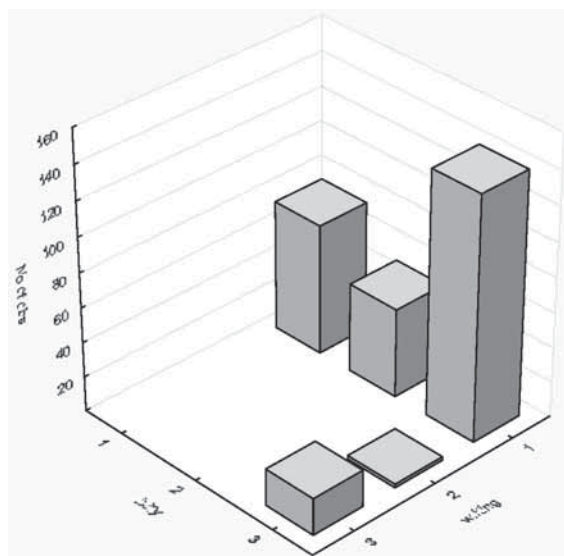
Asymp. Std. Error(a) = 0,026

Approx. T(b) = 4,123

Gamma = 1,00

Asymp. Std. Error(a) = 0,000

Approx. T(b) = 5,159



Письменность и оседлость поселения

Исходя из этого вывода, все общества с ранней письменностью должны были быть оседлыми. Это противоречит более поздним данным о существовании рунической письменности у кочевников — в тюркских каганатах VI–VIII вв., двух форм киданьского письма, развитой письменной традиции у средневековых монголов. Однако это результат культурной диффузии в эпоху Средневековья. Кочевники древности, судя по всему, не имели своей письменности. Даже хунну, которые создали самую большую кочевую империю древности (они учтены в ACE [Peregrine 2003: 4]), использовали евнухов-иммигрантов для составления дипломатической переписки с китайскими императорами [Крадин 2002].

Имеется также качественная связь между переменными «*письменность*» и «*урбанизация*» (табл. 7).

Таблица 7

Письменность и урбанизация

		Урбанизация			ВСЕГО
		крупные поселения до 100 чел.	крупные поселения, 100–399 чел.	крупные поселения 400+ чел.	
Письменность и записи	нет	149	74	43	266
	мнемонические или неписьменные записи	0	0	2	2
	настоящая письменность	0	0	21	21
ВСЕГО		149	74	66	289

R = 0,460

Asymp. Std. Error(a) = 0,042

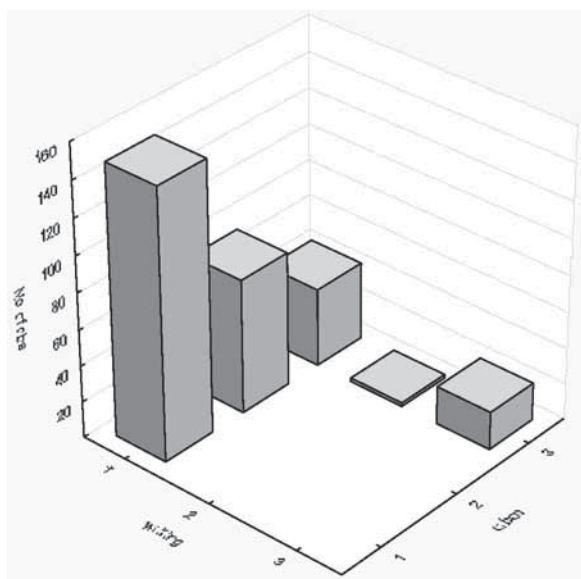
Approx. T(b) = 8,777

Gamma = 1,00

Asymp. Std. Error(a) = 0,000

Approx. T(b) = 5,414

Наконец, фиксируется качественная связь между признаками «*письменность*» и «*металлообработка*» (табл. 8). Во всех обществах, где есть письменность, фиксируется металлообработка в той или иной форме.



Письменность и урбанизация

Таблица 8

Письменность и технологическая специализация

		Технологическая специализация			ВСЕГО
		нет	керамика	металло-обработка	
Письменность и записи	нет	95	117	54	266
	мнемонические или неписьменные записи	0	0	2	2
	настоящая письменность	0	0	21	21
ВСЕГО		95	117	77	289

R = 0,402

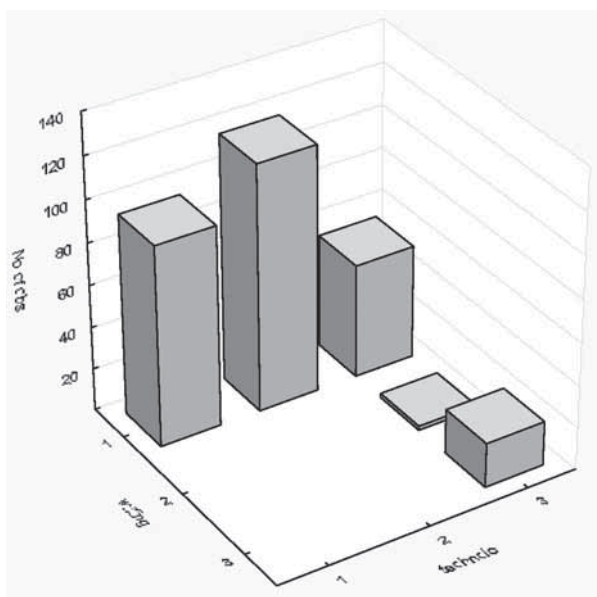
Asymp. Std. Error(a) = 0,038

Approx. T(b) = 7,427

Gamma = 1,00

Asymp. Std. Error(a) = 0,000

Approx. T(b) = 5,395



Письменность и технологическая специализация

Заключение

Проведенное ранее исследование на основе анализа SCCS показало наличие устойчивой корреляции между седентеризацией, земледелием, металлургией, классами и государством [Крадин 2006]. Однако, к сожалению, статистически не удалось найти достоверного подтверждения концепции «городской революции» Г. Чайлда. Ни письменность, ни урбанизация, ни монументальная архитектура не являются обязательными признаками стадии цивилизации. Анализ АСЕ показывает достаточно низкие коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. Однако есть качественная корреляция между стратификацией, политической иерархией, урбанизацией, с одной стороны, и сложившейся письменностью, с другой стороны. Точность составляет 100 % ($\text{Gamma} = 1,00$). Таким образом, ранние государства, классы и городские общества могут существовать без письменности. Однако если мы фиксируем в обществе первичного политогенеза сложившуюся письменность, это означает, что в данном обществе должна существовать развитая (клас-

совая) социальная структура, государственность и урбанизация.

Отличия между этнографической и археологической выборками данных и наличие качественных корреляций в ACE можно объяснить тем, что SCCS включает 186 этноисторических обществ. В период колониализма большинство первобытных и традиционных культур имело контакты с развитыми обществами и было знакомо с достижениями цивилизации — высокими технологиями (в основном с военными), письменностью, государством, мировыми религиями и т.д. Даже в период существования доиндустриальных мир-систем немалое число простых обществ подверглось изменениям. Диффузия технологий и идеи трансформировала многие первобытные и предгосударственные общества. Именно поэтому результаты анализа баз данных ACE и SCCS имеют серьезные отличия.

Кросс-культурный анализ *«Атласа культурной эволюции»* доисторических обществ подтверждает основные выводы В.Г. Чайлда относительно городской революции. При этом такой признак, как письменность, является барьером, который отделяет предгосударственные общества от стадии цивилизации. С этим выводом можно согласиться. Сначала письменность изобретается и используется как инструмент чиновников для фиксации налогов, изложения распоряжений и закрепления законов. Только позднее письменность начинает использоваться для других целей и заимствуется другими обществами, которые находятся на пути к государственности и цивилизации.

Эти выводы также показывают, насколько важную роль играла диффузия в мир-системной истории. По мере роста населения, усложнения обществ и увеличения их размеров возрастало количество связей между различными культурами, политиями и цивилизациями. Мир-системные связи складываются из четырех сетей: массовых товаров, престижных товаров, политических и военных, информационных. Самыми широкими являются сети информации и престижных товаров [Chase-Dunn, Hall 1997: 41–56]. Наиболее значимую роль в этих процессах играли сети обмена информацией. Это хорошо видно на примере того, как быстро распространялись в мире такие важнейшие открытия, как ко-

лесницы, черная металлургия, всадничество, мировые религии, военные технологии и т.д. [Мак-Нил 2004; 2008; Нефедов 2008]. Очевидно, что тот, кто первым изобретает или овладевает важными технологиями и стратегиями, получает геополитическое преимущество. Именно так было с государственностью. Только сложившиеся политии с сильной централизованной структурой и развитой социальной иерархией пришли к необходимости кодирования информации и ее фиксации на каком-либо носителе. По всей видимости, это было связано с оптимизацией механизмов управления сложными обществами. И лишь впоследствии данное судьбоносное изобретение человечества широко распространилось по всему Старому Свету.

Березкин Ю.Е. 1995. Вождества и акефальные сложные общества: данные археологии и этнографические параллели // РФПО. С. 165–187.

Бондаренко Д.М., Коротаев А.В. 1999. Политогенез, «гомологические ряды» и нелинейные модели социальной эволюции // ОНС. № 5. С. 128–138.

Васютин С.А., Дашковский П.К. 2009. Социально-политическая организация кочевников Центральной Азии поздней древности и раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования). Барнаул.

Гринин Л.Е. 2007. Государство и исторический процесс. М. Кн. 1-3.

Клейн Л.С. 1995. Археологические источники. 2-е изд. СПб.

Коротаев А.В. 1995. Горы и демократия: к постановке проблемы // АПРГ. С. 77-93.

Крадин Н.Н. 2002. Империя Хунну. 2-е изд. М.

Крадин Н.Н. 2006. Археологические признаки цивилизации // РГАА. С. 184–208.

Крадин Н.Н. 2007. Кочевники Евразии. Алматы.

Крадин Н.Н. 2008. Проблемы периодизации исторических макропроцессов // История и математика: Модели и теории / отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. М. С. 166–200.

Мак-Нил У. 2004. Восхождение Запада: История человеческого сообщества. Киев; М.

Мак-Нил У. 2008. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX вв. М.

Массон В.М. 1989. Первые цивилизации. Л.

Нефедов С.А. 2008. Война и общество. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. М.

Павленко Ю.В. 1989. Раннеклассовые общества (генезис и пути развития). Киев.

Adams R.M.C. 1966. *The Evolution of Urban Society*. Chicago: University of Chicago Press.

Blanton R.E., Fienman G.M., Kowalewski S.A., Peregrine P.N. 1996. A Dual-Process Theory for the Evolution of Mesoamerican Civilization // *CA*. Vol. 37 (1). P. 1–14, 73–86.

Carneiro R. 1973. Scale Analysis, Evolutionary Sequences, and the Rating of Cultures // *A Handbook of Method in Cultural Anthropology* / ed. by R. Narrol, R. Cohen. N.Y.; L. P. 834–871.

Chase-Dunn Chr., Hall T. 1997. *Rise and Demise: Comparing World-Systems*. Boulder, CO.: Westview Press.

Chick G. 1997. Cultural Complexity: The Concept and Its Measurement // *CCR*. Vol. 31. № 4. P. 275–307.

Childe V.G. 1950. The Urban Revolution // *Town Planning Review*. Vol. 21. P. 3–17.

Claessen H.J.M. 1978. The Early State: A Structural Approach // *ES*. P. 533–596.

Cohen R. 1981. Evolution, Fission and the Early State // *SS*. P. 87–115.

Crumley C. 2001. Communication, Holism, and the Evolution of Sociopolitical Complexity // *FLR*. P. 19–36.

Feinman G. 2001. Mesoamerican Political Complexity: The Corporate–Network Dimension // *FLR*. P. 151–175.

Haas J. 1982. *The Evolution of the Prehistoric State*. N.Y.: Columbia University Press.

Isbell W., Schreiber K. 1978. Was Huari a State? // *American Antiquity*. Vol. 43. P. 372–389.

Johnson G. 1973. Local Exchange and Early State Development in Southwestern Iran. *Ann Arbor (The University of Michigan Anthropological Papers. № 51)*.

Kradin N.N. 2004. Archaeological Criteria of State and Civilization // Third International Conference “Hierarchy and Power in the History of Civilizations”. Abstracts. Moscow. P. 82–83.

Kradin N.N. 2006a. Archaeological Criteria of Civilization // *SEH*. Vol. 5. № 1. P. 89–108.

Kradin N.N. 2006b. Cultural Complexity of Pastoral Nomads // *WC*. Vol. 15. № 2. P. 171–189.

Kradin N.N. 2009. Archaeological Criteria of Archaic Civilizations // *Hierarchy and Power in the History of Civilizations (Moscow, 23–26 June 2009): Fifth International Conference. Abstracts. Moscow*. P. 146–147.

Kristiansen K. 2008. The Rules of the Game. Decentralised Complexity and Power Structures // *Socializing Complexity: Approaches to Power*

and Interaction in Archaeological Discourse / ed. by K. Kohring, S. Wynne-Jones. Oxford. P. 60–75.

Maisels Ch. 1999. Early Civilizations of the Old World: The Formative Histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India, and China. N.Y.

Murdock G., Provost C. 1973. Measurement of Cultural Complexity // *Ethnology*. Vol. 12 (4). P. 379–392.

Murdock G.P., White D.R. 1969. Standard Cross-Cultural Sample // *Ethnology*. Vol. 8. P. 329–369.

Murdock G.P., White D.R. 2006. Standard Cross-Cultural Sample: on-line edition // *Social Dynamics and Complexity*. Working Papers Series // URL: [http://repositories.cdlib.org/imbs/socdyn/wp/Standard Cross-Cultural Sample](http://repositories.cdlib.org/imbs/socdyn/wp/Standard-Cross-Cultural-Sample)

Peregrine P.N. 2001. Cross-Cultural Comparative Approaches in Archaeology // *ARA*. Vol. 30. P. 1–18.

Peregrine P.N. 2003. Atlas of Cultural Evolution // *WC*. Vol. 14 (1). P. 1–89.

Peregrine P.N. 2004. Cross-Cultural Approaches in Archaeology: Comparative Ethnology, Comparative Archaeology and Archaeoethnology // *Journal of Archaeological Research*. Vol. 12 (3). P. 281–309.

Peregrine P.N., Ember M. (eds.). 2001–2002. *Encyclopedia of Prehistory* (9 Vols.). N.Y.

Peregrine P.N., Ember C.R., Ember M. 2004. Universal Patterns in Cultural Evolution: An Empirical Analysis Using Guttman Scaling // *AA*. Vol. 106 (1). P. 145–149.

Peregrine P.N., Ember C.R., Ember M. 2007. Modeling State Origins Using Cross-Cultural Data // *CCR*. Vol. 41 (1). P. 75–86.

Renfrew C. 1972. *The Emergence of Civilization: the Cyclades and Aegean in the Third Millennium B.C.* L.

Trigger B. 2003. *Understanding Early Civilizations: A Comparative Study*. Cambridge: Cambridge University Press.

White D.R. 2006. Pinpointing Sheets for the Standard Cross-Cultural Sample: Complete Edition // *WC*. Vol. 17 (1). P. 1–223.

Wright H., Johnson G. 1975. Population, Exchange and Early State Formation in Southwestern Iran // *AA*. Vol. 77 (2). P. 267–289.

Л.П. Грот

РАННИЕ ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИСТОРИИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН В ОСВЕЩЕНИИ ШВЕДСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Проблемы формирования шведской государственности всегда занимали важное место в шведской историографии. Однако такое понятие, как «ранние формы политической организации», является достаточно новым, поскольку вошло в научный обиход в последние десятилетия прошлого века, после того как в европейской науке, начиная с 1960-х гг., получили развитие концепции о поэтапной эволюции позднепервобытных обществ и стал исследоваться такой тип социополитической организации, как *вождества*. В данной статье освещены два вопроса: как сложившиеся ранее шведские историографические традиции повлияли на современные поиски критериев характеристики ранних форм политической организации в истории Швеции и как теория *вождества* (*hövdingadöme*) использовалась в исследованиях по проблематике шведского политогенеза.

Определяя характер ранее сложившихся шведских историографических традиций в освещении собственного политогенеза, можно констатировать, что начиная «с яиц Леды» и до 1960–1980-х гг., когда в науке появились новые типологии архаичных обществ, дискуссии о путях развития государственности шли в русле, сложившемся еще в эпоху Просвещения, когда в истории человечества стало усматриваться наличие двух строго определенных периодов — первобытности и государственности, рождавшейся сразу из первобытности.

В силу этого подхода, доминировавшего, собственно, во всей европейской исторической науке, шведскими историками во главу угла ставился вопрос об определении того момента, когда возникло шведское королевство, или *rike/пейх*, что было равнозначно завершению первобытности и одновременному началу государственности в Швеции. Посколь-

ку до недавнего времени при анализе проблем возникновения государства в соответствии с упомянутой традицией эпохи Просвещения полагали, что наличие королевской власти в обществе уже свидетельствовало о государственном характере его политической системы, в шведской историографии, как, впрочем, и в историографиях других западноевропейских стран, поиски хронологической границы, отделявшей первобытность от государственности, сводились прежде всего к тому, чтобы отыскать в источниках наиболее ранние упоминания о шведских правителях с титулом королей, а также найти данные, подтверждающие, что под властью одного из этих королей была объединена территория, которую можно было бы отождествить с ядром современного государства. К специфическим факторам, осложнявшим исследования проблематики шведского политогенеза, следует отнести устойчивую традицию мифологизировать свою историю и населять ее правителями как достоверными, так и легендарными для удревления своих исторических корней.

В Скандинавских странах эта традиция начиная с XV в. развивалась в русле готицизма — особого идейно-политического направления, сторонники которого стремились возродить и показать великое историческое прошлое древнего народа готов, прямыми предками которого считали себя народы Германии и Скандинавских стран. Готицизм позволял мифологизировать историю скандинавских народов, придавая ей большую древность, чем это позволяли источники. В таком духе писал, например, «отец шведской истории» Эрик Олай (ум. 1486) — автор «*Chronica regni Gothorum*», работы, где с опорой на традиции испанской средневековой историографии провозглашалось, что Швеция — это легендарный остров Скандия/Сканца, то есть прародина готов, завоевавших Рим. Этой же традиции следовал крупнейший представитель шведского готицизма XVI в. Иоанн Магнус (1488–1544), капитальный труд которого «*Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus*» был опубликован в 1554 г. в Риме [Грот 2010б: 118–139; Johanneson 1982: 40, 80, 103, 120–122, 134, 145; Nordström 1975: 39, 133, 140, 159; Svennung 1967: 68–96].

Готицизм с самого начала развивался при активной поддержке правителей Скандинавских стран. Так, идеи готи-

цизма крайне интересовали шведских правителей периода Кальмарской унии (уния между Данией, Швецией и Норвегией, существовавшая с перерывами с 1389 по 1520-е гг.), поскольку в них усматривалась возможность для культурно-идеологического обоснования стремления шведской знати разорвать Кальмарскую унию и восстановить суверенитет шведской короны. Таким образом, отыскание и подбор аргументов, которые доказывали бы первенство и особое положение Швеции в реконструируемой древней истории готов, становились насущной политической задачей. При поддержке королевской власти идея Швеции как прародинны готов быстро укоренилась в шведской историографии и получила дальнейшее развитие в последующие годы. Такие работы, как вышеупомянутый труд И. Магнуса, сделались официальной историей Швеции на долгие времена [Johannesson 1982: 277; Latvakangas 1995: 104–105].

В XVII–XVIII вв. тенденция мифологизировать шведскую историю и уводить ее в еще большую древность продолжала нарастать. В период с 1610 по 1613 г. шведский языковед и влиятельный сановник Юхан Буре (1568–1652) стал пропагандировать мысли о том, что античные мифы о гиперборейцах также являются забытым источником по древнешведской истории. Мысли эти были подхвачены многими современниками Буре. Например, его ученик Г. Штэрнфельм (1598–1672), развивая «гипербореяду» Буре, проповедовал о том, что имя легендарной Гипербореи легко толкуется из шведского языка и что Швеция в древности была колыбелью для многих народов-завоевателей, которые выступали под разными именами, что шведские предки занимали между древними народами особо почетное место, поэтому из шведского языка лучше всего толкуются имена богов и народов [Грот 2008: 111–117; 2009: 132–154; 2010a; Nordström 1934: 111–132].

Своего апогея поиски шведской «древности» достигли в творчестве писателя и профессора медицины Олофа Рудбека (1630–1702). В своем прославившемся произведении «Атлантида (Atland eller Manheim)», 3 основные части которого были изданы в течение 1679–1698 гг., а 4-я часть должна была быть опубликована в 1702 г., когда пожар уничтожил значительную часть тиража, Рудбек собрал воедино все

исторические химеры, созданные историозодчеством готицизма и шведской гипербореады. Основная мысль рудбековской «Атлантиды» — «обоснование» основоположничества шведов с древнейших времен в историях большинства европейских народов, а Швецию представить колыбелью общеевропейской культуры, в том числе древнегреческой, скифской и древнерусской [Грот 2010б: 139–176; Latvakangas 1995: 167–175; Nordström 1934: 136–154; Rudbeck 1937: 191, 228–233, 265, 293–301, 324].

Рудбекианизм в конце XVII — первой половине XVIII в. получил общеевропейскую популярность, поскольку готицизм, в русле которого немецкими и шведскими историками и теологами в течение XVI в. был создан образ великого прошлого готов как завоевателей мира и героических предков германских народов, с XVII в. стал привлекать все большее внимание английских историков и писателей, а несколько позднее — и французских мыслителей. В рамках общеевропейского готицизма идеи величия готов в древности приобрели большое распространение во многих европейских странах, имена шведских писателей — создателей фантастической истории Швеции — Иоанна Магнуса и Рудбека на какое-то время стали признанными европейскими именами, что содействовало консервации этой ненаучной историографии в шведской исторической мысли с идеями о глубокой древности начал шведской истории [Грот 2009: 132–154; 2010б: 163–171; Нильсен 1992: 17–18].

Этот историографический экскурс поясняет, откуда в шведской историографии идет традиция удревнять истоки шведского политогенеза и говорить о наличии шведского государства, или *rike* — *королевства* под властью одного короля, если не с древности, то как минимум с середины I тысячелетия. «В работах старшего поколения ученых было сознательное стремление отодвинуть вглубь времен “объединение государства”», — отмечал шведский археолог О. Хиенстранд [Huyenstrand 1982: 199]. В качестве «объединения государства» или королевства/*rike* под властью одного короля для шведской истории понималось объединение земель гётов и свеев¹.

Поскольку вопрос об объединении земель свеев и гётов был в центре всех исследований шведских ученых о форми-

ровании шведской государственности, представляется логичным взять его за отправную точку и для данной статьи, для того чтобы определить, к какому уровню социополитической сложности относились данные этнополитические организации, которые традиционно считаются предтечами шведского государства.

Осмыслению этнонимов «гёты» и «свеи» и образованных от них многочисленных этнополитонимов в шведской истории посвящена значительная научная литература, однако в силу того, что сведения немногочисленных источников были коротки и часто неясны, вопрос о том, какие социополитические системы скрывались в разные периоды за названиями, связанными с именами гётов и свеев, оказался запутанным и перманентно дискуссионным.

Следует начать с того, что факт образования королевства Швеция в результате слияния территорий гётов и свеев был зафиксирован в официальном документе: «Королевство Швеция вышло из языческого мира, когда соединились страны Свея и Гота. Свея называлась земля на севере, а Гота — земля на юге (Sverikis rike är af hedne värld samankomit af Swea och Gotha landh. Swea kalladis nordanskogh och Gotha sunnanskogh)» [Sveriges regeringsformer 1891: 1–57]. Данной декларацией открывалась новая редакция свода законов Швеции, принятая в 1442 г. при одном из королей Кальмарской унии — Кристоффере Баварском (1441–1448). Кристоффер был провозглашен шведским королем в 1441 г., несколько ранее — датским королем, чуть позднее — норвежским королем, а в 1445 г. — общим королем всех трех монархий, объединившихся в унию, получившую название Кальмарской по имени шведского города Кальмара, где она была подписана. Но приведенный источник, как видно, весьма поздний, середины XV в. Кроме того, его появлению способствовала весьма специфическая общественно-политическая обстановка в Швеции XV в.

Это было как раз то время, когда в Западной Европе стал набирать силу вышеупомянутый *готтицизм* — идейно-политическое направление общественной мысли, проповедовавшее идею о том, что Швеция — прародина древних готв. В рамках данного течения представители шведского готтицизма столкнулись с проблемой раскрытия связи между

названием Швеции как королевства сеев (Sveriki/Sverige) и именем готов. Вероятно, с целью истолкования возникшей проблемы и были написаны вводные слова свода законов короля Кристоффера, соответственно, очень сложно определить их историческую глубину и ценность.

Дело в том, что такое название, как Svealand/Svealandh (страна сеев), ранее в шведских источниках не встречалось, тогда как Gothaland (страна готов) было известно. Это неоднократно отмечалось шведскими исследователями [Gahrn 1988: 57; Harrison 2009: 34]. Шведский историк Д. Харрисон косвенно подтверждает мою догадку о политической конъюнктурности слов из приведенного свода законов: «...слово “Svealand” появилось впервые в XV в., наверняка как адекватность для уже ранее известного названия “Götaland”» [Harrison 2009: 34]. Для территорий, связанных с именем сеев, использовались другие наименования. Например, у Снорри Стурлусона мы находим такие, как Sviaveldi (владения сеев), Svithjodh (народ сеев), Sviariki (королевство сеев).

Различия в традиционных наименованиях разных областей Швеции отражали, очевидно, различия в формировании ранних форм политической организации в процессе их развития в шведской истории. Но выявить эти различия не просто в силу скудных данных источников. Однако такие попытки предпринимаются в современной шведской медиэвистике, где отмечается, что организационные формы различных регионов Швеции в раннесредневековый период, или, по шведской периодизации, в викингский период² (800–1050), представляли собой пеструю картину [Gahrn 1988: 38–58, 60–79; Harrison 2009: 30–36; Lindkvist, Sjöberg 2008: 34–35]. В российской скандинавистике сохраняется более консервативный подход при анализе данной проблематики, когда этнополитические организации сеев и гётов в догосударственный период традиционно характеризуются как племенные объединения [Мельникова 2008], племенные группы [Сванидзе 1999: 6] или племенные образования [Джаксон 1993: 65].

С помощью каких источников определяют исследователи исходный хронологический рубеж, от которого надо отталкиваться для определения начала процесса объединения тер-

риторий свеев и гётов? Обычно начинают с Тацита, который в 44-й главе книги «Германия» упомянул *Suionum civitates*, живущих в самом Океане (*ipso in Oceano*) [Tacitus 1969], что признано как первое упоминание свеев. Правда, шведские исследователи оговариваются, что фрагмент Тацита о *Suionum* очень краток и неясен: непонятно, что скрывается за *civitates* Тацита, сложно географически идентифицировать такое место проживания, как *ipso in Oceano*: то ли это множество островов, то ли это морское побережье [Gahrn 1988: 3, 40–41; Önnersfors 1969]. Российский скандинавист В.В. Рыбаков более безапелляционен в оценке фрагмента о *Suionum*: «Первым упоминанием о народах, населявших территорию нынешней Швеции, мы обязаны римскому историку Корнелию Тациту (ок. 55 — ок. 120), который в 44-й главе своего знаменитого произведения “Германия” <...> сообщает о племенном союзе свионов — жителей Свеяланда» [Рыбаков 1999: 15]. Согласно толкованию этого автора, который переводит *civitates* как общины, тип социально-политической организации свионов — это союз племен. Такое толкование вызывает некоторые сомнения: представляется, что общество свионов у Тацита отличалось более высоким уровнем социополитической сложности. Различные *civitates* свионов не только объединены общим надлокальным именем и общей деятельностью по обороне своей территории или по совместному ведению военных действий, морских или сухопутных: «...среди самого Океана, обитают общины свионов, помимо воинов и оружия, они сильны также флотом» [Там же: 16], но и имеют неограниченного правителя, титул которого Рыбаков переводит как «царь» (в шведских переводах — *конунг*), а в их обществе выделяются благородные люди и рабы.

Однако сложно перебросить мостик между свеонами Тацита и свеями из шведской истории. Категоричная локализация Рыбакова и помещение свионов в Свеяланд являются совершенно надуманными, поскольку, как было показано выше, само название Свеяланд очень позднего и несколько литературного происхождения. Но более всего смущает следующий момент. Свеоны, согласно описанию Тацита, производят впечатление мощной социально-политической организации: сильны на суше и на море, организованы под

властью неограниченного правителя, однако после упоминания их Тацитом о них не было никаких известий в течение... 500 лет! Ибо следующие упоминания о свеях (или тех, в ком наука видит свеев) появляются только в середине VI в. Готский историк Иордан, описывая легендарный остров Скандца, сообщал, что на нем проживали 28 народов. Среди них Иордан упомянул два народа: *Suehans* и *Suetidi*, в которых принято видеть свеев [Gahrn 1988: 42; Рыбаков 1999: 18–19]. *Suetidi*/Светиды отождествляются со словом *Svetjud/sveafolket* или «свеи/народ свеев», которое было обнаружено на ряде рунических камней Швеции (*suifiuþu*, *suifiuþu*, *suafiouþu*) [Gahrn 1988: 42, 45; Svennung 1967: 45] или упоминалось в «Саге об Инглингах» как название страны/местности (*Svíþóð*) — родины Одина, название которой он перенес на свою новую страну на севере Европы [Джаксон 1993: 65]. Здесь хочется заметить, что установление тождества светидов Иордана с *Svetjud* из исландских саг и, соответственно, со свеями выглядит весьма убедительным, тогда как *Suehans* могут быть каким-то другим народом относительно светидов и соответственно свеев. Но для данной статьи важно другое: упоминание Иорданом светидов/свеев ничего не дает для анализа социополитической организации свеев в VI в. Кроме свеев, Иордан называет и другие народы, среди них — те, которые воспринимаются современными исследователями как искаженные названия нынешних гётов: *Vagoth*, *Gautigoth* и *Ostrogothae* [Gahrn 1988: 25, 61, 167]. Однако никаких связей между ними и светидами/свеями не обнаруживается, то есть можно предположить, что каждая из названных Иорданом этнических групп существовала в виде отдельных общин, не объединенных в более сложные по структуре союзы.

Помимо Иордана, к авторам, донесшим до нас материал по ранней истории Швеции, относят византийского историка Прокопия Кесарийского (конец V в. — ок. 562 г.) и его работу «Война с готами». Прокопий рассказывает о большом острове Туле (*Thule*), на котором проживали 13 народов, и каждый из них имел своего короля (басилевса). Упоминаются гауты, герулы и скридс-финны (*Gautoi*, *Erouloi*, *Skritiphinoi*), свеев среди упоминаемых народов нет, но гауты общепринято отождествляются с гётами, поэтому дан-

ный отрывок из Прокопия причисляют к источникам по истории Швеции. В шведской историографии остров Туле отождествляется со Скандинавским полуостровом [Gahrn 1988: 26, 61, 155; Procopius 1953, 6: 15: 3. S. 415; 6: 15: 26. S. 421]. Рыбаков с уверенностью определяет Туле как Исландию: «Прокопий подробно описывает образ жизни скритифиннов (саами) и говорит о племени гаутов, или гавтов, то есть ётов (так в тексте передается имя *gǣtōw/gǣtar*. — Л.Г.), помещая все эти народы на остров Фулу (Исландия)» [Рыбаков 1999: 16].

Хочется заметить, что оба отождествления являются производной реконструкцией, и краткий отрывок из Прокопия не дает нам оснований видеть в нем материал для истории Швеции. Название легендарного острова Тула/Фула может быть отнесено ко многим ландшафтам, и у нас даже нет уверенности, сохранился ли этот ландшафт (или ландшафты — островов с этим именем могло быть несколько) до наших дней или, учитывая значительные геофизические изменения, которые переживали североевропейские широты на протяжении последних двух тысяч лет, он покоится на шельфе одного из морей Ледовитого океана. То же самое можно сказать и об этнонимах: они переносятся во времени и пространстве и переходят от одного народа к другому. Как отмечал австрийский медиевист Х. Вольфрам, множество европейских народов в древности и Средневековье носило имена готов и «свевов» [Вольфрам 2003: 35]. Поэтому, невзирая на сохраняющуюся общепринятость взглядов, рассматривающих сведения Тацита, Иордана и Прокопия как безусловную часть истории Швеции, полной уверенности, на мой взгляд, в этом быть не может.

Собственно, данная «общепринятость» тоже начинает подтачиваться ходом научного поиска. Взгляды, аналогичные моим, я нашла у шведского историка Д. Харрисона, который в одной из своих последних работ написал следующее: «Нет никакой возможности сказать, каким образом *Suiones* Тацита связаны с *Suehans* Иордана и со свеями викингского периода» [Harrison 2009: 35]. На мой взгляд, свионы, упомянутые Тацитом и потом исчезнувшие с исторической арены на 500 лет, могли в течение этого периода просто выступать под другим именем — в раннем Средневековье

народы часто выступали как под локальными, так и под надлокальными именами. Продолжая рассуждения о вышеприведенных источниках, следует заметить, что если связь светидов Иордана со свеями викингского периода была вполне убедительно обоснована в науке, то сам остров Скандца больше не связывается шведскими медиевистами со Скандинавским полуостровом. «Как письменные источники, так и археологические материалы показывают, что самые древние предки готов или, вернее говоря, те, кто ранее всего стал называть себя готами, в период около рождества Христова проживали в нынешней северной Польше. Они, разумеется, имели контакты с другими народами в регионе Балтийского моря, но мы никак не можем утверждать, что по своему происхождению они были выходцами со Скандинавского полуострова», — читаем мы у шведского историка Д. Харрисона [Ibid.: 25]. Аналогичное мнение высказывают шведские историки Т. Линдквист и М. Шёберг: «Определить, кто такие гёты, очень сложно. Именное сходство с готами привело к тому, что в XV в. стали полагать, что готы происходили из Гётланда. Это представление сыграло важную роль в укреплении национального самосознания в период его становления. Но в наше время мысль о том, что готы были выходцами из Скандинавии, очень дискуссионна. В науке были высказаны серьезные сомнения по этому поводу» [Lindkvist, Sjöberg 2008: 35].

Но если непосредственная связь этих источников с историей Швеции вызывает сомнения, то они интересны в типологическом плане, поскольку сохранили картины жизни и динамику развития в Северной Европе. Сообщение Тацита о свионах говорит о том, что их общины, объединенные надлокальным именем, связанные совместной военной деятельностью, организованные под властью неограниченного правителя и имевшие социальную стратификацию, представляли собой вождество достаточно высокого социально-политического уровня.

Социальная картина, которая угадывается за рассказами Иордана и Прокопия, как представляется, отражает более эгалитарные общества: названные ими народы живут изолированно друг от друга, в рамках отдельных общин, каждая со своим правителем. Не имея достаточно материала для того, чтобы углубляться в сравнительный анализ, можно все-таки

отметить, что опыт, накопленный при изучении вожеств, помогает объяснить эту динамику развития через явление «вторичной эгалитаризации» [Коротаев, Блюмхен 1991], относительно которой Н.Н. Крадин заметил, что этот феномен показывает, что даже в континентальном масштабе эволюция от безгосударственных обществ к государственным демонстрирует не только прямолинейное прогрессивное развитие, но и «зигзаги и отступления» [Крадин 1995: 15].

Несмотря на то что сведения Тацита, Иордана, Прокопия при ближайшем рассмотрении не обнаруживают прямой связи с историей Швеции, эти источники очень долго использовались для аргументации древних корней шведского политогенеза, причем в соответствии с существовавшими ранее взглядами для аргументации раннего генезиса шведского государства. Убежденности в том, что слова Иордана и Прокопия воспринимались как надежные свидетельства раннего образования шведского государства, хотя невозможно было доказать связь острова Скандца и тем более острова Туле с современной Швецией, способствовали, разумеется, и описанные выше традиции готицизма и рудбекианизма.

О шведском государстве в VI в. писали такие шведские исследователи, как историки К. Шэрна [Stjerna 1905] и С. Тунберг [Tunberg 1911], археолог Б. Нерман [Nerman 1925; 1941; 1956], историк О. Ольмарк [Ohlmark 1971] и др. Как развивались эти концепции в шведской исторической науке?

С государством отождествлялось понятие *«рикe»*, известное из средневековых источников, в частности из исландских саг, и означавшее территорию под властью одного короля, то есть королевство. Процесс создания *рикe* в шведской истории, как уже говорилось выше, представлялся процессом объединения свеев и гётов, при этом подразумевалось, что свеи сумели в более ранний период создать развитую политическую систему под властью одного короля и затем подчинить себе гётов (см. историографию: [Gahrn 1988: 13–17, 30–32; Lindkvist 1995: 1–2]). Основными источниками для этих исторических реконструкций служили англосаксонская эпическая поэма «Беовульф», где рассказывалось о победе свеев над геатами (*geater*), которых идентифицировали со шведскими гётами, и «Сага об Инглингах» из «Круга земно-

го» Снорри Стурлусона, то есть источники литературного характера, дававшие большой простор для свободных толкований.

Но уже в довоенный период в шведской историографии появляется и более критическое отношение к своей истории, подвергшее сомнению выводы, базировавшиеся на доверчивом отношении к литературным источникам и необоснованно архаизировавшие историю шведской государственности. Направление концептуального развития стало характеризоваться отходом от архаизации и перемещением хронологической планки образования шведского государства с отметки VI в. на XI в.

Какими аргументами мотивировали свои взгляды сторонники этой концепции? По мнению этой плеяды шведских историков, об объединении земель гётов и свеев под властью одного короля, что по-прежнему отождествлялось с рождением шведской государственности, можно было говорить не ранее XI в., то есть не ранее конца вышеупомянутого викингского периода, поскольку только с этого времени наука располагает более надежными историческими источниками. Среди ученых нового критического направления следует прежде всего назвать историков Лоренца Вейбуля [Weibull L. 1911; 1913; 1934], Курта Вейбуля [Weibull C. 1915; 1921; 1957; 1964; 1974], И. Андерссона [Andersson 1943], Е. Росэна [Rosen 1966; Carlsson, Rosen 1969].

Курт Вейбуль, в частности, указывал, что этноним “geater” из «Беовульфа» совершенно неправильно отождествлять со шведскими гётами. Он обращает внимание на то, что в сделанном по приказу Альфреда Великого англосаксонском переводе «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного этноним “geater” используется для передачи латинского “iuti”, то есть имени народа ютов. Кроме того, напоминает Вейбуль, эпос рисует *геатов* как народ морской, живущий на морском побережье, совершающий морские походы, например, в земли фризов, а все, что известно о шведских гётах, не дает оснований считать их морским народом. По его мнению, “geater” из «Беовульфа» — это юты, а не шведские гёты, и следовательно, вся картина о победе свеев над гётами уже в VI в., исходя из англосаксонского эпоса, рассыпается в прах, и у ученых нет оснований считать, что

с этого времени земли свеев и гётов объединились под властью одного короля [Weibull С. 1964: 14–15]. Помимо критического пересмотра письменных источников, представители данного направления использовали археологию. К. Вейбуль напоминал, что только к концу X в. археологические данные указывают на более стабильные взаимоотношения между землями свеев и западных гётов, что свидетельствовало о складывавшихся экономических предпосылках объединения «севера» и «юга» будущей Швеции.

Важным аргументом для К. Вейбуля в пользу его концепции был такой официальный документ, как договор о разграничении земель между конунгами данов и свеев. Этот договор со стороны Свеярики/Sweriki был засвидетельствован представителями не только старинных земель, составлявших ядро Свеярики: Тиундаланд / Tindælandi, Фьедрундаланд / Fiædrundælandi и Вэстманаланд / Væstmannælandi, но и земель западных и восточных гётов: Эстрагёталанд / Östrægötlandi и Вэстргёталанд / Væstrægiötland, а также представителем Смоланд / Smalandum. Данный документ, который Вейбуль датировал XI в., по его мнению, был надежным источником, отражавшим существование политического единства в Швеции в середине XI в., и актом государственной деятельности [Ibid.: 42–43]. Но текст данного договора заключал в себе хронологическую несообразность, поскольку был заключен якобы от имени короля свеев или упсальского короля Эмунда Слемме / Дурного (1050–1060) и короля данов Свена Вилобородого (986–1014), умершего, как видно, задолго до того. П. Сойер показал, что данный документ вполне мог быть составлен позднее, в XIII в. [Sawyer 1988: 165–170], следовательно, опираясь на этот источник, не удастся датировать период объединения земель свеев и гётов до середины XI в., то есть в рамках викингского периода. Таким образом, процесс критического переосмысления шведских исторических источников продолжал развиваться в направлении «омоложения» шведского политогенеза, но к этому вопросу я вернусь позднее.

Сторонники взглядов датировки образования единого шведского королевства в XI в. привлекли к анализу такой интересный материал, как титулатура шведских королей. К. Вейбуль, например, доказывал, что с первой половины XI в. мож-

но было проследить появление объединенного титула «король свеев и гётов», первым носителем которого, по его предположению, был Олоф Шётконунг (995 — около 1022) [Weibull С. 1921: 306–307, 348–358].

Здесь следует заметить, что имеющиеся в распоряжении ученых прямые источники не позволяют сделать такого вывода. Во время правления Шётконунга стала чеканиться монета, где сообщался и титул короля: «Олоф — конунг свеев (Olof, svearnas konung)». Монеты хранятся в собрании Королевского монетного кабинета [Lagerqvist 1976: 25]. Однако часть шведских исследователей пыталась опираться на косвенные данные, в частности на такой шведский источник, как латиноязычное «Житие святого Сигфрида (Vita S. Sigfridi)», составленное предположительно в начале XIII в. и освещавшее историю христианизации Швеции [Nordström 1934: 57; Schmid 1931; Рыбаков 2008].

Но к королевской титулатуре как источнику по истории шведской государственности обращались и другие исследователи. Шведский литературовед и историк общественной мысли Ю. Нордстрём обратил внимание на рассказ о том, что Олоф Шётконунг, после того как в Смоланде были убиты племянники проповедника христианства Сигфрида, под этим предлогом наложил запрет на использование титула *Rex Gothorum* и объявил законным только титул *Rex Sueorum*. Нордстрём не был уверен в том, насколько можно было доверять такому источнику, как «Житие святого Сигфрида», латиноязычному шведскому произведению начала XIII в., в достоверности сведений которого сомневались многие исследователи. Однако он полагал, что если и была какая-то правда в сведениях «Жития», то она отражала предпочтение шведских королей (независимо от того, как менялись властные отношения между свеями и гётами вплоть до этого постановления) титуловаться именем всемирно прославленного народа готов/гётов [Nordström 1934: 57] — образы готицизма долго владели воображением шведских ученых.

Позднее историк Л. Гарн заметил по поводу этой идеи Нордстрёма, что она слишком вольно толкует рассказ источника, поскольку фраза «...ne unquam ex tunc Rex Gothorum sed Sueorum debeat nominari», которую он переводил как «...с этих пор он никогда больше не будет именоваться коро-

лем гётов, а только королем свеев...», не позволяет точно определить, заменялся ли данным указом титул короля гётов на титул короля свеев или титул короля гётов изымался из сдвоенного титула «король гётов и свеев». Таким образом, убежден Гарн, нет достаточных оснований считать, что Олоф Шётконунг носил объединенный титул «король гётов и свеев».

Историк О. Лагерквист, продолжая дискуссию о титулатуре, высказал мысль о том, что сын Шётконунга, вошедший в историю под двойным именем Анунда-Якоба (1022–1050), после смерти отца был провозглашен конунгом свеев и гётов [Lagerqvist 1976: 26]. Вероятно, он исходил из того, что и Олоф Шётконунг, и сам Анунд-Якоб проводили много времени в Западной Гёталанд, в королевском имении Хюсаби (Husaby), вынужденные покинуть Свеяланд, когда их изгоняли за приверженность к христианству, согласно рассказу Снорри Стурлусона [Ibid.: 32]. Однако такой надежный источник, как монеты, которые чеканились и при Анунде-Якобе, показывает, что Анунд-Якоб носил только титул «король в Сигтуне» [Lagerqvist 1970: 34–36], что соответствовало титулу короля свеев.

От XI в. остались источники, которые говорят о возможном сохранении в этот период отдельного титула короля гётов. Имеются два послания Папы Григория VII (1073–1085), которые представляют интерес в связи с вопросом о титулах шведских королей. Одно из писем от 4 октября 1080 г. адресовано «I., glorioso Suetonum regi», что принято читать как «Инге, достойному королю свеев» (Инге Старший правил примерно в 1079–1100 гг. и был ревностным христианином). Второе письмо от 1080–1081 гг. адресовано двум королям-соправителям, титулованным как «Wisigothorum gloriosis regibus...», имена которых, как правило, толкуются как Инге Старший и Хокан (предполагаемый соправитель Инге Старшего), а обращение переводится как «достойным королям западных гётов...» [Lagerqvist 1976: 42; 1996: 43; Gahrn 1988: 187]. Следует оговориться, что причина, по которой Папа использует титул *wisigothorum regibus*, не ясна, и по мнению некоторых ученых, не обязательно свидетельствует о наличии отдельного титула «король гётов» в этот период. Нордстрём, например, полагал, что этот титул — просто

историческая витиеватость и красивый оборот речи в духе трудов архиепископа Исидора Севильского [Lindroth 1961: 35–36] с целью напомнить шведским правителям о лестном историческом родстве с испанскими визиготами — основоположниками испанского королевства [Nordström 1934: 57].

Гарн напоминал, что содержание данного письма Папы не связывает его напрямую со Швецией, что применение имени *готов* носило в то время очень расплывчатый характер и что под Готией (и ее правителями) могли также понимать Данию или Ютландию [Gahrn 1998: 187]. В официальных документах во время правления короля Эрика Эрикссона (1222–1229, 1234–1250) встечается выражение «*populus wissigottorum*» относительно западных гётов, но непонятно, было ли это отражение исконной шведской традиции или адаптация латинских *Vesgoti*, *Væsgothi* применительно к шведским реалиям [Svennung 1967: 70–71].

Шведский историк М. Чельберг исследовал вопрос об использовании королевских титулов в шведских официальных средневековых документах, появившихся в середине XII в. Ему удалось установить, что в основном использовались титулы *rex sveorum*, *rex Swechie* и подобные формулировки, указывающие только на титул короля свеев. Сводный титул *rex Sveorum et Gothorum* с указанного периода и до времени правления короля Магнуса Ладулоса (1275–1290) был зафиксирован 5 раз, и только с 1279 г. «сдвоенный» титул *rex Sveorum et Gothorum* становится правилом [Kjellberg 1902: 7–9, 18–21]. Постепенный процесс утверждения сдвоенного титула отражался и в практике международного общения. В письме Папы Александра III (1105–1181) архиепископу в Упсале Стефану от 5 августа 1164 г. титул правителя Швеции обозначен как *regis Sweorum et Gothorum*. Но в другом письме Папы шведскому епископу от этого же года Свеяланд и Гёталанд обозначены как отдельные области: «...tam in Suetia videlicent quam in Gothia...», то есть «...как в Швеции / Свеяланд, так и в Готии / Гёталанд...» [Svennung 1967: 71].

Подводя итог рассуждениям шведских медиевистов о титулатуре шведских конунгов, историк Л. Гарн заметил, что источники довольно четко отражают динамику ее развития. Наиболее ранние источники говорят только либо о титуле конунга свеев, либо называют конунга по его резиденции:

конунг в Упсале, конунг в Сигтуне, то есть все эти сведения говорят о королевской власти, локализуемой в земле упландских свеев. Со второй половины — конца XII в. имя гётов также включается в королевский титул, но не очень часто. И только с 1279 г. величание короля конунгом свеев и гётов становится правилом. По мнению Гарна, эти факты показывают, что свеи раньше гётов создали сильное этнополитическое образование в шведской истории. Гарн напомнил, что средневековый датский историк Саксон Грамматик (ум. в нач. XIII в.) знал свеев и гётов как два разных народа и подчеркивал, что гёты были менее заметным народом (*obscurior populus*), чем свеи. Правда, Гарн оговаривался, что Саксон довольно уничижительно отзывался также и о свеях как о народе незначительном, просто гёты, по мнению Саксона, были еще менее значительным народом [Gahrn 1988: 110–111].

Не останавливаясь на этих оценках средневековой датской историографии, свидетельствовавших о ранних истоках датско-шведского соперничества, дополню вышесказанное собственным выводом. Все известные источники, которые освещают историю объединения земель свеев и гётов, включая и сведения о титулатуре шведских конунгов, говорят о том, что этот процесс был очень длительным и, вероятно, завершился только к концу XIII в., что и закрепилось в сдвоенном титуле конунга свеев и гётов. Следует также добавить, что только в середине XIV в. в Швеции появилось первое общегосударственное уложение законов, которое заменило множество провинциальных законов. Свод законов был разработан по распоряжению короля Магнуса Эрикссона (правил в 1319–1364 гг.). До этого каждая область Швеции управлялась своими провинциальными законами: Вэстгёталаген (*Västgötalagen*) — законы Западной Гёталандии (старшая редакция около 1220 г.), Эстгёталаген (*Östgötalagen*) — законы для Восточной Гёталанд и острова Эланд / *Öland* (зафиксированы предположительно в 1290 г.), Гуталаген — законы для Готланда (возможно, 1220 г.), Уппландслаген (*Upplandslagen*) — законы для восточной части Свеяланд (средней Швеции) Уппланд и входившей в неё Гэстрикланд, зафиксированы в 1296 г., а также другие законы [Ibid.: 25].

Все это говорит о том, что попытки доказать образование шведского государства в XI в. также не подтвердились источниками. Лагерквист, как бы подводя итоги длительной дискуссии об уровне социополитического развития Швеции в середине XI в., так охарактеризовал этот период: «Анунд-Якоб (1022–1050) стал королем. Многие говорят о том, что власть носила наследный характер, но каких-то органов власти / управления не было — это надо обращаться в XIII в., а власть короля была ограничена. Он был командующим ледунга во время войны и мог требовать поддержку от свободных крестьян в случае нападения врагов. Король возглавлял ритуалы жертвоприношения в Упсале до тех пор, пока короли не стали принимать христианство. Налогов не существовало. Доходы королю и его войску шли из упсальских угодий, то есть с казенных подворий, которые управлялись королевскими прислужниками, получавшими часть доходов за службу» [Lagerqvist 1996: 36].

Современный исследователь проблем шведского социо- и политогенеза Т. Линдквист также уверен, что только со второй половины XIII в. королевская власть в Швеции стала выступать «...как форма относительно тонкой политической организации, как государственная власть. Именно в этот период выросли привилегированные благородные сословия с точно определенными правами и обязанностями нести службу в пользу короля и общества. Кодификация и запись законов, а также упорядочивание политических институтов — вот что характерно для данного периода. На рубеже XIII–XIV вв. королевская власть и молодые сословия духовной и светской знати представляли собой государственную власть. Конец XIII в. был завершением того специфического и длительного исторического процесса социальных преобразований, характерных для Швеции в тот период, который в соответствии с традиционной терминологией может быть назван как переходный от викингского периода к раннесредневековому» [Lindqvist 1995: 4–5].

Т. Линдквист пользуется также понятием «*раннее государство*», оговаривая, что оформление государственности включает такой критерий, как создание «территории под властью единого политического руководства», отмечает, что те признаки, которыми характеризуется раннее государство,

складывались в Швеции в период XI–XIV вв., то есть по завершении викингского периода [Ibid.].

Эти же взгляды он развивает и в одной из своих последних работ, написанной совместно с Марией Шёберг. Опираясь на «Житие святого Ансгара», епископа Гамбурга и распространителя христианства в Северной Германии, Дании и Швеции, побывавшего в 830 г. со своей миссией в Бирке и запечатлевшего социальные и политические отношения у свеев, Т. Линдквист пишет, что территория свеев состояла из целого ряда мелких владений, не имевших определенной структуры или иерархии, властные полномочия короля были ограничены народным собранием; какой-либо централизованной или верховной королевской власти не существовало, в силу чего невозможно определить степень ее влияния на жизнь общества. Примерно такую же картину, подчеркивает Т. Линдквист, рисует нам и хронист Адам Бременский в 1070 г. по прошествии более чем 200 лет [Lindkvist 1995: 4–12; Lindkvist, Sjöberg 2008: 23–33].

Итог традиционным исканиям начал шведского политогенеза подвел историк Дик Харрисон: «...у Иордана, Кассиодора и Прокопия <...> создан образ Скандинавии, для которого характерно наличие множества мелких политических единиц <...> совершенно невозможно реконструировать политические границы областей в вендельский или викингский периоды, исходя из названий, встречающихся в источниках XIII–XIV вв. <...> Область, которая в шведской историографии обычно оказывается в центре рассуждений о власти и королевстве в дохристианскую эпоху, — это Упланд. Кроме этого, область Упланд всегда была фавориткой археологов. В сравнении с Эстергётланд (Östergötland) и с Вэстергётланд (Västergötland) археологическая изученность Упланд неизмеримо выше, поскольку там проводилось намного больше раскопок. Исследование Упланд насчитывает несколько столетий, и оно часто воспринималось чуть ли ни как дело государственной важности. В период великодержавности в XVII в. или в период развития националистических тенденций в XIX в. Упланд рассматривалась как колыбель шведской государственности, а короли из “Саги об Инглингах” короновались как общешведские древние монархи. <...> Сегодня наука отбросила эти заблужде-

ния как анахронизм и отправила их на свалку истории, хотя время от времени они появляются в туристских брошюрах или в устаревших исторических обзорах. На самом деле мы не можем даже с определенной уверенностью использовать известные сегодня названия областей применительно к суждениям о Вендельском или Викингском периодах. Название *Упланд* мы впервые встречаем только в 1296 г. в связи с принятием свода Упландских законов. До этого внутриконтинентальная часть будущей области распадалась на три небольшие земли или на три так называемых *фолькланда* (folkland от folk — ‘народ’ и land — ‘земля’): Атгундаланд, Фьедрундаланд и Тиундаланд. <...> Конкретные структуры власти — вождества, мелкие конунгства и группировки военных предводителей — запечатлелись не только в европейских хрониках, но и благодаря средневековым наименованиям этнических групп, а также благодаря архаичным названиям в сельской местности. <...> Когда-то история о свеях и гётах не вызывала проблем. <...> Обычным для историков и археологов было представление о том, что гёты и свеи создали свои политические и военные организации, конфликтовавшие друг с другом. Свеи, согласно этой гипотезе, подчинили себе гётов и дали имя объединенному королевству Свеярике — Швеция. Сейчас мы в это не верим, поскольку это ничем не подтверждается <...> ни один источник не упоминает это завоевание. <...> Только в течение XII–XIII вв. термин “*свеи*” стал означать членов той политической системы, которая располагалась к северу от Кольморден и Тиведен, а термин “*гёты*” закрепился за остальным населением королевства, прежде всего за теми крупными владельцами, которые входили в сферу архиепископств в Скаре и в Линчёпинге...» [Harrison 2009: 26–36].

Из вышеприведенного видно, что все многовековые попытки отыскать истоки шведской государственности на отрезке времени с VI по XI в. потерпели неудачу, что не только весь викингский период, но и какое-то время после него политогенез³ в Швеции, согласно современному анализу шведских ученых, не выходил за рамки догосударственных форм. Собственно еще и К. Вейбуль подчеркивал, что в рассматриваемый им период X–XI вв. ход политической эволюции в Скандинавских странах (он имел в виду Данию и Швецию)

не вел к стабильности: системы власти создавалась и вскоре разваливались. Только к концу X в. датскому королю Харальду Гормссону, напоминает Вейбуль, удалось упрочить королевскую власть. В Швеции процесс шел еще медленнее, поскольку там географический фактор был еще сложнее. Регионы обладали большой самостоятельностью, и король был единственным связующим звеном между ними. Временами власть принадлежала нескольким королям. Даже в конце XII в. жители Сконе выбирали собственного короля [Weibull S. 1921: 344–347, 360].

Определение нижней временной границы для образования государства в Швеции актуально в рамках данной статьи, поскольку тем самым определяется верхняя временная граница для позднепервобытного периода в шведской истории, что уточняет хронологические рамки, в которых следует рассматривать ранние формы политической организации в истории Швеции. Период с середины VI в. (с так называемого вендельского периода по названию Вендельской церкви к северу от Упсалы — места, прославившегося богатыми археологическими находками) и до конца XII — начала XIII в. многие шведские ученые рассматривают сейчас в рамках концепции вожества. Выше уже были названы имена Т. Линдквиста и Д. Харрисона, далее будут приведены и другие имена.

Концепция вожества, с 1960-х гг. разрабатываемая в западной политической антропологии, в конце 1970-х — начале 1980-х гг. была воспринята шведскими археологами. Освоение нового подхода вылилось в дискуссии о ранних формах социально-политической организации в архаических обществах, прежде всего скандинавских. Поскольку часть территории Дании охватывалась процессами развития вожеств эпохи бронзы в Европе, то и дискуссии о вожествах начались в первую очередь с этого периода и при активной роли датских археологов. Шведский археолог Хиенстранд отметил, что понятие *вожества* (*hövdingadöme*) было введено в скандинавскую археологию в рамках дискуссий об эпохе бронзы в южной Скандинавии [Hjernerstrand 1982: 182]. Важной в рамках этой дискуссии стала работа датского археолога К. Кристиансена (ныне работает в Швеции) о роли внутренних и внешних факторов в образовании

небольших вожеств в южной Скандинавии [Kristiansen 1981]. Лотте Хедеагер, исследовавшая захоронения на таких островах в Балтийском море, как Зеландия и Лоллан, выделила римский импорт и определила появление в этом регионе довольно развитого общества в период раннего железного века (римского), проведя его сравнительный анализ с латенской археологической культурой (V–I вв. до н. э.). Она определила, что в этих обществах существовали один главный центр и несколько меньших, подчиненных ему. По мнению Хедеагер, стимулом к развитию такой социополитической структуры послужила крупномасштабная международная торговля, маршруты которой простирались вплоть до Римской империи. Конкуренция между правителями из-за стремления взять ее под свой контроль вызвала к жизни процесс политического объединения вокруг территориального ядра и как следствие — военный контроль над другими областями и их вождями, создав как территориальную, так и постстарную иерархию. Хедеагер предполагает, что Зеландия могла сыграть роль такого главного центра, откуда осуществлялся контроль за международной торговлей, например за пушниной и кожей [Hedeager 1978]. Интенсивное изучение датскими археологами проблематики политогенеза в архаичных обществах продолжилось в 1980–90-е гг. Особую роль в этом процессе сыграл проект «От племени к государству (Fra stamme til stat)». В рамках проекта были написаны, например, работы Ульфа Нэсмана [Näsman 1988; 1993], в которых рассматривались вопросы о том, какие интересы подвигали к созданию государства, какие различия следовало видеть в понятиях «*рикe/королевство*» и «*государство*» и пр. По мнению Нэсмана, военная и политическая гегемония данов в период Великого переселения народов распространилась на все народы южной Скандинавии, и в вендельский и викингский периоды (то есть с VI по XI в.) рике/королевство данов было, несомненно, самым сильным политическим фактором в Скандинавии [Näsman 1993: 34].

Изучение ранних форм политической организации в архаичных обществах интенсифицировалось и в шведской науке 1980-х гг. Понятие *вождества* (*hövdingadöme*) стало играть важную роль в дискуссиях по этой проблематике. Точкой отсчета для данных дискуссий были по-прежнему

сообщения Тацита о свеонах, но в свете новых взглядов эти сообщения рассматривались уже как материал о догосударственных структурах: племенное общество в той форме, как это показано у Тацита, или общество, разделенное на многие «мелкие конунгства» [Huestrand 1982: 197; 2001: 37–38, 74]. Такой подход хорошо согласовывался и с выводами датских археологов о догосударственных обществах на территории Дании, сложившихся еще в эпоху бронзы.

Дискуссии периода 1970–1980-х гг. в Швеции развивались под сильным влиянием взглядов Э. Сервиса с его концепцией социополитических организаций, которые располагаются в порядке увеличения сложности и составляют эволюционную последовательность, и М. Фрида, который в основу своей концепции эволюции общества положил фактор растущего неравенства среди людей и выделил три уровня сложности в догосударственный период: эгалитарное общество, ранжированное общество, стратифицированное общество. Под влиянием этих неоеволюционистских концепций была написана работа К. Кульберга, Й. Енсена и Е. Миккельсена о системах обмена в истории Скандинавии в архаический период [Cullberg, Jensen, Mikkelsen 1978]. Теории социальной эволюции соединены в ней со взглядами известного теоретика в области экономической антропологии К. Поланьи и его концепцией о развитии хозяйства в первобытных обществах, где, согласно Поланьи, доминировали реципрокность и редистрибуция.

Хиенстранд отмечал, что связь между вождеством и редистрибуцией или централизованным перераспределением ресурсов стала в 1970–80-х гг. «классическим» исходным пунктом при обсуждении социальной проблематики догосударственных обществ. Но обращалось внимание и на то, что понятие «редистрибуция» неоднозначно и его связь с вождеством достаточно сложна. Хиенстранд ссылался, например, на работы Т. Ёрла, в которых подчеркивалось, что товары, которые циркулировали в позднепервобытных обществах в соответствии с редистрибутивными принципами, первично использовались для мероприятий, находившихся в руках элиты, поэтому данная экономическая система была неразрывно связана со становлением социально-политической системы страны [Huestrand 1982: 197–198; 2001: 74–75].

Но вернемся к конкретной исторической тематике по проблемам шведского политогенеза, на которой мы остановились, и попробуем понять, как ее изучение в рамках концепции вождества привело к такому результату, что прежние многолетние устои шведской историографии, опиравшиеся на образ союза свеев и гётов как основы эволюционного пути к формированию шведской государственности, стали подвергаться сомнению и пересмотру.

Концепция вождества, как известно, внесла в изучение политогенеза понимание того, что это длительный эволюционный процесс, а не простой рывок из первобытности в государственность, как это понималось в эпоху Просвещения и законсервировалось в научной мысли вплоть до послевоенного времени. Введение понятия вождества как надобщинной политической структуры позволило по-новому взглянуть на традиционные типы социально-политической организации и показать нелинейность, многоплановость социополитической эволюции.

Для шведских ученых в этом смысле важное значение получила дискуссия о соотношении вождества и племени (tribe). В шведской историографии, привычно ведущей отсчет исторического времени от Тацита и Кассиодора, камнем преткновения было в рамках линейной эволюционной схемы обосновать чрезмерно растянутый во времени, замедленный путь движения к шведской государственности.

При новом подходе с учетом нескольких типов альтернативных политических форм слишком упрощенным стал представляться взгляд на племя как на категорию, ассоциирующуюся в первую очередь с архаичными обществами охотников-собирателей. По мнению археолога Хиенстранда, понятие «племя» могло использоваться для социально-экономических характеристик других этапов первобытности и других уровней политической сложности. В качестве примера брались те же Тацитовы свионы, которые были явно племенами, постоянно проживающими на определенных территориях в скандинавский период железа, но имели и надлокальную центральную власть, то есть выступали как вождество. В этом случае понятия «племя» и «вождество» сливались. Поэтому вряд ли правомерно, полагал, например, Хиенстранд, рассматривать вождество как следующую ста-

дию развития племенного общества. Последнее характеризовалось как довольно аморфно организованное общество без политической иерархии, но с четкими клановыми структурами и религиозными группировками, что могло служить основой для возникновения новой системы вождей и перераспределения, изменяющейся во времени и пространстве. Важное значение в этой связи получал вопрос о том, как археологические критерии могут быть использованы для подтверждения различных теоретических выводов о социополитических организациях первобытных обществ [Cullberg, Jensen, Mikkelsen 1978: 15 ff; Hyestrand 2001: 75].

Идеи об альтернативных путях эволюционного развития привели, в частности, к выводам о том, что надобщинная централизация в форме вожества могла сменяться децентрализацией системы, что необязательно вело к «регрессу» или «упадку», поскольку децентрализация в иных случаях сопровождалась ростом общей социокультурной сложности [Бондаренко, Гринин, Коротаев 2006: 21].

Этот вывод представляется очень продуктивным применить к отмеченной специфике замедленной, растянутой во времени социополитической эволюции в шведской истории вендельского–викингского периодов, на что в той или иной степени не раз обращали внимание шведские исследователи [Weibull С. 1921: 344–347; 1964: 42–52; Gahrn 1988: 29–30; и др.]. Проблема в том, что у исследователей имеется немало данных о том, что, с одной стороны, с VI в. некоторые регионы на территории современной Швеции, в частности область Мэларен, переживали экономический подъем, но, с другой стороны, эти положительные экономические предпосылки не влияли на процесс политической интеграции как в данном регионе, так и в остальной части Швеции на протяжении многих столетий даже в рамках сравнительно небольших территорий: та же область Мэларен — маленький ареал по сравнению с большинством политий на европейском континенте.

Какими данными располагает наука об экономической ситуации в области Мэларен в период с VI по IX вв.? Курт Вейбуль, основываясь исключительно на археологических данных, отмечал, например, что к концу периода Великого переселения народов явно увеличивается богатство / коли-

чество археологических находок в области Мэларен, особенно на территории будущей Упланд. Это позволило Вейбулю сделать вывод о том, что с этого периода данная область выделилась как важный жизненный центр, что он связывал с разработками месторождений железной руды в Упланд и близлежащих областях, на основе которых развилась торговля железом [Weibull С. 1922: 30, 42–43]. К аналогичному выводу через много лет пришел Хиенстранд, но вместо определения «жизненный центр» он использовал понятие «вождество»: «Торговля и ремесло, базировавшиеся на значительном импорте металла, и богатые захоронения представителей элиты говорят о том, что в области Мэларен имелось множество вождеств уже начиная с позднего бронзового века. Некоторые археологические находки наводят на предположение о том, что в период Великого переселения народов — вендельский период жизнь в области Мэларен носила достаточно организованные формы. Нет оснований искать здесь королевство с центральной властью, как заверяли представители старших поколений ученых. Но можно предполагать, что там существовала свободная федерация развитых вождеств» [Hyenstrand 1982: 202, 215]. Хиенстранд предполагает наличие общности, межполитийные связи внутри которой держались на экономических связях. Его исследования показывают, что уже в вендельский и последующий викингский периоды в Даларне (к северо-западу от оз. Мэларен), а также к востоку от нее — в Гэстрикланд и Хэлсингланд — производилось железо в количествах, которые превосходили собственные нужды этих малонаселенных местностей. Это было явно производство на рынок, для удовлетворения спроса торговых центров, которые Хиенстранд видит в областях вокруг озера Мэларен [Hyenstrand 1974a: 153; 1974b: 208; 2001: 102].

Классическим примером свидетельств экономического благоденствия населения в землях будущей Упланд в вендельский период являются археологические находки из погребальных комплексов в ладье, датируемых от VI в. Значительное их количество найдено на территории Упланд, самые знаменитые — из населенных пунктов Вендель и Вальсгерде неподалеку от Упсалы. Инвентарь из этих могильников очень богат и содержит парадное оружие —

художественно украшенные шлемы, щиты, мечи и др., пиршественные наборы, орудия труда — кузнечные наборы и пр. [Лебедев 1974; Nyenstrand 2001: 92–104; Harrison 2009: 14–15]. И при таком благоприятном экономическом развитии нельзя отметить тенденций к политической интеграции. Напротив, исходя из археологических данных, и сама область Мэларен не была гомогенна, а состояла также из множества «подрегионов».

Аналогичная картина отмечена и в других частях Швеции в вендельский и викингский периоды: самостоятельные регионы со своими центрами, вокруг которых группировались отдельные округа, образуя некие межполитийные общности. Кроме «федерации» вокруг Мэларен, ученые выделяли в качестве отдельного региона области западной Швеции. В частности, Вэстергётланд представляла, согласно Хиенстранду, отдельный регион, который, имея экономические связи в юго-западном направлении, был естественно интегрирован с соседними регионами будущей Дании [Nyenstrand 1982: 215–216]. В восточной Швеции в качестве отдельного региона выделялся Эстергётланд, где богатые археологические находки периода римского железа и большие курганы отражали, по мнению Хиенстранда, наличие стратифицированного общества [Nyenstrand 2001: 30–32].

Кроме «линий экономической передачи» (определение Хиенстранда), вышеозначенные межполитийные общности, исходя из археологических данных, были связаны и решением задач обороны. К оборонительным мероприятиям принадлежали сигнальные костры, которые подготавливались заранее из составленных шатром бревен и другого горючего материала на возвышенных местах, так чтобы от одного зажженного костра был виден другой. Костры зажигались сигнальщиками в связи с приближением противника, и весть об этом довольно быстро распространялась среди населения. Данная сигнальная система была в основном рассчитана на оборону при нападении с моря. В память об этом, например, по всему восточношведскому побережью — от Упланд на севере до Блекинге на юге — остались топонимы, в названиях которых сохранилось слово *bötar*, которое в восточной Швеции означало «сигнальный костер» (другое обозначение — *vårdkasar*): Högböte, Munkböte, Bötanabben, Böttesberget

[Harrison 2009: 31]. Помимо сигнальных костров, в узких заливах и проходах устанавливались ловушки и заграждения, например, в дно вбивали сваи или ставили другие заграждения, препятствующие чужим судам свободный вход в гавань. Правда, Харрисон оговаривает, что подобные заграждения использовались не только для обороны от врагов, но и с целью защиты своих вод от рыболовного браконьерства. К сооружениям оборонного характера принадлежат и крепостные сооружения, стены и валы, остатки которых сохранились в некоторых регионах Швеции [Ibid.: 33].

Естественно, вышеназванные мероприятия требовали какой-то кооперации населения. Шведские историки старших поколений стремились видеть в этих свидетельствах косвенные доказательства организаторской роли королевской власти [Nerman 1925: 21; Wessen 1969: 30; Svennung 1974: 66]. Однако в последние годы проявилось более критическое отношение к таким умозрительным заключениям, поскольку оказалось невозможным определить хронологические границы для данных мероприятий. Сигнальные костры упоминаются, например, в таких источниках, как исландские саги и Упландские законы, но это источники позднего времени. Иными словами, ни письменные источники, ни археологические материалы не дают возможности установить, к какому времени относятся вышеупомянутые формы оборонной кооперации, на какие территории они распространялись и какие властные структуры отвечали за их организацию: королевская власть или какие-то другие институты [Gahrn 1988: 31]. Даже сама идея «внешней угрозы» в качестве довольно известного фактора политической интеграции в других странах может оказаться недействительной для шведской истории. Археолог Сюне Линдквист обратил внимание на то, что захоронения вендельского периода, например в Вальсгерде, содержащие множество предметов роскоши, не были разграблены. Кроме того, рядовые захоронения, относящиеся ко всему вендельско-викингскому периоду, имеющиеся почти при каждом населенном пункте, оказались непо потревоженными [Lindqvist 1952: 345–353]. С. Линдквист в традициях своего времени строил на этом выводы о том, что уже в вендельский период существовало сильное шведское королевство с центральной королевской властью,

обеспечивавшее стабильность и защиту территории. Сейчас мы знаем, что ничего подобного не было, соответственно, неразграбленные места погребений могут означать только то, что на эти территории никто не напал. Свои соображения по этому поводу я поясню далее.

Все вышеперечисленные свидетельства межобщинной или межполитической кооперации, как уже говорилось, не сделались фоном или побудительными мотивами стремления к политическому единству, причем на протяжении многих столетий. Шведские ученые сходятся во мнении, что на раздробленной территории Швеции вендельско-викингского периода имелось множество мелких правителей — конунгов и хёвдингов / вождей, причем в рамках каждого из исторических регионов. К такому выводу приходит, в частности, Гарн [Gahrn 1988: 36].

Анализируя богатство погребального инвентаря в вендельский период, Харрисон делает тот же вывод: «В VII в. не существовало политического единства, которое хотя бы отдаленно напоминало о средневековом государстве. Хёвдинг из Вальсгерде слыхом не слыхал слова “Свеярике / Швеция”» [Harrison 2009: 15]. «Иными словами, — подводит итог Хиенстранд, — никогда не существовало какой-то одной “шведской” древности, вместо это было много “древностей”, много различных социальных организаций, много племенных сообществ, много вожеств и т.д. Но парадоксальным моментом является то, что в науке пока не предпринимались попытки систематизировать, дать определение и описать локальные формы общественных организаций, а также всего того, что касается их пространственных границ, внутренних связей и социально-экономических систем. Наилучшим образом изученной является южноскандинавская эпоха бронзы. Группы курганов и локальные скопления находок позволяют подразделить Данию-Сконе на вожества в эпоху бронзы, по крайней мере, в качестве гипотезы. Значительная по площади территория Швеции представляет собой полосу, равную по протяженности расстоянию между Лондоном и Будапештом, и локальные и региональные различия были настолько значительны, что можно говорить о совершенно различных социально-экономических системах, часто — по соседству друг с другом» [Huyenstrand 1982: 11–12].

Для меня очевидно, что вышеотмеченная длительно сохранявшаяся раздробленность территории, сохранение автономности отдельных регионов и общин являются спецификой шведской истории и фактором, который следует принимать во внимание при исследовании социополитической эволюции в Швеции. Но чем он был обусловлен?

Многие шведские ученые называют в качестве причины влияние природной среды — сильно пересеченный рельеф местности (горные и лесные массивы, множество водоемов и пр.) создавал естественные преграды для развития коммуникаций, причем тоже неравномерно: некоторые области в Швеции были более изолированы, чем остальные, что влияло на их развитие.

Однако если повернуть это суждение другой стороной, то можно сказать, что на обозримых исторических отрезках времени количество населения в Швеции было недостаточным, чтобы преодолевать сложности ее географического фактора. В развитие этого предположения следует посмотреть на то, какими данными в исследовании демографической проблематики располагает наука.

Среди множества вопросов, которые шведские ученые стали обсуждать в связи с принятием концепции вожества, к изучению была подключена и демографическая проблематика, а именно — исследования таких факторов, как численность населения, а также количество и типы поселений в начальные периоды шведской истории (вендельский и викингский периоды) в различных исторических регионах Швеции.

Следует напомнить, что среди механизмов, движущих социальную эволюцию, численность населения и его рост являются одними из важнейших. Рост населения как фактор, влияющий на изменения в социополитических структурах, рассматривал Э. Сервис [Service 1975; 1978]. Р. Карнейро считал важнейшими механизмами политической эволюции рост численности населения и демографическое давление в условиях ограниченности среды [Карнейро 2006: 59–67]. Х. Классен отмечал, что для формирования сложного стратифицированного общества необходима достаточная численность населения. «Необходимое количество управленцев, слуг, придворных, священников, солдат, земледельцев, торговцев и т.д. можно обеспечить, если население исчисляется тысячами.

<...> Такая большая численность людей — членов одного общества — имеет некоторые следствия, самым важным из которых является потребность в более развитых формах управления...» [Классен 2006: 76–77]. Л.Е. Гринин характеризует вопрос о размерах политий как имеющий важное значение в социальной эволюции, поскольку «...чем больше населения в политике, тем выше (при прочих равных условиях) сложность устройства общества, поскольку новые объемы населения и территории могут требовать новых уровней иерархии и управления...» [Гринин 2006: 107]. Применительно к шведской истории исследованиями динамики демографического развития в течение I тысячелетия занимались такие шведские ученые, как О. Хиенстранд [1982; 2001], Б. Амбросиани [Ambrosiani 1964; 1973], К.-Х. ивен [Siven 1981], С. Велиндер [Welinder 1975; 1977; 1979] и др.

Хиенстранд для определения количества населения Швеции использовал археологический материал эпохи позднего железа (550–1050), в частности, обширный материал из захоронений. Хиенстранд подчеркивал, что такая характеристика, как определение количества населения, является фундаментальной при анализе социальных отношений в архаичных обществах. Основное внимание он уделил области Мэларен — историческому ядру шведского государства, — куда входит Упсала и современный Стокгольм и которая часто выступает синонимом для исторического политонима Свеярике. Данная область была хорошо обеспечена археологическим материалом и другими источниками для реконструкции заселения этого ландшафта в вендельский и викингский периоды. В своих исследованиях Хиенстранд исходил из сравнительного анализа количества погребений, количества населенных пунктов и исторических аналогий. Количество известных и зарегистрированных захоронений в области Мэларен доходило до 240 тыс. Хиенстранд предположил, что с учетом предложенного Амбросиани числа 2,2 как средней величины прироста можно было посчитать, что к концу XI — началу XII в. на территории находилось порядка 500 тыс. захоронений. Если распределить это число во времени на протяжении исследуемого археологического возраста в 25 столетий, то есть с 1400 до н.э. и до 1100 н.э., то получался результат в 20 тыс. захоронений в столетие.

Чисто гипотетически, по его мнению, можно было благодаря сопоставлению числа захоронений и числа поселений, выявленных археологами, а также используя исторические аналогии реконструировать количество населения в конкретной области в интересующий исторический период. Хиенстранд использовал данные археологических исследований Амбросиани, согласно которым количество поселений в районе Мэларен к концу викингского периода, то есть к середине XI в., достигало 4 тыс. Структура поселений к концу викингского периода была представлена отдельными дворами, то есть мелкими производительными единицами с одной семьей, иногда с двумя. Приняв число членов семьи за 10, Хиенстранд получил 40 тыс. человек населения, предположительно проживавшего на основных территориях области Мэларен к концу викингского периода [Hyenstrand 1982: 163–170]

Предпринимались и другие методы реконструкции, некоторые из которых Хиенстранд приводит в своей работе. Например, делались допущения, что захоронения отражали только часть количества населения. Могло иметься значительное число производителей, которые не захоранивались в соответствии с обычными нормами, отдельные детские захоронения были ограничены, области могли иметь отток населения, которое захоранивалось в других местностях и пр. Но Хиенстранд находил подобную аргументацию неубедительной.

При использовании исторических аналогий Хиенстранд продемонстрировал следующий ход рассуждений. По документам XIV в., общее число населения страны до эпидемии чумы, которая разразилась в Швеции к середине этого столетия (1350 г.), было 650 тыс. чел. Со ссылкой на подсчеты С. Сундквиста, который сообщал, что население области Мэларен к XVII в. насчитывало 205 тыс. человек, Хиенстранд высказал логичное предположение о том, что в XIV в. население области Мэларен было меньше 205 тыс. и что вполне реалистичным представляется количество в 150 тыс. человек. Если это количество принять за исходное, то с учетом принятых коэффициентов расчета, на начало XI в. получаем число около 45 тыс., что примерно соответствовало расчетам Хиенстранда, основанным на археологических

данных. Более точных расчетов, считает Хиенстранд, сделать не удастся [Huyenstrand 1982: 170–171; 2001: 137–140].

Подобная реконструкция количества населения с учетом коэффициентов прироста населения и смертности проводилась и относительно других регионов. На начало XI в. для Восточной Гёталанд / Östergötland предполагают 6 500 человек, для Западной Гёталанд / Västergötland — 5 700, для Смоланд / Småland — 7 800, Халланд / Halland (юго-западное побережье) — 1 200, Бохуслен / Bohuslän (севернее Халланда, там, где современный Гётеборг) — 3 тыс., Блекинге / Blekinge (часть южного побережья к востоку от Сконе) — 600 человек, Эланд / Öland (остров, вытянувшийся вдоль юго-восточного побережья Швеции) — 1 700, Дальсланд–Вэрmland / Dalsland–Värmland (запад средней Швеции, на границе с Норвегией) — 1 300, Нэрке / Närke (в центре средней Швеции, известна как часть Свеяланд, с юго-востока граничила с Восточной Гёталанд) — 890, Хэльсингланд / Hälsingland (расположена к северу от Упландии, упоминается Адамом Бременским как область, расположенная к северу от свеонов и населенная скридфиннами, то есть саамами) [Adam av Bremen 1984: 221] — 690 человек [Huyenstrand 1982: 174].

Если проанализировать данные по численности населения, то можно сказать, что данная численность, скажем, в области Мэларен не только к концу, но и в начале викингского периода (предположительно 30 тыс. чел.⁴) уже сама по себе могла бы быть достаточной для того, чтобы обеспечить разные уровни политической интеграции вплоть до оформления административного аппарата, выделившегося из общества, то есть численность была достаточной для образования даже раннего государства. Это подтверждается известными примерами. Так, Классен приводит примеры самых маленьких ранних государств Таити, население которых насчитывало порядка 5 тыс. человек [Классен 2006: 76]. Гринин отмечает, что 5 тыс. человек — это «самый-самый нижний предел для раннего государства. Это пограничная зона, поскольку и стадияльно догосударственные политии могут иметь такое и даже большее население. Особенно если речь идет о переходном периоде, когда догосударственное общество уже почти созрело к тому, чтобы перейти этот рубеж. С таким населением раннее государство появиться может, но

для этого нужны особо благоприятные условия, чаще всего наличие рядом других государств» [Гринин 2006: 109]. Далее Гринин приводит данные других авторов о численности населения малых ранних государств, часть из которых интересно упомянуть здесь, поскольку численность населения в них дополняется данными о площади проживания этого населения: «Дьяконов приводит интересные данные о предполагаемом населении городов-государств Двуречья (“номовых” государств, как он их называет) в III тыс. до н. э. Население всей округи Ура (площадью 90 кв. км) в XXVIII–XXVII вв. до н. э. составляло предположительно 6 тыс. чел. <...> Размер **типичного** (выделено автором. — *Л.Г.*) государства в Центральной Мексике накануне испанского завоевания составлял 15–30 тыс. чел. <...> А население одного из крупных государств майя I тысячелетия н. э. — города Тикаля с округой — составляло 45 тыс. человек (в том числе 12 тыс. чел. в самом городе), а площадь его равнялась 160 км²» [Гринин 2006: 109–110].

Из этих данных видно, что все малые государства образовывались в условиях «скученности» проживания его населения: либо это были островные территории, либо городские, то есть территории, занимающие небольшие, ограниченные площади. Население шведских исторических регионов в вендельско-викингский период было рассеяно на гораздо больших пространствах и в отсутствии городской среды. Вычисitanное Хиенстрандом количество населения в 40–45 тыс. человек, имевшегося в области Мэларен (куда обычно включают регионы Упланд, Сёдерманланд и Вэстманланд) к началу XI в., проживало на площади примерно 29 987 км². Данные взяты из современных справочников, где площадь исторической области Упланд составляла 12 676 км², Сёдерманланд — 8 388 км², Вэстманланд — 8 923 км². Даже если учесть, что площадь Упланд в XI в. была меньше в силу того, что часть прибрежной полосы в этом регионе «прирастала» с течением времени за счет поднятия дна Балтийского моря, все равно площадь области Мэларен состояла из тысяч квадратных километров, а не из сотен, как это было в малых государствах из вышеприведенных примеров. Исторические области Швеции в вендельско-викингский период не были гомогенны по своей внутренней

структуре. Хиенстранд выделял в области Мэларен 12 под-регионов, на каждый из которых приходилось более 3 тыс. человек населения. Если многие из этих подрегионов, как указывают шведские исследователи, были отделены от соседей труднопроходимыми пустошами, то мы получаем естественное объяснение замедленного характера социополитической эволюции в Швеции. Карнейро назвал подобный фактор влияния, как вскользь упоминалось выше, теорией природных ограничений и подчеркивал, что «мы спокойно можем включить концентрацию ресурсов и средовую ограниченность как факторы, ведущие к войнам за землю и, значит, к политической интеграции над уровнем общины» [Карнейро 2006: 65]. Соответственно, если средовая ограниченность отсутствует, то отсутствуют или являются ослабленными и стимулы к политической интеграции над уровнем общины.

Данная мысль хорошо подкрепляется интереснейшими исследованиями шведского археолога Б. Амбросиани о типах поселений как данных по вендельско-викингской истории Упланд. На основе археологических данных Амбросиани пришел к выводу о том, что на социально-политическое развитие этой области большое влияние оказал такой геофизический феномен, как поднятие грунта дна Балтийского моря в течение всего послеледникового периода и за счет этого — постоянный прирост береговой полосы Упланд. Возможность заселять новые участки побережья обуславливала появление новых крестьянских дворов за счет отселения части семей на новые участки. Этот процесс осуществлялся на протяжении многих столетий.

Особенности геофизического развития прибрежной части Упланд настолько интересны в общеисторическом контексте, что на них стоит остановиться подробнее, тем более что данная часть Упланд связывается и с древнерусской историей, поскольку носит название Руден / Рослаген и в течение примерно трех столетий предлагается норманистами в качестве «прародины» Руси⁵.

Следует напомнить, что Ботния в районе шведской прибрежной акватории начиная с послеледникового периода обнаруживает любопытный феномен постепенного подъема морского дна и прирастания за счет этого подъема новой

суши, новой береговой полосы. По исследованиям шведских ученых, уровень моря в районе, где сейчас расположен Рослаген, был как минимум на 6–7 м выше нынешнего. Даже в XI–XII вв., как пишет исследовательница из Упсалы Карин Калиссендорф, уровень моря был на 5 м выше, чем сейчас. Нынешнее озеро Мэларен было открытым заливом моря, а значительная часть береговой полосы была островками, более или менее выступавшими из воды [Calissendorf 1986: 11]. На рис. 1 (см. вклейку) на примере моста Вэстербрун показаны изменения уровня моря: высота моста — 26 м, поэтому этот мост взяли за эталон. Красные отметки: самая верхняя 25 м — уровень 2000 лет до н.э.; 10 м — 0 год; около 1000 г. н.э., то есть XI в., — 5 м. Таким образом, на картинке показано, как суша в прибрежной полосе восточной Швеции постепенно «вырастала» из моря (ср. с картой на рис. 2), и что в IX в. она почти полностью была под водой. Стокгольм — южная оконечность исторической области Руден.

Ниже приводятся фрагменты из сводной таблицы с данными об изменениях уровня водной поверхности в районе Мэларен, чуть севернее Риддар-фьорда, отсюда и разница в уровнях в один и тот же период: подъем суши не происходил равномерно в разных областях [Om Mälaren].

Время	Факты (относительно уровня воды)
1000 лет до н.э.	Около 14 м выше современного уровня
ок. 1000 (XI в.)	6–7 м выше современного уровня
ок. 1100 (XII в.)	Начинает формироваться мыс. За счет поднятия дна образовался порог, разделивший протоку в районе Старого города на два рукава: Сёдерстрём и Норрстрём
ок. 1200 (XIII в.)	Морской залив превратился во внутренний водоем. Береговая линия на 4 м выше, чем сегодня
1248/1266	Время правления Биргера Ярла и основание Стокгольма

Тот факт, что область Руден/Роден только к XIII в. стала представлять территорию с условиями, пригодными для регулярной человеческой деятельности, подтверждается как современными геофизическими исследованиями, так и данными источников. В научной литературе не раз указывалось на то, что название «Руден» впервые упоминается в Швеции в 1296 г. в Упландских областных законах, в котором одним

из указов короля Биргера Магнуссона повелевалось, что все, кто живет в Северном Рудене, должны следовать данным законам. В форме «Roslagen (Rodzlagen)» это название (также в текстах законов) появляется только в 1493 и далее в 1511, 1526 и 1528 гг. Как общепринятое название оно закрепилось еще позднее, поскольку даже при Густаве Вазе было в употреблении называть эту область Руден [Ljising 1953–1955 / 1998: 4–8; Dahlbäck, Jansson, Westin 1972].

Первые достоверные сведения о прибрежной области на востоке Свитьод, ставшей впоследствии областью с названием Roden / Roslagen, мы получаем от Снорри Стурлусона, который в 1219 г. побывал в Швеции и получил от своих информантов ценные сведения о Свейской стране (Svthiod или Sveavälde в шведских переводах), в частности об ее административном делении, которые он привел в «Саге об Олаве Святом» («Круг земной»). Там сообщается, что собственно Свитьод состоит из пяти частей и что пятая часть — это Sjöland / Sæland, к ней же относится все, что лежит в море к востоку от нее («...den femte Sjöland och det som ligger därtill. Det ligger österut med havet») [Snorri Sturluson 1911: 36 ff.].

Было время, когда шведские исследователи, искавшие доказательства того, что название «Руден» существовало ранее, пытались убедить, что Снорри Стурлусон, говоря «все, что лежит к востоку в море», мог иметь в виду Руден. В некоторых шведских переводах «Саги об Олаве Святом» даже вместо Sjöland / Sæland смело подставлялось Руден⁶. Но название Sjölan / Sæland — это не Руден и таковым быть не могло. Sjöland (от sjö — ‘море’ и land — ‘земля, страна’), или нем. Seeland — это «мореландия», то есть уже не море, но еще и не земля. Это архипелаг, состоящий из островов, островков, выступающих над водной поверхностью, это суша в процессе образования. На ней еще мало и кустов, и деревьев, на ней еще так мало почвы, что ее покрывают лишь мхи и немного травы, стелющейся по каменистой поверхности и непонятно как цепляющейся за нее корнями. Эти островки — еще не земля, это ее костистая основа, выпирающая из воды и греющаяся под тусклым северным солнцем. В этом царстве камня еще нет места для кипучей человеческой жизни. Только редкие рыбацьи хибарки могли

закрепляться на влажной поверхности каменных выступов, хранящих борозды, оставленные на них ледниками (см. рис. 3–5). Вот что такое Sjöland / Seeland. Это, собственно, не топоним: это синоним архипелага — группы островов, не получившей еще собственного имени.

Данные Снорри Стурлусона — важное свидетельство того, что даже в его время прибрежная полоса будущего Рудена находилась в процессе формирования. Только к концу XIII в. части этого архипелага могли стать местом жительства для населения в таком количестве, которое уже представляло интерес и для королевской власти. Поэтому и потребовался вышеупомянутый указ 1296 г., в котором предписывалось, что отныне на население Северного Рудена будет распространяться тот же закон, которому подчинялось и население трех основных областей / земель (фолькланд) Упланд, а именно: Тиундаланд, Аттундаланд и Фьедрундаланд, известных с XI–XII вв. В книге [Nordström 1990: титул] приведены карты двух прибрежных областей (Тиундаланд и Аттундаланд), где пунктиром обозначена граница этих областей в XI в., отделявшая их от островной части (ср. с рис. 6). Из названий на картах видно, что освоение земель шло в направлении из внутриконтинентальных исторических областей к прибрежно-островной части, когда каждая из этих областей осваивала сначала свой Руден — свой стан для гребных судов, и только с самого конца XIII в. северная часть прибрежной полосы получила некий отдельный административный статус. Никаких реальных сведений о самостоятельных «помориях» с великим прошлым шведская история не имеет

Вывод напрашивается сам собой: только к самому концу XIII в. природные условия прибрежной полосы позволили включить для начала ее северную часть как новую административную единицу государства и объявить ее население подвластным королю свеев. Но, как обратил внимание П.М. Лийсинг, в выборах короля свеев по-прежнему участвовали только представители трех старых земель, но не население Рудена, которое, видимо, все еще не представляло, как бы сейчас сказали, интересного или сильного электората. Это простое объяснение того, почему названия *Руден* и *Рослаген* имеют позднее происхождение: имя появилось тогда, когда образовалась эта земля.

Проблема специфики геофизического развития восточного побережья Швеции известна давно, по крайней мере, шведским исследователям, и в последние десятилетия в шведской науке все активнее изучается влияние этого фактора в исторической ретроспективе. Однако полноценному использованию данных геофизики в шведской историографии явно мешает наследие мифов готицизма и рудбекианизма, отводивших местности Рослаген величественную роль уже в древности. Исторические химеры неохотно покидают человеческое сознание, которое до последнего пытается примирить величественные умозрительные картины воображаемого исторического прошлого с реальными данными современного научного опыта. Подобным эклектизмом проникнуты работы шведских историков старших поколений. Например, С. Тунберг (в 40–50-е гг. XX в. он был одним из ведущих шведских историков) писал, что невозможно понять начальный период шведской истории (в его определении, *äldsta Svetjuds historia*, с использованием названий из исландских саг), не приняв во внимание специфику географического развития области Упланд. Центр, откуда, на его взгляд, расходились лучи колонизации в южном, юго-восточном, восточном и северо-восточном направлениях, находился на границе между Упланд и Вэстманланд (современное западное побережье оз. Мэларн), то есть в глубине континентальной части, а не на побережье. Такая динамика определялась, пояснял Тунберг, естественными геофизическими факторами, в силу которых суша здесь медленно поднималась из моря и постепенно принимала те очертания, которые мы видим сегодня. Об этом свидетельствует даже само название — *Упланд*, что означает возвышенность вдалеке от моря, от побережья, то есть Упланд — это земля к северу от Мэларен и вокруг его изрезанного заливами побережья, напоминал Тунберг.

Эти географические и культурно-географические предпосылки оказывали, по его убеждению, существенное влияние на политико-административное развитие области Упланд. Когда юная *Svetjod* стала создавать свои морские силы, то они, скорее всего, изначально организовывались на базе трех внутренних земель (*folkland*): Тиундаланд, Аттундаланд и Фьед-

рундаланд. Но с течением столетий географическая основа Свеяланд изменялась. Прибрежная часть все больше поднималась из моря и становилась достаточной для заселения ее людьми и возделывания. Области Тиундаланд и Аттундаланд получили новые территории, что благоприятно сказалось на их развитии. Показательно, что поначалу новая прибрежная полоса рассматривалась как земля общего пользования и управлялась в соответствии с этим [Tunberg 1947: 10–12].

Изучение взаимодействия природных условий и исторического развития области Упланд получило интенсивное развитие с 60-х гг. прошлого века. Однако этот процесс обнаружил определенные особенности, отмеченные шведским историком-медиевистом Йораном Дальбеком, который занимался изучением области Руден. В статье «Подъем суши и освоение самых северных областей Упланд» он отмечал, что проблематикой подъема суши в прибрежной части Упланд занималось много шведских исследователей, но все они были либо представителями естественных наук, либо археологами, «... историки же не придавали большого значения данному феномену. <...> Но надо констатировать, что для различных частей прибрежной полосы, прежде всего для Упланд и Норланд <...> он играл значительную роль. При изучении северного Рудена мне стало очевидно, что изменения в соотношениях между водой и сушей должны были сыграть очень большую роль в истории освоения прибрежной полосы Упланд <...> основная часть той географической области, которую мы исследовали, довольно поздно поднялась со дна моря, и таким образом, возраст ее поселений намного моложе внутриконтинентальных поселений Упланд. Это обстоятельство повлияло естественным образом на развитие хозяйственной и политико-административной жизни данной области» [Dahlbäck 1972: 69].

Невнимание шведских историков к такому фактору, как позднее образование области Руден / Рослаген, носит скорее психологический, чем историографический характер. То же можно сказать и о российских скандинавистах-историках, в работах которых рассмотрению фактора подъема суши и прирастания благодаря этому новой береговой полосы восточной Швеции, насколько я могла заметить, внимания не уделялось⁷. Однако нельзя не согласиться с Дальбеком в том,

что данный фактор должен был существенным образом сказаться на всем социально-политическом процессе развития данной области, как минимум в хронологическом плане. И это хорошо подтверждается исследованиями шведских ученых последних лет, посвященными проблемам политогенеза в Швеции, где большую роль сыграли результаты археологических исследований области Упланд. Возвращаясь к этим исследованиям и прежде всего к работам Амбросиани, который подсчитал количество захоронений и сравнил эти данные со средними данными смертности для ранне-средневековых обществ. На основе полученных результатов он пришел к выводу о том, что основным типом поселения в викингский период в Упланд были одиночные обособленные дворы, а не деревни. Только в период, переходный после викингского, то есть самое раннее в конце XI в., стала появляться более плотная застройка и/или поселения типа малых деревень. До тех пор пока подъем грунта при упландском побережье давал новые участки земли, могло идти образование новых дворов, не требующее дробления старых дворов. Когда процесс образования новых земель замедлился, старые подворья стали разделяться на части и постепенно превращаться в деревни [Ambrosiani 1964: 209–210, 214, 223, 229–231]. Амбросиани также показал, что большее количество крупных дворов и так называемых королевских усадеб (*хусбюяр/husbyar*) хуторского типа, принадлежавших королю в целях содержания или размещения его самого и королевской свиты, было сосредоточено именно в областях, образованных за счет подъема грунта в более ранний период. Амбросиани сделал вывод о том, что короли с большей легкостью могли заявлять свои права на эти участки общинной собственности и присваивать себе часть участков, подаренных природой [Ibid.: 215–218, 231].

Выводы Амбросиани о типах поселений подкрепили исследования другого шведского археолога У. Спорронга. Он, исследуя историю развития поселений в Швеции, также пришел к выводу о том, что почти весь викингский период, а именно до начала XI в., основным типом застройки в области Мэларен был отдельный крестьянский двор, и только с начала XI в. начинают появляться коллективные поселения типа деревень. Направление развития организационных

тенденций в упорядочивании застройки поселений, распределении пахотных земель шло из внутриконтинентальных территорий к побережью. Центрами данных процессов в восточной Швеции были Эстергётланд, Нэрке и Фьедрундаланд. Название «Упланд», появившееся в Упландских областных законах, постепенно вытеснило и заменило прежние названия фолькландов (рис. 6).

В других частях Упланд, таких как Аттундаланд, организационные тенденции проявляются только ближе к концу викингского периода, а прибрежная полоса Руден начала вовлекаться в этот процесс еще позднее, не ранее конца XI в., поскольку Руден был почти не заселен в викингский период, население этой области стало прибывать только в последующие периоды [Sporrong 1971: 100, 102, 104, 195–196].

Выше уже отмечалось, что российские скандинависты сохраняют более консервативный подход в анализе социополитической эволюции в шведской истории. Подтверждением этому служат работы Е.А. Мельниковой (написанные совместно с В.Я. Петрухиным), посвященные анализу поселений типа *хюсбю/husaby*. Эти поселения рассматриваются авторами как свидетельства укрепления королевской власти в Швеции, что должно рассматриваться, по их мнению, как важный шаг в сложении шведской государственности. Поскольку в современной шведской медиевистике вопрос о *хюсбю* на протяжении последних десятилетий ставится совершенно иначе, считаю нужным остановиться на этой теме несколько подробнее. В статье «Формирование сети раннегородских центров и становление государства (Древняя Русь и Скандинавия)» [Мельникова, Петрухин 1986: 63–77] вышеупомянутые авторы писали следующее: «С VIII в. в Скандинавии наряду с тунами — племенными центрами возникает новый тип поселения, носивший название *hus(a)by*. В настоящее время известно около 70 раннесредневековых *хюсбю* в Швеции (преимущественно в Свеяланде), 46 — в Норвегии, 9 — в Дании. Они рассматриваются как королевские усадьбы, управлявшиеся слугами конунга (*bryti*) и предназначенные для сбора дани с местного населения, в первую очередь в продуктовой форме, отчего именно *хюсбю* были местом остановки конунгов и их дружины во время постоянных переездов по подвластной территории. Све-

дения о королевских усадьбах, относимые уже к VII в., нередко в сагах. Формирование системы хюсабю в Свеяланде «Сага об Инглингах» прямо связывают со становлением Упсальского удела (Uppsala öd) — королевского домена.

В силу сложившегося типа расселения королевские усадьбы являлись поселениями хуторского типа <...> Наибольшая концентрация топонимов хюсабю отмечается на территории Упсальского удела. Нередко они расположены поблизости от границ сотен (херадов), то есть возникали на ранее неосвоенных землях <...> Формирование сети хюсабю как опорных пунктов королевской власти свидетельствует об усилении последней и ее стремлении закрепить за собой глубинные районы подчиненной территории, о ее противодействии племенным формам общественной организации, что означает важный шаг в сложении государственности» [Там же: 68–69]. Взгляды Мельниковой и Петрухина относительно *хюсбю* в шведской истории совпадают со взглядами шведских ученых, но только со взглядами шведских ученых старшего поколения, которые, как показано выше, находились под сильным влиянием готицизма и рудбекианизма и пытались удревнять шведскую историю в соответствии с мифами рудбекианизма. Совпадение во взглядах касается прежде всего времени возникновения *хюсбю*.

Такие шведские историки и археологи 20–40-х гг. прошлого века, как О. Альмгрен [1920], Б. Нерман [1932], С. Линдквист и др., относили появление *хюсбю* к VII в., так же, как это делают Мельникова и Петрухин. И современные российские авторы, и шведские учёные старшего поколения опирались исключительно на «Сагу об Инглингах» и на рассказы о том, что легендарный конунг Брет-Анунд (Braub-Önundr), жизнь которого шведский археолог Нерман относил как раз к VII в. (умер, согласно Нерману, в 640 г.), строил королевские подворья (О Брет-Анунде / Энунде см. также: [Джаксон 1993: 51–54, 220–221]).

Однако многое изменилось в шведской медиевистике за последние десятилетия, особенно на новом этапе ее развития, начиная с 1970–80-х гг., как было показано в данной статье. Я определила бы динамику этого развития как размифологизирование шведской истории, освобождение ее от

«причуд фантазий» прежних времен. Коснулись эти перемены и взглядов на *хюсбю*. Возникновение *хюсбю* никто больше не относит к таким отдаленным временам, как VII в. Уже археолог Кейт Вийкандер (Keith Wijkander), исследовавший южную часть области Мэларен, выдвинул в 1983 г. предложение относить появление *хюсбю* в Швеции к XII в. Он обнаружил, что не прослеживается привязка между большинством *хюсбю* и захоронений в исследуемой области. Это привело его к выводу о том, что *хюсбю* устраивались на основе более старинных поселений и, следовательно, датировка их появления — более сложный вопрос. Вийкандер пришел к убеждению о том, что *хюсбю* в Швеции явились не результатом длительного внутреннего исторического процесса, а возникли где-то в XII в. и просуществовали довольно короткий период [Wijkander 1983].

Археологи М.Г. Ларссон и Б. Амбросиани, исследуя типы административного деления, высказали сходные предположения о том, что появление *хюсбю* можно отнести к X в. [Ambrosiani 1985: 35; Larsson 1987: 48 ff.]. Однако через несколько лет М.Г. Ларссон, исследуя рунические камни, обнаруженные на территории *хюсбю*, пришел к выводу о том, что *хюсбю* могли возникнуть в период, следующий за возведением рунных камней, то есть не ранее, чем в XI — начале XII в. [Larsson 1997: 183].

Современная шведская исследовательница Анн Линдквист, обобщая результаты изучения феномена *хюсбю*, вынуждена была признать, что более чем столетняя история изучения этого вопроса с использованием филологических, исторических и археологических данных пока не дала ответов на два основных вопроса: о времени возникновения *хюсбю* и их назначении. Только в форме гипотез, напоминает она, высказывались предположения о том, что *хюсбю* были местами сбора дани и выполнения судебных функций. Однако материала, прежде всего археологического, было недостаточно. Некоторые ученые пытались исходить из филологических соображений, истолковывая первую часть слова *husa-* в значении административного центра, как, например, Л. Хельберг [Hellberg 1979].

Были попытки связать слово *husa-* с понятием *visthus*, то есть ‘продуктовый склад’, и таким образом доказать, что *хюс-*

бю были пунктами сбора продуктовой дани, которая складировалась и использовалась для содержания короля и его окружения в период их наездов [Ståhle 1948]. Но как отмечает Анн Линдквист, определенная система сбора дани или налогов в пользу королей сложилась в Швеции не ранее XIII в. Более ранние системы даней и поборов носили региональный или местный характер, то есть находились в руках общин или объединений общин. Так было, например, в области Мэларен, где известны коллективные поборы для содержания местного флота. Поэтому, согласно наблюдениям А. Линдквист, все высказанные гипотезы, пытавшиеся конкретизировать функции *хюсбю* в качестве растущих центров королевской власти как центральной, не обеспечены источниками. Другие попытки привязать их к известным военно-административным единицам (*hund*, *hundare*, *skeppslag*) показали, что некоторая часть *хюсбю* позволяет обнаружить такую связь, другая часть выпадает из нее. Например, в некоторых частях Упланд в рамках системы сотен — *hundare* — на одну сотню приходилось по две *хюсбю*, а в других не было ни одной. В одних регионах области Мэларен существовало подразделение на сотни — *hundare*, но не было *хюсбю*, а в регионе Нэрке / *Närke* были обнаружены четыре *хюсбю*, но этот регион, как известно, не входил в систему сотен [Lindkvist 2003: 323–350].

Приведенный краткий историографический обзор проблематики, связанной со шведскими *хюсбю*, показывает, что ее изученность в шведской медиевистике пока не позволяет делать каких-либо категорических выводов о том, какую роль данная система поселений играла в истории шведского политогенеза. На фоне данного обзора выводы вышеупомянутой работы Мельниковой и Петрухина выглядят не только безнадежно устаревшими, но и обнаруживающими прямую генетическую связь с историографической традицией мифологизации шведской истории. Современные исследования не подтверждают масштабные выводы этих авторов как о том, что *хюсбю* были предназначены для сбора дани с местного населения, так и их ранний генезис.

Поскольку вопрос о природе *хюсбю* находится по-прежнему в процессе исследования, позволю высказать собственное предположение о генезисе этого явления. В «*Sage об Инглингах*» рассказывается, что Фрей, приняв правление

после Ньёрда, построил в Упсале большой храм и сделал его главным местом своего пребывания. В дар храму Фрей принес все свои богатства и земли, и от этого дарения возникло Упсальское угодье / *Uppsala öd* (Мельникова переводит его как «Упсальский удел», что, по-моему, не совсем корректно, поскольку вызывает слишком прямые исторические параллели с терминологией средневековой русской истории, которые редко бывают оправданы. Как мне представляется, точнее передавать *öd* словом «угодье»)⁸.

Система *хюсбю* отождествляется с понятием *Upsala öd* / *Упсальское угодье*, которое прирастало за счет возникновения новых *хюсбю*. Судя по всему, за метафорическими образами «Саги об Инглингах» стоит рассказ о системе дарообмена (реципрокности), типичной для обществ на архаичной стадии социо- и политогенеза. Архаичные системы могут возрождаться в рамках явления «вторичной эгалитаризации» (см.: [Коротяев, Блюмхен 1991]), что вполне вписывается как в общую картину политогенеза в шведской истории, так и объясняет непонятное появление *хюсабю* в течение короткого периода в XII в.

Выводы

1. Исследования проблематики шведского политогенеза осложнялись давней традицией мифологизировать шведскую историю.

2. Точкой отсчета в исследованиях шведского политогенеза служили события, отражающие отношения между двумя этносоциальными союзами на территории Швеции — свеями и гётами, позволяющими определить время их объединения под властью одного правителя, что отождествлялось с образованием шведского государства.

3. В русле названной традиции анализировались античные и раннесредневековые источники, в которых, как предполагалось, упоминались свеи и гёты. С опорой на Тацита, Иордана, Прокопия, эпос «Беовульф» и исландские саги исходным рубежом для политической истории Швеции определяли либо время Тацита, либо середину VI в. Данные этих источников рассматривали как бесспорные свидетельства раннего возникновения шведского государства — рике.

4. В довоенный период в шведской историографии появилось критическое отношение к архаизации истории шведской государственности, формирование которой, по мнению ряда ученых, следовало относить только к середине XI в. Но при новом взгляде процесс образования шведского государства растягивался на тысячелетие, поскольку свионы Тацита по-прежнему определяли точку отсчета, а образование государства по-прежнему связывалось с объединением земель свеев и гётов.

5. Попытки исследовать шведский политогенез преимущественно через объединение земель свеев и гётов показали со временем, что эта концепция недостаточно подкреплена источниками, что сам политогенез был более растянут во времени, чем это предполагалось ранее, и что объединение свеев и гётов является важным, но не единственным фактором социополитической эволюции.

6. Все попытки доказать объединение земель гётов и свеев ранее, чем в XII–XIII вв., не увенчались успехом. Выявилось, что и сама территория свеев вплоть до XI в. не представляла прочного объединения с надлокальной властью (Т. Линдквист, Д. Харрисон).

7. С конца 1970-х — начала 1980-х гг. в шведской науке была воспринята концепция вожества, начавшая развиваться в западной политической антропологии с 60-х гг. Под влиянием новых взглядов и концепций о ранних формах политической организации прежние устои шведской историографии, такие как союз свеев и гётов — основа формирования шведской государственности, стали подвергаться пересмотру.

8. Исследование шведского политогенеза на новой теоретической основе привело к пониманию того, что путь к шведской государственности был весьма долгим, а его формы не выходили за пределы догосударственных образований как в течение всего вендельско-викингского периода (VI–XI вв.), так и столетие после него. По мнению шведского археолога Хиенстранда, вопрос о конкретных организационных формах в рамках шведских исторических регионов является недостаточно изученным.

9. Замедленный характер шведской социополитической эволюции в значительной степени определялся, на мой взгляд, спецификой демографического развития и слабым влиянием

такого фактора, как средовая ограниченность, а также особенностями самой природной среды, в частности геофизическими факторами развития.

¹ Гёты и свеи — названия этнических общностей, определяемых часто как племена и племенные объединения, на территории средневековой Швеции. Свеи и гёты явились основными этносоциальными субъектами в процессе формирования государства в Швеции. Название Швеции происходит от имени свеев: Svea rike, или Королевство свеев. Имя гётов прослеживается в названиях таких исторических областей, как Вэстергётланд (Västergötland) с городом Гётеборгом, и Эстергётланд (Östergötland).

² В истории Швеции особо выделяется викингский период / Vikingatiden (800–1050), за которым следует средневековый период / Högmedeltiden (1050–1389).

³ В соответствии с предложением Д.М. Бондаренко, Л.Е. Гринина и А.В. Коротаева, под термином «*политогенез*» я понимаю «...процесс формирования сложной политической организации любого типа, что выглядит более обобщенным также и с точки зрения этимологии: слово *politeia* в античной Греции обозначало политический порядок любого типа, а не только государство» [Бондаренко, Гринин, Коротаев 2006: 27].

⁴ В работе Хиенстранда приводится более обширная демографическая статистика области Мэларен, в рамках которой для показа динамики демографического развития приводятся данные начиная с первых веков н.э.: 100 г., 500 г. и 1050 г., то есть конец эпохи железа в Швеции и конец эпохи викингов. В области Мэларен на начало н.э. (100 г.) предположительно было 3 тыс. человек, к началу VI в. (500 г.) — 9 500 и, соответственно, к концу викингской эпохи, как было приведено в тексте статьи, 40/43 тыс. [Huenstrand 1982: 174]. Но тогда в IX в. в самой населенной части Свеяланда могло быть, при равных благоприятных условиях, не более 30 тыс. человек. Мы не располагаем данными о том, какие земли еще находились под рукой короля свеев. Известно только, что процесс объединения вокруг упсальской династии проходил медленно, и был растянут на столетия. Вероятнее всего, ядро свейских земель не выходило за пределы области Мэларен. Но страна, общее число населения которой, включая стариков, больных, женщин и детей, составляло не более 30 тыс., явно не могла обеспечить ни материальными, ни человеческими ресурсами те грандиозные походы в Восточную Европу, которые грезятся современным норманистам.

⁵ Одним из основных аргументов для доказательства вышеприведенного утверждения является лингвистический экзерсис с конструированием имени «*Русь*» из др.-сканд. слов с основой на **rofs-*, типа

гоÞsmrđr, гоÞskrl со значением «гребец, участник похода на гребных судах», что, по мнению норманистов, связывает происхождение имени «Русь» со шведским Рослагеном через посредство финского названия Швеции Ruotsi, Rootsi, для чего предлагались возможные исходные формы: др.-шв. Rōdhsin — название жителей области Рослаген (Roslagen < *Roþslagen, совр. Руден — Roden) на восточном побережье Швеции из др.-герм. *rōds... [Мельникова, Петрухин 1989: 24–38; 1991: 296–304], но ни одна из них пока не была обнаружена. Однако лингвистика здесь не может играть решающей роли, поскольку данная земля или прибрежная полоса, получившая название Руден в конце XIII в., не только в IX в., но и в X в. как физико-географический субъект практически не существовала.

⁶ Например, в шведском издании С. Стурлусона в переводе Эмиля Ольсона (см.: [Norges Konungasagor. 1–3. Snorre Sturlusson / översatta av Emil Olson. Lund, 1919–1926. Kapitel 77: «Om landsindelning och lagar i Svithiod»]) вместо Sæland / Sjöland Э. Ольсон подставил Roden, выдавая желаемое за действительное.

⁷ Факт довольно позднего образования (не ранее XI–XII вв.) прибрежной полосы Руден / Рослаген как физико-географического объекта делает бессмысленными лингвистические усилия норманистов использовать эти топонимы для производства некоего «походного названия» (В.Я. Петрухин) выходцев из этой местности, которое уже якобы в IX в. могло превратиться в имя Руси.

⁸ Слово *öð* (исл. и др.-норв. *auðr* и др.-восточносканд. *øð*) в современном шведском переводится как *rikedom* / *богатство*.

Бондаренко Д.М., Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2006. Альтернативы социальной эволюции // РГАА.

Вольфрам Х. 2003. Готы. От истоков до середины VI века (опыт исторической этнографии). СПб.

Грот Л.П. 2008. Гносеологические корни норманизма // ВИ. 2008. № 8.

Грот Л.П. 2009. Генезис древнерусского института княжеской власти // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории старого света (Труды Государственного Эрмитажа. XLIX). СПб.

Грот Л.П. 2010а. Утопические истоки норманизма: мифы о гиперборейцах и норманизм // Изгнание норманнов из русской истории. Вып. 1. М.

Грот Л.П. 2010б. Путь норманизма от фантазии к утопии // Изгнание норманнов из русской истории. Вып. 2: Варяго-русский вопрос в историографии. М.

Джаксон Т.Н. 1993. Исландские королевские саги о Восточной Европе. М.

- Карнейро Р.Л.* 2006. Теория происхождения государства // РГАА.
- Классен Х.Дж.М.* 2006. Было ли неизбежным появление государства? // РГАА.
- Кортаев Н.Н., Блюмхен С.И.* 1991. Введение. Узловые проблемы социологии развития архаических обществ // АО. Ч. I.
- Крадин Н.Н.* 1995. Вождество: современное состояние и проблемы изучения // РФПО.
- Лебедев Г.С.* 1974. Шведские погребения в ладье VII–XI веков // Скандинавский сборник. Вып. XIX. Таллин.
- Мельникова Е.А.* 2008. Свеаланд и Гауталанд: формирование древнешведского государства в региональной перспективе // Шведы. Сущность и метаморфоза идентичности. М.
- Мельникова Е.А., Петрухин В.Я.* 1986. Формирование сети раннегородских центров и становление государства // История СССР. № 5.
- Мельникова Е.А., Петрухин В.Я.* 1989. Название «Русь» в этнокультурной истории Древнерусского государства // ВИ. № 8.
- Мельникова Е.А., Петрухин В.Я.* 1991. Комментарий к гл. 9 // Константин Багрянородный. Об управлении империей / Текст, перевод, комментарий. 2-е изд., доп. М.
- Нильсен Й.П.* 1992. Рюрик и его дом. Опыт идейно-исторического подхода к норманскому вопросу в русской и советской историографии. Архангельск.
- Рыбаков В.В.* 1999. Древнейшие сведения о племенах, населявших территорию современной Швеции // Из ранней истории шведского народа и государства: первые описания и законы. М.
- Рыбаков В.В.* 2008. Житие Святого Сигфрида // Хроника Адама Бременского и первые русские миссионеры в Скандинавии. М.
- Сванидзе А.А.* 1999. Первые письменные свидетельства о шведах и возникновении Швеции // Из ранней истории шведского народа и государства: первые описания и законы. М.
- Adam av Bremen.* 1984. Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar / översatt av E. Svenberg, kommenterad av C. F. Hallencreutz, K. Johannesson, T. Nyberg, A. Pilz. Stockholm.
- Ambrosiani B.* 1964. Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria. Uppsala.
- Ambrosiani B.* 1973. Gravbegreppet i grävningsstatistiken. Tor.
- Ambrosiani B.* 1985. Södermanland mellan forntid och medeltid // Fornvännen, årg 80.
- Andersson I.* 1943. Sveriges historia. Stockholm.
- Calissendorf K.* 1986. Ortnamn i Uppland. Stockholm.
- Carlsson S., Rosen J.* 1969. Svensk historia. Tredje upplaga. Stockholm.
- Cullberg C., Jensen J., Mikkelsen E.* 1978. Udvexlingssystemer i Nordens forhistorie // NAM Förlag. Stencil. LAN Produkter. Stockholm.

- Dahlbäck G.* 1972. Landhöjning och bebyggelse i nordligaste Uppland // Förnvännen.
- Dahlbäck G., Jansson B., Westin G.* 1972. Norra Roden // Det medeltida Sverige (DMS). Uppland. Band 1. Hefte 1.
- Folkland // URL: <http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkland>.
- Friberg N.* 1974. Vikingatidens befolkning i Mälarnlandskapet. Stockholm.
- Gahrn L.* 1988. Sveariket i källor och historieskrivning. Göteborg.
- Harrison D.* 2009. Bygdemakt // Sveriges historia. Stockholm.
- Hedeager L.* 1978. Bebyggelse, social struktur og politisk organisation i Østdanmarks ældre og yngre romertid // Forntid og nutid. Band XXVII. Hefte 3.
- Hellberg L.* 1979. Forn-Kalmar. Ortnamnen och stadens förhistoria // Kalmar stads historia. 1. Kalmarområdes forntid och stadens äldsta utveckling. Tiden intill 1300-talets mitt / red. I. Hammarström. Kalmar.
- Hyenstran Å.* 2001. Lejonet, draken och korset. Sverige 500–1000. Lund: Studentlitteratur.
- Hyenstrand Å.* 1974a. Centralbygd — Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder. Stockholm.
- Hyenstrand Å.* 1974b. Järn och bebyggelse. Falun.
- Hyenstrand Å.* 1982. Forntida samhällsformer och arkeologiska forskningsprogram. Stockholm.
- Johannesson K.* 1982. Gotisk renässans. Johannes och Olaus Magnus som politiker och historiker. Stockholm.
- Kjellberg C.M.* 1902. Den äldsta svenska konungatiteln // Bidrag till Sveriges medeltidshistoria tillägnade c.g. Malmström. Uppsala.
- Kristiansen K.* 1981. Economic Models for Bronze Age Scandinavia — towards an Integrated Approach / Economic Archaeology (BAR International Series № 99).
- Lagerqvist L.O.* 1970. Svenska mynt under vikingatid och medeltid (ca 995–1521) samt gotländska mynt (ca 1140–1565). Stockholm.
- Lagerqvist L.O.* 1976. Sverige och dess regenter under 1000 år. Norrtälje.
- Lagerqvist L.O.* 1996. Sveriges regenter. Från forntid till nutid. Stockholm.
- Landhöjningen i Stockholm // URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Landh%C3%B6jningen_i_Stockholm.
- Larsson M.G.* 1987. Hamnor, hysabyar och ledung (University of Lund. Institute of Archaeology. Report Series. № 29). Lund.
- Larsson M.G.* 1997. Från stormannagård till bondby. En studie av mellansvensk bebyggelseutveckling från äldre järnålder till medeltid (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8^o. № 26). Lund.

- Latvakangas A.* 1995. Riksgrundarna. Varjagproblemet i Sverige från runinskrifter till enhetlig historisk tolkning. Turku.
- Lijssing P.M.* 1953–1955/1998. Roden och Roslagen, rospiggar och ruser // Hundare och skeppslag. XI. Norrtälje; Stockholm.
- Lindfors M.* Webbkusten Bildbyrå // URL: <http://www.webbkusten.com>
- Lindkvist A.* 2003. Husby i Glanshammar. Ett belysande exempel // Mittens rike. Arkeologiska berättelser från Närke (Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar. Skrifter № 50) / red. Leif Karlenby. Stockholm.
- Lindqvist S.* 1952. Svea rikets ålder // Arkeologiska forskningar och fynd. Stockholm.
- Lindqvist T.* 1995. Plundring, skatter och den feodala statens framväxt. Organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från vikingatid till tidig medeltid. Uppsala.
- Lindroth S.* 1961. Göticismen // Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. B. VI. Malmö.
- Linkvist Th., Sjöberg M.* 2008. Det svenska samhället 800–1720. Klerkernas och adelns tid. Lund: Studentlitteratur.
- Nerman B.* 1925. Svenska rikets uppkomst. Stockholm.
- Nerman B.* 1941. Sveriges rikets uppkomst. Stockholm.
- Nerman B.* 1956. När kom Västergötland under svearnas välde? // Västergötlands fornminnesförenings tidskrift.
- Nordström A.* 1990. Roslag. Stockholm.
- Nordström J.* 1934. Götisk historieromantik // De yverbörnes Ö. Stockholm.
- Nordström J.* 1975. Johannes Magnus och den götiska romantiken. Akademiska föreläsningar 1929. Stockholm.
- Näsman U.* 1988. Analogislutning i nordisk jernalderarkeologi. Et bidrag til udveklingen af en historisk etnografi. I: Fra stamme til stat i Danmark (Jysk Arkæologisk Selskabs. Skrifter XXII). Aarhus.
- Näsman U.* 1993. Från Region till Rike. I: Fra stamme till stat. Om danernas etnogenes och om den danska ruksbildningen // META. № 3–4. Lund.
- Ohlmarks Å.* 1971. Svearna i saga och hävd / Illustrerad av E. Palmquist. Haimstad.
- Om Mälaren // URL: <http://ame.ljungdahl.info/malaren/MALAREN.HTM>.
- Postglacial landhöjning // URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Postglacial_landh%C3%B6jningen.
- Procopius* 1953 — Procopius, with an English Translation by H.B. Dewing. III. History of the Wars. Book V and VI. L.
- Randsborg K.* 1980. The Viking Age in Denmark. L.
- Rosen J.* 1966. Sveriges politiska enande // Den svenska historien. I. Stockholm.

Rudbeck O. 1937. Atland eller Manheim. Första delen. Uppsala; Stockholm.

Sawyer P. 1988. «Landamæri I»: the Supposed Eleventh-Century Boundary Treaty between Denmark and Sweden // Festschrift til Olaf Olsen 60-års dagen. København.

Schmid T. 1931. Den helige Sigfrid. Lund.

Service E. 1975. Origins of the State and Civilization. N.Y.

Service E. 1978. Classical and Modern Theories of the Origins of Government // OS.

Siven C.-H. 1981. Metoder för beräkning av förhistoriska populationer: C-uppsats. Stencil. Stockholm.

Snorri Sturluson. 1911. Heimskringla. Norges Konunga sögur /utgivet af Finnur Jonsson. København.

Sporrong 1971. Kolonisation, bebyggelseutveckling och administration. Lund.

Stjerna K. 1905. Svear och götar under folkvandringstiden // Svenska fornminnesföreningens tidskrift.

Stähle C.I. 1948. Om vår äldsta jordebok. Vårfruberga klostrets godsförteckning // Namn och bygd, årg. 36. Uppsala.

Svennung J. 1967. Zur geschichte des goticismus. Stockholm.

Svennung J. 1974. Skandinavien bei Plinius und Ptolemaios. Kritisches-exegetische Forschungen zu den ältesten nordischen Sprachdenkmälern. Uppsala.

Sveriges regeringsformer 1891 — Sveriges regeringsformer 1634–1809 samt konungaförsäkringar 1611–1800 / utgiven av E. Hildenbrand. Stockholm.

Tacitus. 1969. Germania. Stockholm.

Tunberg S. 1911. Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning. Uppsala.

Tunberg S. 1947. Rod och Roslag i det gamla Sveariket // Det levande förflutna. Svenska historiska föreningens folkskrifter. № 11. Stockholm.

Weibull C. 1915. Saxo. Kritiska undersökningar i Danmarks historia från Sven Estridsens död till Knut VI // Historisk tidskrift för Skåneland. № 6.

Weibull C. 1921. Om det svenska och det danska rikets uppkomst // Historisk tidskrift för Skåneland. № 7.

Weibull C. 1922. Sveriges och Danmarks äldsta historia. En orientering. Lund.

Weibull C. 1957. Goternas utvandring från Sverige // Scandia.

Weibull C. 1964. Källkritik och historia: Norden under äldre medeltiden. Stockholm.

Weibull C. 1974. Geaten des Beowulfepos und Die dänischen Trelleburgen. Zwei Diskussionsbeiträge // Actae regiae societatis scientiarum et litterarum gothoburgensis. Humaniora 10. Göteborg.

Weibull L. 1911. Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000. Lund.

Weibull L. 1913. Historisk-kritisk metod och nordisk medeltidsforskning. Lund.

Weibull L. 1934. Upptäckten av den skandinaviska Norden // Scandia.

Welinder S. 1975. Prehistoric Agriculture in Eastern Middle Sweden. Lund.

Welinder S. 1977. Ekonomiska processer i förhistorisk expansion. Lund.

Welinder S. 1979. Prehistoric Demography. Lund.

Wessen E. 1969. Nordiska folkstam och folknamn // Fornvännen.

Wijkander K. 1983. Kungshögar och sockenbildning. Studier i Södermanlands administrativa indelning under vikingatid och tidig medeltid. Stockholm.

Önnerfors A. 1969. Cornelius Tacitus. Germania / originalets text med svensk tolkning jämte inledning och kommentar av Alf Önnerfors. Stockholm.

А.Ю. Дворниченко

**«ГОСУДАРСТВО КИЕВСКАЯ РУСЬ»
КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН**

Father, father, where are you going
O do not walk so fast
Speak father, speak to your little boy
O else I shall be lost

The night was dark no father was there
The child was wet with dew.
The mire was deep, and the child did weep
And away the vapour flew

W. Blake «The little boy lost»

Отец, отец, куда спешешь,
Куда идешь так быстро?
Скорее сына позови —
Могу ведь заблудиться.

А ночь темна, с ним нет отца,
В росе измокло тело
Трясины жуть и слез река.
Химера ж улетела

У. Блейк «Заблудившийся сын»

В данной работе, насколько позволяют рамки жанра статьи, я рассматриваю проблему Древнерусского государства в историографическом плане. Речь идет об отечественной историографии XVIII–XX вв. Мою задачу облегчают уже имеющиеся историографические обзоры, рассматривающие эту проблематику в другом ракурсе [Мавродин 1978; Пузанов 1995; Дербин 2007; Шишкин 1997; Дубровский 2005; Юсова 2005; и др.].

Государство времен Киевской Руси (IX — начало XIII в.) заинтересовало уже историков «осьмнадцатого» столетия. Они смотрели на него сквозь призму монархизма, той самой «паки совершенной Монархии», которую воспевал «отец русской истории» В.Н. Татищев. Полемика между Г.Ф. Миллером и М.В. Ломоносовым придала проблеме еще один оттенок, поставив вопрос о том, каков был «этнос

варяжской руси, стоявшей у истоков российской государственности» [Фомин 2005]¹. Волновал историков и вопрос, как бы сейчас сказали, о характере общественного строя у славян в древности. Другими словами, были они готовы к государственному быту или нет. В любом случае государство в представлении историков тех лет появлялось как «черт из табакерки».

Н.М. Карамзин, как известно, тоже был монархистом, но находил в истории нашей страны и догосударственный период, для которого характерно народное правление. Впрочем, данный период — лишь подготовительный к «началу российской истории», к той точке отсчета, когда славяне добровольно уничтожили свое древнее правление и потребовали государей от своих неприятелей-варягов. Таким способом «рассеянные племена славянские основали Государство» [Карамзин 1989: 93], которое «самый первый век бытия своего» превосходило обширностью едва ли не все тогдашние государства европейские [Там же: 163]. Это государство было монархией. Вся земля оказалась «законной собственностью великих князей: они могли, кому хотели, раздавать города и волости. Так многие варяги получили уделы от Рюрика» [Там же: 164].

В дальнейших рассуждениях монархические установки великого историографа сыграли с ним злую шутку. Он представил себе и читателю историю Древнерусского государства как постоянную борьбу монархического и удельного начал. Забыв, видимо о «Рюриковых уделах», он пишет: Святослав первый ввел обыкновение давать сыновьям особые уделы — «пример несчастный, бывший виною всех бедствий России».

Дальше все так и пошло: один князь расправлялся с удельной системой, а следующий, не в силах сопротивляться своим отцовским чувствам, эту самую систему возрождал. И если ошибку Святослава исправил Владимир, а его ошибку, в свою очередь, — Ярослав, то ошибку Ярослава уже было некому исправить, и «Древняя Россия погребла с Ярославом свое могущество и благоденствие». «Государство, шагнув, так сказать, в один век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более трехсот лет», раздробилось на малые области [Там же: 44–45]. Последующие кня-

зья, среди которых были такие выдающиеся представители этого племени, как Владимир Мономах, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, также не смогли ничего сделать с удельной системой и не претендовали на гордый титул «самодержца».

Если к этому добавить, что историограф иной раз отмечает тот печальный факт, что «обширные владения Российские еще не имели твердой связи», то понятна реакция вдумчивого читателя: а что же это за государство такое?

Мало того, Н.М. Карамзин вводит еще один компонент в свою схему, на который, кстати, мало, кто из исследователей обращает внимание. Это народ, который активно участвует в политической жизни страны: проводит вечевые собрания, приглашает и изгоняет князей, решает судьбы войны и мира и т.д. Перечитав историографа, я пришел к выводу, что в изображении древнерусского народоправства ему могли бы позавидовать многие историки, которые в более поздние времена старались нарисовать древнерусский волостной строй, демократическое устройство русских земель.

Но историограф и здесь оказывается в неразрешимом противоречии: видя и ярко живописуя древнерусское народоправство, он не хочет его признавать. Монархические убеждения заставляют его видеть в народе, проявляющем свою политическую волю, мятежников, смутьянов и т.д. Пытаясь данное противоречие разрешить, Н.М. Карамзин предлагает разные объяснения (подр. см.: [Дворниченко 2012]).

Все эти противоречия «последнего летописца» не остались незамеченными. Пафос труда Н.А. Полевого был, как известно, направлен против концепции великого историографа, которому инкриминировалось то, что его произведение было историей государей, а не государства, не народа [Полевой 1997: 31]. Естественно, что на острие полемики и оказалась проблема государства. Журналист-историк ополчается прежде всего против восприятия историографом начальной стадии государственности.

Сам он начинает историю российской государственности с варяжских «государств». Первое русское княжество, основанное Рюриком, и было типично варяжским «государ-

ством», вернее это было несколько государств. Такое устройство автор именует еще и норманнским феодализмом. Варяги именовались еще и руссами.

Олег перебрался на Днепр и учредил главный городок русских княжений. Тридцать лет правления Игорева ослабили связь между русскими владениями, усилились удельные князья, «смирившие свою скандинавскую гордость» при Олеге. Если Ольга смогла укрепить связи между землями, то десять лет княжения Святослава «только разрушали союз народов» [Там же: 149]. Единодержавие — единственное спасительное средство образовать полудикий народ — было недоступно Святославу.

Князь Владимир первый всерьез попытался расстаться со скандинавским наследием и в результате вполне заменил варяжский феодализм азиатской монархией, сходной с основными нравами славян. На смену уделам явились области, «правимые детьми одного самовластного государя» [Там же: 154], то есть феодализм «семейный».

Роковая ошибка думать, что Русь при Владимире и Ярославе была государством сильным, единодержавным, громким просвещением, верою, гражданственностью. Единство Руси заключалось в языке и религии, но не в политическом составе, не в правах жителей.

Географический обзор Руси приводит его к выводу, что в XI в. «жизнь русского народа сосредоточивалась около местопребывания повелителя. Такие места составляли Киев и Новгород. Чем далее от них, тем более слабела жизнь общественная...» Владения киевского князя и удельной системы, ему принадлежавшей, замыкались в пространстве от Переяславля до Смоленска, и от Владимира Волынского до Чернигова, а Муром, Ростов, Тмутаракань были отдельными владениями, между которыми находились земли данников и независимых народов [Там же: 202]. Границы были совершенно неопределенны и размыты. Дальнейшая история «Древнерусского государства» представляется ему в следующем виде. В Новгороде уже со времен Олега и Ольги возобладали демократические порядки, которые превратили этот регион в некое подобие западных коммун.

Совершенную противоположность в политическом отношении являла собой Южная Русь, хотя «устройство военное

и гражданское было одинаково в Северной и Южной Руси». «Изменение варяжской системы в систему семейственного феодализма решительно сделалось со времен Ярослава. Но все пять княжеств по смерти Ярослава составляли один общий союз. Князь киевский, именуясь великим, был главой этого союза. Полоцкое княжество не входило в этот союз: оно было независимо». Удельные князья считались полными властелинами своих уделов, перед их лицом все население сливалось в одно название — рабы. Старший в роде должен быть всегда великим князем. В уделах, напротив, сын наследовал после отца. То, что на Руси так и не возникло сильное единое государство, не делает «удельный период» некоей тучей, налетевшей на Русь. Иначе и быть не могло. Н.А. Полевой задумывается о том, когда появилось слово «удельный», и обнаруживает, что его не было ни при Святославе, ни при Владимире; «словом: когда началось наименование удельных князей, определить невозможно» [Там же: 531]. Пройдет время, и С.М. Соловьев убедительно покажет, что такое слово и вовсе нельзя применять, когда речь идет о Киевской Руси.

Впрочем, и в Южной Руси Н.А. Полевой временами видит вече; так же как в произведении Н.М. Карамзина, у него действуют массы городского и сельского населения, названного по названиям главного города той или иной земли. Н.А. Полевой полагает, что «раздельные народы славянские были основанием образовавшихся потом княжеств русских», что вызывало взаимную народную ненависть разных русских областей, ненависти, основанной на различиях народов» [Там же: 527]. А если к этому добавить некоторые весьма существенные оговорки, которые допускает историк-журналист, то становится видна еще большая глубина этого противоречия в его воззрениях.

Историк-романтик явно не больше прояснил суть Древнерусского государства, чем историк-сентименталист. Не очень он интересовался и историей народа как таковой. Собственно, название его работы означало «лишь отрицание государственного единства Древней Руси» [Миллюков 2006: 347].

В творчестве Н.М. Карамзина и Н.А. Полевого заложены основы того подхода к древнерусской государственности, который прослеживается и в последующих работах. Те, кто,

подобно Н.А. Полевому, спорил с историографом, пока мало ясности вносили в понимание характера, формы Древнерусского государства. Декабристы указывали на народоправство, которое связывали в основном с Великим Новгородом [Волк 1958]; «скептики» во главе с М.Т. Каченовским вообще ставили под сомнение киевский период нашей истории.

И.Ф.Г. Эверс — профессор, в одно время ректор Дерптского университета — так и не высказал своего отношения к работе Н.М. Карамзина [Рубинштейн 2008: 255]. Но зато он гораздо полнее и глубже, чем великий историограф, разработал проблему генезиса государства, появления государства в результате долгого развития семейных и родовых отношений. Но при этом нельзя не видеть, что хотя Эверс и «находит в раскрытии системы родовых отношений путь к новой трактовке исторического процесса», но сам этот путь у него достаточно схематичный и включает, прежде всего, систему междукняжеских отношений [Там же: 261–262]. Государства как такового мы в его работе, по сути дела, не находим. Князья смотрят на государство как на родовое имущество, и каждый требует из него своей доли. Лишь постепенно родовые разделы исчезли, и «явилось наследие престола, основанное на первородстве» [Эверс 1835: 99]. При этом князь превращается в монарха с всеобъемлющей властью, а исключение составляет лишь вольный Новгород с его «гражданским правом». Подобного рода подход характерен и для других историков-юристов дерптской школы, а также для экономиста Ю.А. Гагемейстера и крупнейшего правоведа К.А. Неволина [Дербин 2007: 57–62].

Как видим, уже у историков того периода нашей историографии, который можно назвать «карамзинским» [Дворниченко 2005: 32], проблема древнерусского политогенеза, зарождения и развития государства вызывала значительные трудности, порождала различные, порой взаимоисключающие трактовки. Трудности эти продолжились в последующий период, который можно датировать достаточно широко: 40-е гг. XIX в. — 20-е гг. XX в. [Там же: 33].

В это время зарождаются и получают дальнейшее развитие важнейшие течения исторической науки, так или иначе связанные с главными направлениями общественной мысли:

славянофильством, западничеством, теорией официальной народности, революционной демократией.

Западники и славянофилы, несмотря на горячие споры между ними, в том вопросе, который нас здесь интересует, были фактически близки между собой. Они мыслили о государстве как о результате длительного и достаточно сложного исторического развития. Правда, они по-разному видели пути продвижения к такому феномену, как государство, и, соответственно, по-разному это государство себе представляли.

Отношение западников-государственников к проблеме появления государства на Руси известно. Как показал Н.Л. Рубинштейн, все они начинали историю с родовых отношений и делили ее дальнейшее пространство на периоды — родовой, вотчинный и государственный. С.М. Соловьев уже второй период считал государственным и говорил о борьбе между государственными и родовыми отношениями, а в вотчинном строе видел лишь материальную базу растущего государства. Б.Н. Чичерин вовсе отрицал элементы государственности в вотчинном строе. К.Д. Кавелин занимал промежуточную позицию: отличал вотчинный строй от государственного, но определял его как этап в развитии государственного начала, как его первую зародышевую форму [Рубинштейн 2008: 338].

Применительно к нашей теме можно сказать, что ни один из этих столпов государственной школы в Киевской Руси государства не находил. Но при ближайшем рассмотрении начинаются трудности. Проще всего с Б.Н. Чичериным, который считал, «что в древней Руси преобладало не родовое, а вотчинное начало — гражданское общество, в котором господствует частное право. Он приходил к выводу, что старая Русь не имела никакого понятия о государстве, и говорил о длительном безгосударственном периоде в истории России» [Киреева 2004: 118]. Хотя нельзя не отметить, что и он наблюдал рядом с князьями общину: «...в первый период рядом с вотчинным началом мы видим и начало общинное, договорное, которое иногда стесняло и нарушало первое» [Чичерин 1858: 10–11].

С.М. Соловьев достаточно ярко и подробно рисовал период родовых отношений у восточных славян. Что же прихо-

дит на смену родовому периоду, по наблюдениям С.М. Соловьева? Со временем «Русская земля в самом обширном смысле слова, то есть все русские владения, разделялась на несколько отдельных земель, или волостей» [Соловьев 1988: 24]. «Волость» означала и княжение (власть), и княжество (владение, область).

Правда, преобразование племен в волости историк связывает с деятельностью княжеской власти, с творческой энергией любезного его сердцу рода Рюриковичей. Но тем не менее он отмечает значение древних главных городов с их вечевыми народными собраниями, которые фактически становятся еще одной влиятельной властью. На Руси формируется своего рода двоевластие, не поддающееся точному юридическому определению. Соотношение этих властей разнилось в зависимости от ситуации. Так, Новгород Великий «поднялся до значения государя, хотя не исключил и власти княжеской» [Соловьев 1991: 23]. Страна могла окончательно распасться на такие волости, но этот распад сдерживали такие факторы, как сильный княжеский род, церковь, общая культура.

Считал ли он политическую систему времен Киевской Руси государством?² При ближайшем рассмотрении оказывается, что в этом вопросе у него нет ни последовательности, ни определенности. Он, то называет это государством, то не называет, то делает упор на неоднозначность явления, его юридическую расплывчатость и неопределенность. Не будем ставить такой подход в вину великому историку. Он им, по сути дела, предрешал все развитие отечественной историографии до 1917 г.

Похоже, что еще сложнее этот вопрос оказался для К.Д. Кавелина, что и понятно, так как он предлагал читателю не конкретную историю, «а скорее философские размышления о русской истории» — отсюда некоторая непоследовательность в трактовке ряда сюжетов [Рубинштейн 2008: 335]. По призыву союзных племен является в Россию союзная дружина, и из русско-славянских племен образуется сильное, обширное государство [Кавелин 1989: 27]. Правда, устройство его носит неславянский характер — кажется, оно было феодальное. Ко временам Ярослава феодальный быт исчез, и «государство» надо было уже строить на началах

рода. После Ярослава устанавливается своего рода двоевластие между князьями и городскими общинами. Общины до самого образования Московского государства дают несомненные признаки государственной жизни: они везде призывают, выбирают и меняют князей. А где обстоятельства хоть сколько благоприятствовали, там они тотчас получали политическую самостоятельность [Киреева 2004: 115].

Итак, у государственников в вопросе о древнерусской государственности ясности не было. Естественно, что еще меньше ясности в этом вопросе было у славянофилов, делавших упор на земских, то есть общинных, традициях³. Согласно И.Д. Беляеву, «славяне искони жили в общинном быте». Уже в глубокой древности вся Русская земля разделялась на власти, или волости, страны. В каждой стране был свой старший город, к которому тянули пригороды, в котором находилось народное собрание (вече) — верховная власть. Причем вече было и в тех землях, где управление осуществлялось в монархической форме (как, например, в племени древлян), и в тех, где управляли выборные начальники, как в Новгороде. Форма правления не уничтожала верховной власти веча [Беляев 2004: 25]. Как город был общиной или союзом общин, управлявшимся своим вечем, так и пригород был общиной или союзом общин во главе со своим вечем [Там же: 27].

Фактически мало что изменилось с приходом варяжских князей, да и в дальнейшем — вплоть до монгольского нашествия — мало что менялось. Земщина жила своей общинной жизнью и по-прежнему владела всей землей, которая была ее до прибытия русского князя. Власть князя лежала только как бы на поверхности общественной жизни и не проникала вглубь [Беляев 1999: 49], а земщина имела важное государственное значение [Там же: 61]. Важно и то, что «за ней осталось значение главного, основного элемента в новой жизни русского общества» [Там же: 59].

Итак, земщина, то есть древнерусские волости, имела «государственное значение». Каково было «государственное значение» княжеской власти, которая существует параллельно с земщиной и постепенно с ней сближается, историк не разъясняет. В одном месте он говорит о том, что весь период от Олега до смерти Ярослава князь и его дружина еще не

сроднились с земщиной, не составляли с ней единого целого. Это была еще только первая ступень к будущему образованию государства [Беляев 1999: 44]. А какое это *государство* и когда же оно возникло, он не разъясняет.

Несколько понятнее концепция другого славянофила — В.Н. Лешкова. Историк отталкивается от бесспорной идеи о том, что город не строится в один день, а государство тем более. Это сложное политическое «тело» — земля, народ и верховная власть. Каждый из этих элементов имеет в государстве свою историю. При этом каждое государство, имея собственные условия происхождения и развития, появляется при особых обстоятельствах и возрастает под различными влияниями, составляя особое общество, не имеющее сходства ни с одним из современных ему политических соединений [Лешков 1856: 89]

Начав с того же установления земского строя на Руси, историк по-другому трактует дальнейшую историю. Между общинами возникают такие отношения, что они дают повод к появлению общей верховной власти. Причем приглашают князей не отдельные роды, а целые племена.

У нас началось государство, поддержанное церковью. Власть, обратившись на области и земли, низвела их до значения служебных орудий в форме уделов и областей, преобразовав верви в погосты, имевшие просто финансовое значение [Там же: 270]. Наконец, обратившись в целом к общинам, она поколебала их территориальные связи и поставила каждую общину перед общим законом, привела каждый двор к самостоятельному бытию, каждого русского человека — к полному личному, государственному значению. Другими словами, у нас постоянно шло поступательное движение общества к более обширным союзам, что в корне противоречит системе феодализма [Там же: 270–271].

Не выработали ясного отношения к Древнерусскому государству и адепты «теории официальной народности». Так, М.П. Погодину был близок образ семени, из которого и развилось государство. В главе X («Формация государства») своего главного сочинения он старается обосновать мысль о том, что Рюрик был призван лишь новгородцами и само призвание имеет мало отношения к началу государственности на Руси.

Оно осталось делом одних новгородцев, которые вскоре стали жить сами по себе [Погодин 1846: 476]. Но Рюрик стал родоначальником новой династии — было за кем следовать, хоть и в пустом пространстве. Олег — тоже еще не государство, а математическая точка — двинулся в Киев и обосновался там. Отсюда он ходил за данью к племенам. Это значит, что они не входили в состав государства. Это по-прежнему зародыш государства [Там же: 481]. И во времена Святослава семья, хоть и укрепившееся, оставалось еще семенем: неслучайно у него так слабы были представления об оседлости — все норовил уйти к болгарам дунайским. Лишь при Владимире, который разослал своих сынов по племенам, стали племена входить в состав государства. И мы теперь видим 12 княжеств, «особливых владений», под владычеством киевского князя [Там же: 489]. Именно в его правление политическое соединилось с религиозным и первый христианский князь стал и первым государем-владельцем. Но наметились и «будущие уделы по племенам». К счастью, все эти князья «перемежли», и Ярослав получил почти все их княжества.

Теперь все племена и города находились в подданстве у одного князя (а потом одного рода), были одного происхождения, говорили одним языком, хотя и разными наречиями, — «словом, это было государство, в некотором смысле целое, хотя и сметанное на живую нитку» [Там же: 442]. «И так двести лет начиналось государство — рождалась Россия». Государство создавалось варягами, поэтому с полным основанием этот период может быть назван «норманнским» [Там же].

Свой вклад в процесс поиска Древнерусского государства вносили и историки, которым импонировали революционно-демократические взгляды. Для А.П. Щапова вся история России распадалась на два периода: земско-областной и государственно-союзный. В первый период государства, собственно, и не было, а были земли-области, которые жили общинно-вечевой жизнью, ведя междуособную борьбу и временами поднимаясь до проявления федеративного начала [Щапов 1906: 648, 710, 753; 1926: 12–13]. Подобного взгляда придерживались и все историки, близкие А.П. Щапову [Цамутали 1971].

Вторая половина XIX — начало XX в. проходят под знаком тех представлений, которые исследователи определяют разными понятиями: земские, земско-областные, общин-

ные и т.д. Историки, придерживавшиеся таких представлений, добились больших результатов в изучении древнерусской истории, но с идеей государства они были не в ладах.

Наиболее последовательные сторонники земско-областной теории вообще отрицали наличие государственности в Киевской Руси. Одним из таких ученых был Ф.И. Леонтович. В плане критики предшественников историк выдвинул вполне убедительную мысль о том, что большинство из них почти всегда имеет перед глазами современные системы государственного устройства с их правильными и определенными формами и порядками. Отсюда мнение о «неправильных и неопределенных» формах древнего политического быта. Ведь в их основе не лежал еще закон. Но зато в их основе лежало обычное право — начало весьма правильное, прочное, строго консервативное и устойчивое» [Леонтович 1874: 124]. К тому же предшественники, по мнению Ф.И. Леонтовича, путаются в элементарных научных понятиях. В своих работах он делает принципиально важный для исторической антропологии вывод: «Родовые, общинные и государственные формы при органическом их развитии никогда не смешиваются одна с другой. Нет и не может быть ни общинного или государственного рода, ни родовой или государственной общины, а тем менее — родового или общинного государства» [Там же: 150]. Ученый не исключал скачков или быстрых переходов от одной политической формы к другой.

Применяя такую теорию, которая выглядит почти что современно, исследователь показывает, как обстояло дело с политическими формами в Киевской Руси. Он наносит смертельный удар по столь популярной «государственной» теории. Призвание князей «княжить и владеть» отнюдь не означало создания государственности [Там же: 194–195]. Само по себе призвание мало что значит. Потребность в князьях вообще не имела государственного характера, а коренилась в условиях старого общинного быта. К тому же призвание отнюдь не способствовало сплочению. Наоборот, чем дальше движется история, тем сильнее разрастается старая рознь [Там же: 212]. Впрочем, и древнерусское народоправство, например, новгородское, еще не было показателем государственности, а вполне укладывалось в рамки общинно-

го быта. Древней Руси не было свойственно государственное сознание. Церковь в домонгольский период также еще мало влияла на население, будучи занятой борьбой за собственное существование. Государственное сознание не могли привить и варяжские князья с их дружинами.

Итак, весь период Киевской Руси — это период господства общинных отношений. Поворот к новому государственному порядку стал обозначаться на протяжении XIII–XV вв., но только к XVI в. государство установилось прочно. И не надо, считает Ф.И. Леонтович, идеализировать, как это делается сплошь и рядом, ни общинный период Киевской Руси, ни государство XVI в. [Там же: 214].

На мой взгляд, подход Ф.И. Леонтовича был наиболее логически выверен и последователен. Но многие историки старались совместить несовместимое и создать некий симбиоз. На почве такого симбиоза вырастали более или менее пугающие читателя социальные организмы, призванные, по мысли их создателей, объяснить специфику общественных отношений в Киевской Руси.

Н.И. Хлебников выдвинул идею — соединение родов — «искусственно-родовое государство» [Хлебников 1872]. А.И. Никитский также писал о «родовом государстве». Такое родовое государство (княжение) является монархическим по форме, но по сути — демократическим, так как источником всякой власти служит народное собрание [Никитский 1870: 458]. В отличие от А.И. Никитского, другой крупный исследователь Д.Я. Самоквасов выдвинул идею первоначального племенного государства — город, городская община [Самоквасов 1896: 97, 105]. Если мысль Д.Я. Самоквасова находилась в рамках созданной им теории «племенного» государства, то другой выдающийся историк-юрист М.Ф. Владимирский-Буданов наблюдал в Киевской Руси «земское государство». В своем известном «Обзоре истории русского права», выдержавшем несколько изданий, ученый старался доказать, что «в государстве такого типа преобладающим элементом служит территориальный: государство есть союз общин; старшая община правит другими общинами... Государства других типов могут быть союзом сословий (феодалное общество), или лиц (ордена), или родов» [Владимирский-Буданов 1995: 42].

По-своему старались объединить земско-областническую и государственную теории А.Ф. Тюрин [Цамутали 1977: 81–86] и И.Е. Забелин, который считал, что если под государственной властью понимать власть самодержавную, феодальную, то такой власти наш народ не имел до середины XVI в. Но в древности существовала политическая форма быта, которую в известном смысле можно также именовать государственной. Это форма городской общины или городской республики, которая от государства в принятом смысле отличается только тем, что происходит не из военного, а из гражданского источника людских отношений, ведет свой род непосредственно от промысла и торгова. Образованные развивали эту форму лучше, более возвышенно, варвары жили проще. У нас и была вот такая «варварская» форма. Это, конечно, не государство в немецком, феодальном смысле, но все-таки существовала крепкая городская связь людей в древнегреческом смысле, власть веча, общей сходки, на первое время достаточная для водворения порядка [Забелин 2008: 362–363].

По мысли Н.И. Костомарова, вся русская жизнь отличалась крайнею неопределенностью, неточностью и невыработанностью форм. Здесь, как в хаосе, можно отыскать задатки и федерации, и республики, и монархии, в сущности же тут ничто не подходит вполне под те осязательные представления, какие мы привыкли себе составлять в качестве общей меры, прилагаемой к различным видам общественного строя [Костомаров 1994а: 167]. Тут были зародыши и удельности, и единодержавности [Костомаров 1995а: 306]. Только что сказанное определяет степень условности при определении концепции Н.И. Костомарова как «федеративной». Ведь Русь только «стремилась к федерации, и федерация была формой, в которую она начинала облекаться. Татарское завоевание сделало крутой поворот в ее государственной жизни» [Костомаров 1994б: 40]. Главный смысл русской истории вообще заключается «в колебании между единством всех земель и самобытностью каждою порознь, между разнообразием народоправления и централизациею единовластия» [Костомаров 1995б: 385].

Своего рода феноменом стала концепция В.В. Пассека, который попытался обосновать земско-областническую теорию с позиций трогательного монархизма [Пасек 1870].

Достаточно сложным является отношение к государству одного из крупнейших исследователей Древней Руси В.И. Сергеевича. Он уверен в том, что русская древность не знала единой государственности. Вполне в духе Н.А. Полевого, но гораздо более рельефно и подробно он показывает отсутствие единой государственной территории в древний период нашей истории [Сергеевич 2007: 121–129].

С одной стороны, он пишет о том, что в древности существует большое количество небольших государств, которые чаще всего называются волостями или землями, то есть, вроде бы, признает наличие хоть такого государства. Но, с другой стороны, Великое княжество Московское он называет «ново-рожденным государством» [Там же: 159]. Рассуждая о вечевом устройстве Руси, ученый считает, что в это время государство находится в периоде зарождения, оно не настолько еще окрепло, чтобы идея государства могла обособиться от составляющих его элементов и мыслиться отдельно от них. Общее еще не успело обособиться от частного, не успело еще выработать и своих особых органов. Такова почва, на которой возникло вече — народное правление [Там же: 509].

Другой выдающийся петербургский юрист — А.Д. Градовский — в рецензии на знаменитый труд В.И. Сергеевича упрекал его в том, что он забывает о том, что «политический быт времен Рюриковичей был только зародышем государства, а не государством, желудем, а не дубом» [Градовский 1868: 110]. Это не позволило ему увидеть некоторые особенности, присущие древнерусскому волостному быту. Самое главное — не заметить общину, коей волость и являлась, вернее «цепью общин, связанных между собой иерархическими отношениями».

Ученый-юрист А.Н. Филиппов полагал, что еще до варягов история нашего государства началась не с образования единого Русского государства, а с целого ряда небольших государств-княжений. Но это были государства-«эмбрионы» [Филиппов 1912: 18–19, 30, 156].

Историкам-юристам также импонировала идея о совмещении в «Древнерусском государстве» различных «элементов»: монархического, аристократического и демократического, которую наиболее ясно высказал М.Ф. Владимирский-Буданов, но поддержали М.А. Дьяконов и др. Земско-област-

ническая идея становится родной для большинства историков-юристов. Профессор барон С.А. Корф на финской «окраине» Империи воспевал народоправство времен Киевской Руси, рисуя портрет прямо-таки «народного государства». Первобытное славянское государство», вернее, государства начинают формироваться в VIII в. К IX в. под влиянием экономического фактора родовой быт исчезает и заменяется городовым. В создании городской волости главную роль играет не этнографический, а экономический фактор, так как границы волостей торговых городов не совпадают с границами племенными. Во главе молодого государства — вече, и верховным вершителем судеб волости является народ [Корф 1908: 10, 17–19, 30].

В работе С.А. Корфа отразилась ситуация широчайшего распространения идеи о городских волостях в историографии той поры. Причем волости эти, которые очень плохо подходили под определение «государство», обнаруживали уже в глубокой древности, до прихода варяжских князей.

Таким путем шел и знаменитый историк В.О. Ключевский. Под влиянием торговли возникла первая «местная политическая форма» — городские области (волости)⁴ [Ключевский 1989: 98], то есть торговые округа, управляемые главным торговым городом, которые появляются около половины IX в. [Ключевский 1987: 148]⁵. Такой волостной город можно назвать республикой, похожей на Новгород и Псков позднейшего времени [Ключевский 2003: 25].

Вторичной, но тоже местной политической формой было варяжское княжество. По сути дела, это те же «вооруженные города», но попавшие в руки варяжских конунгов. [Ключевский 1987: 153] (см. также: [Ключевский 1989: 252 и сл.]). Укрепившись в обороняемой стране, наемные сторожа повели себя завоевателями и насильственно захватили власть над туземцами. Из соединения варяжских княжеств и сохранивших самостоятельность городских областей возникла третья политическая форма — великое княжество Киевское — первая форма Русского государства. Оно возникло именно в Киеве, ибо отсюда, а не из Новгорода пошло политическое объединение русского славянства.

Воображению историка рисуется большая территория, приведенная под власть киевского князя к началу XI в. Впро-

чем, это «Русское» государство еще не было государством русского народа, поскольку не было самого этого народа, а существовало разноплеменное население. Рассуждая о характере княжеской власти в этом государстве, историк приходит к выводу, что до Ярослава единовластие было политической случайностью, а не политическим порядком. После же Ярослава оно вообще не появляется в русской истории.

Чем же являлся политический строй Русской земли в целом? Было ли это единое, цельное государство? Единая власть была, но не единоличная и имевшая условное, негосударственное значение. Князья были не полновластные государи земли, а только военно-полицейские правители, и земли договаривались с каждым из них отдельно. Съезды также не объединяли всех наличных князей и не сообщали Русской земле характера политической федерации. Она представляла собой не союз князей или областей, а союз областей через князей. Это была скорее федерация не политическая, а генеалогическая [Ключевский 1987: 210].

Ученики В.О. Ключевского — А.А. Кизеветтер, М.К. Любавский, Ю.В. Готье, Н.А. Рожков — в основном воспроизводя идеи своего учителя, вносили свой колорит в изучение древнерусского политического строя. Еще один ученик — М.Н. Покровский, — также воспитанный в традициях теории городских волостей, считал, что в наличности факта города и «городской волости» X–XII вв. — главное отличие древней, домосковской Руси от нашего средневековья, Руси Московской [Покровский 1966: 133]. Более того, наблюдения, сделанные талантливым историком, вносят много нового в изучение волостного быта, рисуют яркие, запоминающиеся картины республиканского строя Киевской Руси. М.Н. Покровский отказывается считать социально-политические организмы Киевской Руси государствами в современном (пусть и для начала XX в.) смысле этого слова [Дворниченко 2008]. Но историк старается найти в Киевской Руси уже устоявшийся феодализм. Это была первая серьезная подобного рода попытка⁶, ибо истинный творец русского феодализма — Н.П. Павлов-Сильванский — помещал его в период XIII–XV вв., то есть уже за хронологические рамки Киевской Руси⁷. И здесь историка ждала неудача: городовая

волость так и осталась под его пером «чистой загадкой». Слабая и надуманная концепция двух прав: городского и деревенского феодального, метко названная одним из критиков «дуализмом древнерусской истории» [Бахрушин 1939: 127], стала удобным объектом критики, расчищая путь новой, «истинно марксистской» истории Киевской Руси, альфа и омега которой был «феодализм».

Убежденным сторонником земского, общинного устройства Киевской Руси был ученик М.Ф. Владимирского-Буданова И.А. Малиновский, который отмечал, что уже на заре истории мы встречаем у русских славян довольно большие и сложные общественные союзы — «земли» или княжения, состоящие из старших городов и пригородов» [Малиновский 1905: 4]. Другой его ученик — Н.А. Максимейко — выделял целый земский период в русской истории [Максимейко 1910]. В таком же духе высказывались и представители школы киевского историка В.Б. Антоновича: М.В. Довна-Запольский, П.В. Голубовский и др. Зачастую они сравнивали древнерусскую политическую систему с древнегреческими полисами.

Внес свой вклад в изучение древнерусского политогенеза и знаменитый историк, автор известных учебников по русской истории Д.И. Иловайский. Он полагает, что быт племенной медленно, но постепенно превращался в государственный. Князья более сильного племени старались подчинить себе князей менее сильных и заставить платить дань. Взаимные отношения, построенные на даннической зависимости князей и племен, представляли собой первобытный вид государственного порядка⁸. Единовластие, которое возникало на Руси при Владимире и Ярославе, было личным и временным, так как понятие о едином, нераздельном владении, о едином государстве еще не сложилось. Более того, постоянно занятый собственной безопасностью, великий киевский князь все менее и менее мог оказывать влияние на другие области, особенно на удаленные от Киева. К тому же с самого начала мы видим борьбу единой державы с удельным порядком и в то же время борьбу севера с югом, Новгорода с Киевом [Иловайский 1996: 43, 60, 95].

В конечном счете в «эпоху предтатарскую» Русь представляла собой собрание земель, более или менее обособ-

ленных, имевших во главе разные ветви одного княжеского рода, которые успели приобрести значение местных династий. Русь почти не имела «политического средоточия». Причем для всех русских земель характерны одни и те же особенности управления, земского быта. «Тщетно стали бы мы искать строго (юридически) определенных общественных отношений и учреждений, то есть стройного государственного порядка на Руси в домонгольскую эпоху. Ее общественный строй носит на себе печать неопределенности и бесформенности в смысле наших настоящих понятий о государственном быте» [Там же: 452]

В общем спектре российской историографии дореволюционной поры заслуживает упоминания и Е.А. Белов — преподаватель истории в Александровском лицее в Санкт-Петербурге, который весьма критически относился ко всем своим предшественникам. Больше всего ему не нравилась идея о том, что главную силу в Киевской Руси составлял народ. Он нашел, как ему казалось, свой ключ ко всей древней и средневековой истории Руси. Это прежде всего дружина, а затем — деятельность пригородов — «мезиниих» городов [Белов 1886: 69, 87; 1895: 36–37]. Дружина вообще, согласно Е.А. Белову, на юге играет определяющую роль в политической жизни, стоит на первом плане во всех проявлениях общественной жизни. Именно она создает политический строй Руси вплоть до Ивана III. Борьба же пригородов против всеисилия старейших городов была одной из главных причин усиления княжеской власти [Там же: 88].

Впрочем, историк отнюдь не отрицает и вечевое начало в Киевской Руси. В древнейшей истории он находил три главных «факта» политической жизни: князя, дружину, вече. Но считал, что вече старых городов Поднепровья, а потом в областях Оки и Волги были сломлены силой дружины и после этого уже не играли главной роли. В предисловии к своей книге отмечал, что центральной фигурой в русской истории является Иван Грозный. Видимо, и на Киевскую Русь он смотрел в какой-то степени глазами своего героя.

Однако задача подвести своего рода итоги развития дореволюционной историографии выпала ученикам петербургского историка С.Ф. Платонова и украинскому историку М.С. Грушевскому.

Один из представителей петербургской школы, создатель теории российского феодализма Н.П. Павлов-Сильванский период Киевской Руси считал общинным и, соответственно, не находил государственности в это время [Павлов-Сильванский 1989].

А.Е. Пресняков, анализируя княжескую власть и «княжое право» в Киевской Руси, пришел к выводу о господстве в княжеской среде семейного права задружного типа как исходном пункте истории гражданского права славянских народов [Пресняков 1993: 12].

А.Е. Пресняков рассматривает «строй княжого владения в отдельных землях» от Полоцкой земли, первой выделившейся в особое владение, до северо-восточной Ростово-Суздальской Руси. Везде, во всех землях князь, княжеская власть играют огромную роль. Причем везде, кроме, пожалуй, новгородского Севера, князья сами обустроивали свое общественное положение на основе так называемого «княжого права» [Дворниченко 2006б: 35–46].

Князь со своими людьми и «княжим правом» существует не в безвоздушном пространстве, а в волости. Чем же были эти волости? Историк не согласен со многими своими предшественниками в том, что они своими корнями уходят вглубь веков. Такой подход, по его мнению, подрывал «возможность эволюционного понимания форм древнерусского политического быта» [Пресняков 1993: 163–166]. Волостное устройство, по мысли ученого, может возникнуть только на обломках племенного быта предшествующего времени. Социальный «портрет» древнерусской волости — политики — лучшее, что написано в дореволюционный период на эту тему. «Дуализм князя и веча был своеобразным внутренним противоречием в древнерусской государственности, которого не разрешила жизнь Киевской Руси», — отмечает историк [Пресняков 1938: 198]. А.Е. Пресняков считает, что попытки определить государственно-правовую форму «единства русской земли» не дали удовлетворительных результатов. Это единство выражалось в такой совокупности взаимоотношений, которые не находят выражения в терминах государственного права. Литература истории русского права не находит государственной формы у древней Руси как целого, указывая на отдельную волость-землю как на законченное целое [Пресняков 1993: 58].

Между тем сам историк широко использует термин «государство» применительно к периоду до появления волостной системы. К сожалению, объяснения того, что понимать под этим «государством», мы в работах ученого не находим.

Огромное влияние на советскую историографию Киевской Руси оказал и М.С. Грушевский — яркий представитель украинской школы. Он рисует картины родовых отношений у восточных славян, которые лишь постепенно уступают место территориально-общинным связям [Грушевський 1991а: 351–357]. Исходной точкой более широкой общественной организации был город [Там же: 361]. Можно говорить о «комбинации» племенного уклада с городским [Там же: 374]. Княжеская власть и дружина как бы накладывались сверху на старую народную десятичную организацию. Выросла государственная система, которая, с одной стороны служила интересам торговли, а с другой — сама была целью для князя и дружины, которые жили ее доходами. Навстречу потребностям Киева в военных силах шло их предложение из далекой Скандинавии. Варяги сыграли роль и в укреплении княжеской власти, которая к концу X в. далеко ушла от антских времен, — князья взяли в свои руки суд и администрацию.

Украинский историк был одним из немногих, кому рисовалась эпическая картина распространения власти киевских князей на огромную территорию, внушительная «Руська держава», появившаяся в Восточной Европе. В рамках этого процесса естественно (для украинского историка) не Киев оказывается добычей Новгорода, а Новгород покорен Киевом [Там же: 421]. Впрочем, до Владимира Святого эта «держава», которая стояла на службе торговли, скреплялась, по сути, только купеческо-дружинными «верствами», которые разбегались, словно кровь по жилам, по системе «державы».

«Реформы» Владимира привели к тому, что она превратилась в систему равноправных княжеств, во главе с членами одного рода. Именно этот род отныне мог быть княжеским [Грушевський 1991б: 193]. Отношения в княжеском роде строились на основе родового старшинства, но патриархальные родовые отношения в XI–XII вв. были уже фикцией. И хотя родовой принцип играл большую роль, но он нейтрализовался и ослаблялся другими принципами: отчинности

в наследовании, влиянием общины-земли, договорами князей между собой и с общиной [Там же: 197].

В общем, с середины XI в. система земель «Русьской державы» представляла собой группу автономных земель-княжеств, связанных одной династией и традицией давней принадлежности к одной «державе» под «сеньоратом» (более или менее реальным) киевского князя. С ростом династии и раздроблением земель (XII в.) эта группа княжеств-земель превращается в систему групп независимых княжеств, из которых состоит каждая земля, под «сеньоратом» своего старейшины, который признает над собой старейшинство киевского князя [Там же: 207]. Это похоже на федерацию, но федерация так и не выработалась, как не выработала твердых политических форм и вся политическая система Древней Руси. Политическая организация земель-княжеств основывалась на диархии, состоящей из двух элементов: общины с суверенными правами и князя с его дружиной и «агентами». Община с его политическим органом — вечем — была высшим элементом, но без постоянной деятельности. Князь же, хотя и находился под контролем веча, но фактически имел в своих руках всю полноту исполнительной власти.

Таков был политический строй «украинско-русских земель», среди которых историк особенно выделял Киевскую. М.С. Грушевский — среди тех, кто не особенно симпатизировал этому строю. Основным недостатком его он считал отсутствие солидарности, единения между земством и «правлящей сферою». В Киевской земле столкновение интересов князей и земли окончилось плачевно для последней — она подверглась разорениям, ослабла, захудала. Здесь «политическая несостоятельность княжеско-дружинного строя присоединилась к тем экономическим тягостям, неустройствам, которые повсеместно удручали народ». Вот почему киевское земство, воспользовавшись монгольским погромом, вернулось к первоначальному строю — к мелким автономным общинам [Грушевский 1991в: 320–321, 328].

Итак, подведем некоторые итоги рассмотрения так называемой «дореволюционной» историографии по вопросу о государстве в Киевской Руси. Один из них — на поверхности. Если в XVIII — начале XIX в. историки делали упор

на монархическое устройство древнерусской политической системы, то затем стали видеть и демократические, земские традиции. Представление о земском, областническом, федеративном устройстве вошло в плоть и кровь историков, стало общим местом в научной и учебной литературе⁹. О такой историографической парадигме давно уже писали в литературе [Малиновский 1929: 32–35].

Но историки весьма затруднялись в определении характера древнерусского государства. Вплоть до того, что многие отказывались видеть его в отечественной истории. Другие составляли свои высказывания о государстве такими оговорками, что они ставили под сомнение его существование. Единицы обнаруживали в древности некое централизованное огромное государство — «Киевскую Русь». Этот монстр стал порождением другого феномена — советской исторической науки.

Советские историки сразу же отправились на поиски «Древнерусского государства». Впрочем, для М.Н. Покровского, под эгидой которого проходил период становления советской историографии, такого государства, как уже было отмечено, не существовало. Эту мысль он высказал и обосновал еще в «Русской истории с древнейших времен», потом повторил и в других своих сочинениях.

Историки, которые не относились к марксистскому лагерю, рассматривали проблему древнерусской государственности прежде всего в контексте влияния норманнов, развивая концепции «дореволюционных» времен. Великий летописец А.А. Шахматов представлял возникновение древнерусской государственности как последовательное появление в Восточной Европе трех скандинавских государств и результат борьбы между этими государствами [Шахматов 1919] (см.: [Шаскольский 1978а: 153–154]). Его идеи были поддержаны А.Е. Пресняковым и Ю.В. Готье [Пресняков 1928: 44–46; Готье 1930: 248].

П.П. Смирнов с опорой на арабские источники, но сохранив верность норманизму, искал истоки государства на Волге, где в первой половине IX в. сформировался «русский каганат», который, правда, недолго просуществовал [Смирнов 1928].

Против научных построений, в которых превалировали норманны, а также против существования значительного по

размерам государства выступил В.А. Пархоменко, который уже в начале XX в. стоял на антинорманистских позициях [Пархоменко 1922: 484].

Главное для нашей темы — то, что в это время вырабатывается новый теоретический подход к государству, которое предстает теперь как результат развития классовой борьбы, как инструмент классового господства и подчинения. Хотя надо иметь в виду, что историков больше волновала другая проблема — генезис феодализма, характер общественно-экономических отношений в Киевской Руси. Решить эту проблему было необходимо для того, что определить место Киевской Руси в системе так называемых общественно-экономических формаций, учение о которых становилось важнейшим звеном советской историософии. В целом, надо отметить чрезмерную идеологизацию и политизацию науки в это время, которые нарастали на протяжении всего советского периода, достигнув апогея накануне падения режима.

Огромное влияние на историков оказывала «теория» Н.Я. Марра [Алпатов 1991], которая постулировала автохтонность славян, уводила этногенетические корни народов в глубокую древность [Шнирельман 1993]. Естественно, она толкала к тому, чтобы удревнять и государство.

В работах первых «феодалистов» — М.М. Цвибака и Б.Д. Грекова — Киевская Русь предстала как огромная «империя Рюриковичей». В появлении такого рода монстра были, впрочем, виноваты не они, а скорее К. Маркс, чья работа «Секретная дипломатическая история XVIII в.» получила в это время хождение среди советских обществоведов. В дальнейшем М.М. Цвибак был репрессирован, и «генеральную линию» стал разрабатывать Б.Д. Греков (подробнее см.: [Фроянов 1990]). В вопросе о государстве, который не был тогда основным, он проявлял непоследовательность и допускал неопределенность. Складывается впечатление, что эта проблема его тогда мало волновала. Так, в своем знаменитом докладе он туманно говорил об образовании «Варяжского государства» как о сравнительно позднем эпизоде в истории Восточной Европы.

Не очень определенно писал о происхождении и развитии государства Б.Д. Греков и в книге «Феодалные отношения в Киевском государстве», которая с третьего издания стала

называться «Киевской Русью». В этой книге он по-прежнему увлечен изучением формирования классовой основы государства, а до самого государства руки фактически не доходят. Впрочем, «империя Рюриковичей» уже пленяет воображение историка. В другой работе Б.Д. Греков, отметив, что образование этой империи произошло в результате объединения военным путем двух государств — Киева и Новгорода, рисует картину огромного по своей территории государства, отмечая, впрочем, его непрочность [Греков 1936: 3, 5–6].

И хотя эти идеи в конце 30-х гг. вошли в учебники для школ и вузов [Шаскольский 1978б: 133], но поддержали их тогда далеко не все историки. Н.Л. Рубинштейн в рецензии на только что упомянутое издание подвергал сомнению даже само название сборника документов, считая, что нельзя говорить о киевском государстве IX–XII вв. Период IX–X вв. он считал дофеодальным, бесклассовым. «Империя Рюриковичей», следовательно, не была ни единым, ни феодализирующимся государством, а «варварской империей», переходным этапом от доклассового общества к феодальному, государственность в Киевской Руси начинается с феодальной раздробленности [Историк-марксист 1938: 130–132]. Зато ему импонировал подход А.Е. Преснякова, который удачно определил политический строй Киевской Руси как «господство одного князя над рядом волостей без внутренней органической связи в единое государство» [Рубинштейн 1938].

С.В. Бахрушин в своей рецензии на книгу Б.Д. Грекова отрицал как факт формирования класса феодалов, так и факт наличия единого и организованного государства, служившего орудием классового господства. Он считал, что до последней четверти X в. мы не наблюдаем признаков существования прочно сложившегося государства [Бахрушин 1937б: 167]. Помимо эфемерного единства, он констатирует факт территориальной неустойчивости этого государства. Это еще и не государство, а примитивное завоевание [Там же: 168]. Эти идеи он развивает в статье «Держава Рюриковичей». С.В. Бахрушин отрицает наличие государственной организации у полян и новгородских словен в IX в. Зачатки государственного строя следует искать «не в дружинах скан-

динавских искателей приключений, а в славянских племенных княжествах» [Бахрушин 1938а: 91]. Правда, историк подчеркивал, что патриархальные князья типа Мала еще не были главами государств. Важное место он отводил варягам, в процессе завоевания которыми славянских земель и возникали «варяжские княжества». Эти княжества, основанные на сборе дани с окрестного населения, соответствовали высшей ступени варварства, имея сугубо военно-разбойничий характер.

Процесс объединения племен завершается во времена Святослава. Но и в это время ученый не видит здесь «прочной государственной организации», различая сквозь тьму веков лишь «военную организацию». Нет еще ни государственной территории, ни прочной связи с Приднепровьем, ни опоры на местные социальные силы. Лишь при Владимире «держава Рюриковичей» достигает своего кульминационного пункта, упорядочивается государственное устройство, начинается феодальный, государственный период [Там же: 95–96]. Но и до смерти Ярослава эта «держава» представляла собой в политическом смысле «военную демократию»¹⁰. Она являлась переходным периодом между родовым строем и феодальным [Там же: 98]. Эти взгляды историк развивал и в других своих работах [Бахрушин 1936; 1937а; 1938б].

Идея о «дофеодальном периоде» и, соответственно, «дофеодальном», «варварском» государстве получила распространение в советской историографии. Большой вклад в ее развитие внесли С.В. Юшков и В.В. Мавродин.

С.В. Юшков портрет такого государства рисует для периода IX–X вв., делая упор на примитивности княжеской власти и ограниченности ее функций, объединении в государстве «племенных территорий». Роль «административных органов» выполняла десятичная система [Юшков 1939]. Дальше, правда, «дофеодальное» государство перерастает у него в раннефеодальное, а племенные территории превращаются в земли-сеньории с развитым вассалитетом. Но идею о дофеодальном (варварском) государстве он не оставлял и в 40-е гг., посвятив этой теме отдельную статью.

В таком же духе высказывался и В.В. Мавродин. Данная концепция с точки зрения господствовавшей марксистской идеологии была, конечно же, нонсенсом, так как противоре-

чила одному из основных постулатов теории — государство может возникнуть только на классовой основе¹¹. Более того, получалось, что феодальные отношения, как писал В.В. Мавродин, ликвидируют «варварскую империю Рюриковичей». На смену «дофеодальному государству» приходила «феодальная раздробленность» [Дворниченко 2001: 85–90]. А если учесть, что княжества эпохи «феодальной раздробленности» несколько пренебрежительно именовались «полугосударствами», то и получалось, что государство, как песок, просачиваясь сквозь пальцы, куда-то исчезало. К тому же в такой трактовке оно очень плохо сочеталось с другим базовым понятием — «феодализмом».

К счастью, опорой могло служить высказывание новых «классиков». В «Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР» И.В. Сталина, А.А. Жданова, С.М. Кирова говорилось о том, что в «конспекте свалены в одну кучу феодализм и дофеодальный период, когда крестьяне не были еще закрепощены» [К изучению истории 1938: 19]. Впрочем, нельзя не видеть и другой стороны медали: данное высказывание само провоцировало историков на то, чтобы говорить о дофеодальном, варварском государстве. В условиях «культы личности» возможность хотя бы таким способом расширить диапазон исследовательских поисков в области политогенеза была, конечно же, полезной.

Интересно, что в 30-е гг. не очень раздражало и присутствие в русской истории норманнов в качестве завоевателей, оказавших огромное влияние на формирование «государства». За исключением некоторых историков (В.А. Пархоменко), большинство было норманистами. Но все это длилось недолго.

Созиданию новой концепции «Древнерусского государства» способствовал разгром «школы Покровского», который, как мне представляется, одновременно наносил удар и по старой историографии [Дворниченко 2008: 295–296]. Свою роль сыграла Великая Отечественная война, а затем и «холодная война». А конец всем сомнениям в области изучения Древнерусского государства положила дискуссия о периодизации истории СССР, проведенная в 1949–1951 гг. [Фроянов 2001а: 289–290]. Ее главным итогом было то, что центр тяжести формирования «феодальных отношений» был перенесен вглубь веков. Дело, естественно, не обошлось

без курьеза: «феодалные отношения» стали находить у того населения, которое и славянским-то еще нельзя было называть. Но раз был найден «феодалный базис», нужна была и соответствующая надстройка. Им и стало «раннефеодалное государство», привольно раскинувшееся на просторах Восточной Европы в IX–X вв., к созданию которого норманны уже отношения не имели.

Завершил формирование своей концепции Б.Д. Греков. Древнерусское раннефеодалное государство, которое огромно, как и сейчас огромна наша страна¹² [Греков 1959: 293], по Грекову, — это прежде всего власть киевского князя с подчиненными ему князьями и боярами [Там же: 290]. При этом князь — не самодержец, а представитель правящей знати, признающей над собою власть великого князя. Князь — глава государства, форма которого соответствовала состоянию производительных сил и производственных отношений данного времени [Там же: 247–249].

Этому государству соответствует и организация вооруженных сил. Основы военного строя Древнерусского государства были заложены в период военной демократии, когда войско от народа никак не было отделено, когда вооруженный народ и был войском. При этом в Древнерусском государстве старое демократическое военное устройство, при котором участие в войске было правом и обязанностью всех свободных, не сразу заменялось феодальной организацией войска. В князе еще сохранилось много черт народного верховного вождя времен военной демократии, а окружавшая его знать не была еще многочисленной и достаточно политически сильной [Там же: 260].

Возрастание значения вечевых собраний приходится на вторую половину XI и XII в. Это явление связано с раздроблением Древнерусского государства на «уделы»¹³. Такова судьба всех так называемых раннефеодалных монархий. Растет местное боярство, которому нужны и деньги, и войско. Но растет и город с его купеческим и ремесленным населением. Окрепшие области стараются обзавестись собственными князьями, а многим князьям это тоже на руку. Дальнейшая история частей расчлененного Древнерусского государства определяется соотношением классов в каждой из них [Там же: 288].

Как видим, схема хотя и бледна, но еще достаточно «спокойна», без тех перегибов, которые появились в будущем.

Во второй половине 50–80-х гг. идеи Б.Д. Грекова шлифовались и развивались, правда, сами «шлифовщики» иной раз не замечали, какой ревизии подвергают его идеи.

Большое внимание историков начинают привлекать «племенные княжения», изучать которые еще в 30-е гг. призывал С.В. Бахрушин. Правда, историки так и не договорились о том, что это такое. В условиях «холодной войны» понятно стремление обосновать южное происхождение «Древнерусского государства». Концепция С.В. Юшкова о «руси» — социальной группе, осевшей в городах [Юшков 1950: 244], — теперь уже кажется анахронизмом с сильным норманистским душком. «Русью» теперь называют Среднее Поднепровье — ядро древнерусской государственности¹⁴ [Тихомиров 1947: 67]. Согласно работе А.Н. Насонова 1951 г., именно здесь была территория государства, называвшегося «Русской землей», откуда власть киевских князей стала распространяться на другие земли [Насонов 2002: 195]. До абсурда довел эти идеи Б.А. Рыбаков, который открыл племенной союз «Русь».

«Союз союзов» племен — это уже государство, без всякого сомнения [Рыбаков 1982: 316]. Территория его такова, что масштабы европейской части Российской империи только в XVIII в. приблизились к Киевской Руси. Государство зарождается и получает развитие на Юге — темп исторического развития был здесь значительно более быстрым, чем на севере с его тощими лесными почвами [Там же: 284]. Популярная и в досоветской, и в советской историографии идея о возникновении государства в результате слияния двух центров — северного и южного (например, у В.В. Мавродина) — была отброшена. Знал бы почтенный академик, что теперь это будет другая страна — может, он был бы осторожнее!

Государство это, как уже отмечено, зиждется, по Б.А. Рыбакову, на феодальной основе. Что понимал ученый под феодализмом и как он в конечном счете запутался в этом вопросе, следуя то Б.Д. Грекову, то Л.В. Черепнину, — обо всем этом я говорить не буду, а отсылаю читателя к содержательной историографической книге И.Я. Фроянова [2001а: 313–316]. Для меня важно отметить другое: именно рассуждения

о некоем «феодализме» позволили Б.А. Рыбакову объяснить последующую историю Древнерусского государства.

Киевскую Русь накануне «феодальной раздробленности» Б.А. Рыбаков представил как совокупность боярских и княжеских вотчин, умудрившись даже определить их количество! Земскому боярству нужна была своя, местная, близкая власть, которая сумела бы быстро претворить в жизнь юридические нормы «Правды». Тем более что управлять такой огромной страной, как Киевская Русь, было очень трудно — ведь ее периметр составлял 7000 км [Рыбаков 1982: 403].

Такая структура была дана самой жизнью — это те союзы племен, те «княжения», которые были перечислены в свое время летописцем. Вот Киевская Русь и распалась на полтора десятка самостоятельных княжеств, более или менее сходных с полутора десятками древних племенных союзов. Правда, за это время здесь везде сложились феодальные отношения и на этой основе возникли феодальные княжества XII в. Они были вполне сложившимися государствами.

Историк рисует фантастическую картину общественно-политического строя этих земель. На этой картине находится место и боярам, и «рыцарственному дворянству», и городу — коллективному замку крупнейших земельных магнатов округи¹⁵ [Там же: 478]. Есть и церковь — еще один элемент феодального Средневековья. Все эти составные части «русского феодального общества» находились в развитии и в различных сочетаниях, образуя враждующие между собой блоки и группы.

К началу XIII в. стал более явственным неудержимый процесс феодального дробления внутри княжеств, выделение мелких удельных княжеств-вассалов. Монгольское нашествие застало Русь цветущей, богатой и культурной страной, но уже пораженной ржавчиной феодальной раздробленности. Б.А. Рыбаков отказывается от понимания всей эпохи феодальной раздробленности как времени регресса, движения вспять.

В 80-е гг. академик Б.А. Рыбаков выступил с рядом фундаментальных работ, об одной из которых я уже говорил. Были еще работы, посвященные древнерусскому и славянскому в целом язычеству. О «языческих» трудах академика недавно было хорошо сказано, что это труды человека та-

лантливому, увлеченному, эрудированному и неутомимому. Но в то же время это человек излишне самонадеянный и самоуверенный, не очень затрудняющий себя проверкой, самоконтролем, строгим отбором, не привыкший к требовательности и возражениям, словом, ошибающийся так, как может ошибаться в печати только академик: у любого другого такое просто не прошло бы¹⁶ [Клейн 2004: 94].

Думаю, что дело все-таки не в том, что Б.А. Рыбаков был академиком и даже не в том, что он возглавлял ряд головных академических учреждений. Дело в самой ситуации в науке, научной, так сказать, атмосфере... Я принципиально не стал говорить о попытках Б.А. Рыбакова увести «русскую» государственность в древность. Дело в том, что этногенетические построения такого рода давно и плодотворно подвергаются критике. Говорить серьезно о славянах раньше VI в. пока не приходится. Так что уж говорить о государстве?!

Несколько по-другому, но тоже весьма причудливо эта атмосфера сказалась на работах также ведущих историков того времени — Л.В. Черепнина и В.Т. Пашуто.

С именем Л.В. Черепнина связаны очень важные сдвиги в советских представлениях о «Древнерусском государстве». Дело в том, что это «государство» должно обязательно опираться на классовую феодальную основу. Однако со временем стало ясно, что с доказательством существования этой самой основы дело обстоит весьма напряженно. Источники практически молчат о вотчинном феодализме в Киевской Руси. И тогда Л.В. Черепнин выдвинул идею верховной феодальной собственности в Киевской Руси. Древнерусские князья предстали в роли таких «верховных собственников», а дань трактовалась как феодальная рента. Под Древнерусское государство была подведена, как казалось, нерушимая теоретическая основа. Вот почему эта теория получила широкое распространение среди историков. Но эта концепция знаменовала собой и начало конца «Древнерусского государства». Ведь теперь стало ясно, что все дело в самой основе. А если основа определена неправильно?

Что же касается непосредственно «государства» и его институтов, то Л.В. Черепнин, как талантливый и серьезный исследователь, не мог игнорировать источники и во многом возвращался к прежним историографическим клише, правда,

стараясь приспособить их к своему «древнерусскому феодализму». Так, вече, активную деятельность которого он не мог игнорировать, стало под его пером городским «советом».

Стараясь определить форму государства в эпоху «феодальной раздробленности» Л.В. Черепнин поддерживает идею В.О. Ключевского о средневековой федерации — «союзе областей через князей». Он только не согласен с тем, что этот союз носил чисто генеалогический характер. Наоборот, «этот союз сообщал государству феодально-иерархическую структуру, оформленную сетью договорных отношений между князьями на началах сюзеренитета–вассалитета» [Черепнин 1972: 375].

Такой постулат позволяет академику трактовать все политические институты Киевской Руси в феодальном ключе.

«Феодальную линию» довел до абсурда В.Т. Пашуто, который, используя выражение И.Я. Фроянова, на все смотрит через феодально-сеньориальные очки. Киевская Русь у него плотно населена рыцарями, которые развлекают себя турнирами, здесь обитают сеньоры, вассалы, права и обязанности которых историк умудряется четко определить. К формам вассалитета он относит подручничество и кормление. В Киевской Руси историк обнаруживает местничество, видимо, и его считая западным институтом, и даже термин «поместье». Древнерусские рыцари не только устраивали турниры, но и имели свои геральдические эмблемы и т.д. Древнее полюдзе — это объезд сюзереном своих владений и т.д.

Когда читаешь работы В.Т. Пашуто после работ Б.А. Рыбакова, то измышления последнего кажутся детскими шалостями. Ведь мысль Б.А. Рыбакова достаточно отвлеченно устремлялась в глубь веков, пробиралась пусть к давним и обвитым пеленой легенды, но жителям нашей российской (или украинской) земли: трипольцам, скифам, сарматам и т.д. В.Т. Пашуто же сочинил сказку вполне в духе киношедевра из далекого детства, созданного на киностудии «Беларусьфильм», — «Город мастеров». Когда же В.Т. Пашуто рассуждает о «национальных окраинах» этого «государства», то появляется совсем другая терминология, видимо, связанная уже с советскими реалиями: «подготовка местных кадров», «трудовая дружба народов» и т.д.

В 70–80-е гг. большинство советских ученых работало под влиянием идей Л.В. Черепнина. Историки изобретали разные формы «верховой феодальной собственности». Ее связывали с государством (М.Б. Свердлов), князьями (О.М. Рапов), дружиной (А.А. Горский) и т.д. «Верховная феодальная собственность» стала своего рода «палочкой-выручалочкой» для спасения древнерусского феодализма и, соответственно, древнерусской государственности. Характерна в этом смысле точка зрения В.Л. Янина. Обнаружив, что в источниках нет сведений о земельной собственности бояр до XII в., он выдвинул концепцию о «корпоративной собственности бояр» на землю и право верховного распоряжения землями, которое этой корпорации принадлежало [Янин 1981: 281]. Естественно, это позволило уже ранний новгородский социум считать боярской государственностью¹⁷.

Конечно, не все историки воспользовались черепнинской идеей о «верховой феодальной собственности». Кто-то рассматривал древнерусскую «государственность» в рамках прежней феодальной парадигмы. В.В. Мавродин в это время вообще уходит от определения — в его работах 70-х гг. мы не находим понятий «дофеодальное» и «раннефеодальное». Причину «феодальной раздробленности» он видит в развитии феодального базиса и феодальной надстройки, в классовой борьбе непосредственных производителей — крестьян — с феодалами [Дворниченко 2001: 96]. В ключе «вотчинной феодальной собственности» рассматривали «базис» «Древнерусского государства» И.И. Смирнов, А.А. Зимин, П.П. Толочко и др.

С одними славянскими «государствами», например «державой вольнян», историки к этому времени уже расстались. Другие, подобно пресловутым Куявии, Артании и Славии, были по-прежнему популярны, чтобы сгинуть уже в наши дни.

Успокоившись по поводу определения характера раннего «государства», историки стараются лучше понять «феодальную раздробленность», стремятся связать ее с предшествующим периодом «единого государства». О раздробленности как закономерном этапе «единого» (!) государства писали, как уже говорилось, В.Т. Пашуто и Л.В. Черепнин¹⁸. Феодальная раздробленность в этом смысле предстает как

«особая форма политической надстройки начального этапа развитого феодализма» [Кизилов 1979: 101].

Другими словами, по сравнению с 30–40-ми гг. меняется основная парадигма древнерусской государственности. Историки стремятся доказать, что, даже распавшись на самостоятельные «княжества», русские земли не превратились в самостоятельные государственные образования [Толочко 1987: 215]. Между тем внимательное изучение отдельных земель, создание сводных трудов по их истории (например, [Древнерусские княжества 1975] и др.) лишь «объективно усиливали тезис об аморфности территориальной структуры» Киевской Руси, возвращая к подходам 30–40-х гг. [Шишкин 1997: 218]. «Феодальная» фразеология, украшавшая эти работы, от такого эффекта не спасала.

Впрочем, в 70–80-е гг. появились и более серьезные проблемы у «Древнерусского государства». Некоторые историки стали сомневаться в его «феодальном базисе». Такое сомнение не могло не поставить вновь и вопрос о «надстройке». Некоторые историки в это время возвращаются к проблеме «рабовладельческой формации», отброшенной наукой в 30-е гг. Впрочем, на этой почве у них вырастают разные виды древнерусской государственности. А.П. Пьянков вновь обнаружил государство у антов [Пьянков 1980: 6], а В.И. Горемыкина писала о «варварских государствах», подобных государствам Западной Европы. Она считает и там, и здесь эти государства «дофеодальными», но относит их к «рабовладельческой формации» [Горемыкина 1982].

Наиболее весомо против древнерусского феодализма выступил петербургский ученый И.Я. Фроянов, который выдвинул идею о господстве в экономике общинной собственности на землю. По его мнению, вотчина была островком в море свободного общинного землевладения [Фроянов 1974]. Изучив политические отношения в Киевской Руси, И.Я. Фроянов вернулся к идеям волостного строя, которые, как мы видели, активно развивались в дореволюционной исторической науке, показал активную роль общины в политической жизни [Фроянов 1980]. Земли — волости Киевской Руси (города-государства) были подробно изучены в специальной монографии [Фроянов 1974].

В работах А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Кривошеева, И.Б. Михайловой, А.В. Майорова, А.В. Петрова, В.В. Пузанова и других представителей школы И.Я. Фроянова рассматривались те или иные аспекты истории «нефеодальной» Руси. Однако вопрос о характере государственного строя оставался недостаточно разработанным, и в 1991 г. И.Я. Фроянов посвятил этому вопросу отдельную статью [Фроянов 2001б: 717–762]. С его точки зрения, главные отличительные признаки государства (территориальный принцип размещения населения, публичная власть, взимание налогов) появляются не сразу, а постепенно, один за другим. В первую очередь у восточных славян возникают и укрепляются принудительная публичная власть и взимаемые насильственным порядком поборы в виде даней как элементы государственности. Выступают они еще в примитивной форме, в рамках сначала союзов племен, а затем союзов союзов (суперсоюзов) племен, то есть в родоплеменной оболочке. В конце X — начале XI в. родовые отношения распадаются, население размещается по территориальному принципу в виде городов-государств, государств-общин. В результате завершается формирование трех главных компонентов государственности. Эти идеи историк положил в основу изучения новгородской государственности, которой посвятил отдельный труд [Фроянов 1992]. При этом он совершенно по-новому, оригинально объяснил «объединение» Новгорода и Киева при князе Олеге. Его, собственно, и не было. Словене и их союзники получили дань как победители с Киева, а Древнерусское государство конца IX в., объединившее Северную и Южную Русь, — не более, чем ученый миф [Там же: 117, 125].

В другой книге историк писал: «Так называемое “Киевское государство” X в. являло собой конгломерат племен, рыхлое и неустойчивое межплеменное образование, сооруженное Киевом посредством военного принуждения прежде всего с целью получения даней и не имеющее прочных внутренних связей, а потому готовое в любой момент рассыпаться» [Фроянов 1996: 447].

Эти работы И.Я. Фроянова были уже написаны на «гребне» «перестройки». Время этой самой «перестройки» стало не очень удачным для «Древнерусского государства». Прежние идеи уходили в прошлое... Становится массовым отход

от признания классовой обусловленности образования государства [Пузанов 2007: 9]. Более трезво историки начинают смотреть и на сам процесс возникновения и развития государства¹⁹.

Не имея здесь возможности подробно анализировать новейшую историческую литературу, отмечу, что переход от феномена советской историографии к новой научной парадигме на поверку оказался не таким уж болезненным. Мы просто вернулись к тому плюрализму мнений, который существовал в «дореволюционный» период. Одни историки или вовсе не видят государства в Киевской Руси [Дворниченко 2006а: 184–195; 2010], другие находят только при самом «мягком» его определении [Данилевский 1999: 166]. Широкое хождение в отечественной (и «ближнего зарубежья») историографии получило понятие «вождество», которое пытаются так или иначе синтезировать с традиционным представлением о «Древнерусском государстве» [Моця 1993; Баран 2000].

Не хотят отказываться от Древнерусского государства и те, кто пишет о «потестарном государстве» (М.Б. Свердлов), поливариантности путей развития государства (Е.А. Шинаков), сложной, поэтапно сменяющейся системе союзов племен и завоевательном пути развития государства (В.В. Пузанов). Неожиданную и широкую популярность обрели идеи некоторых «дореволюционных» авторов — Ф.Л. Морощкина, Н.П. Ламбина и особенно Е.А. Белова — об определяющей роли в политогенезе дружины. Результатом стала надуманная концепция «дружинного государства» (А.А. Мельникова, А.А. Горский). Государство представляется как форма «сожителства одной семьи» (А.П. Толочко); новое дыхание получает пресловутая империя (Я.Н. Щапов, В.Б. Перхавко и др.). На этом, впрочем, позволю себе остановиться и сделать вывод.

В далеком уже сейчас 1987 г. известный специалист по истории Киевской Руси П.П. Толочко задумывался над тем, чем вызвано такое различие в представлениях историков о государственной системе Древней Руси, и объяснял его «характером письменных источников»²⁰ [Толочко 1987: 214]. Можно к этому добавить и сильное влияние господствующей идеологии, наконец, саму логику науки, которая находится в постоянном развитии.

Но поневоле возникает и еще один вопрос, который созвучен с произведением великого У. Блейка, вынесенным мной в качестве эпиграфа. Его можно сформулировать так: «А были ли папа?» Или это химера, видение, которое уносит поднявшийся порывистый ветер? Другими словами, а было ли это мифическое государство, которое якобы стоит у истоков государственной традиции восточнославянских стран? Может быть, правы те историки, которые, подобно Ф.И. Леонтовичу, Н.П. Павлову-Сильванскому и др., считали весь период Киевской Руси общинным. По крайней мере, это объясняет беспрецедентную для Европы силу общины в последующей нашей истории. Если бы это государство было, мы бы, наверное, не жили сейчас в разных государствах, к тому же слабо развитых. Впрочем, тема нуждается в дальнейшем обсуждении.

¹ Со временем, правда, норманнская проблема приобрела другой характер. В одном из учебников советского времени находим такое ее определение: «Сущность “норманнской проблемы” заключается отнюдь не в вопросе об этническом составе варягов (вряд ли теперь можно сомневаться, что они были выходцами из Скандинавии), а в их значении в процессе складывания Киевского государства» [Базилевич 1950: 64].

² Современный исследователь А.Н. Шаханов дает однозначный ответ: «Киевскую Русь государством в полном смысле этого слова (как он его понимал)», С.М.Соловьев не считает [Шаханов 2003: 53–54].

³ В целях экономии места не касаюсь здесь воззрений столпов славянофильства, кои были весьма расплывчатыми.

⁴ В другой работе историк пишет о том, что «волость, или область, иногда совпадала с землей... но обыкновенно составляла только часть ее» [Ключевский 1989: 98].

⁵ Историк отрицает возможность появления «городовых областей» на племенной основе, так как не было ни одной волости, которая состояла бы из одного цельного племени. См. также: [Ключевский 2003: 20; 1992: 24].

⁶ «Опыт просветительской и романтической историографии в изучении становления феодализма при этом не учитывался. Он был, вероятно, к тому времени забыт» [Свердлов 1996]. Полагаю, что этот опыт не стоит преувеличивать.

⁷ «К XIII в. нашего летоисчисления, то есть 600 назад, у нас установились те порядки, которые принято называть феодальными», — писал Покровский в более поздней работе [Покровский 1932: 41].

⁸ «Мало-помалу Русь подчинила себе некоторые славянские племена и образовала сильное государство, центром которого сделался Киев» [Иловайский 1992: 23].

⁹ Можно согласиться с М.Б. Свердловым в том, что эти идеи стали «новым стереотипом исторического мышления», но никак нельзя согласиться с тем, что они возникли лишь под влиянием «Великих реформ» 60–70-х гг. [Свердлов 1996: 90, 126]. Рост данных идей стал свидетельством прогресса в науке, показателем более тонкого и адекватного понимания исторической действительности.

¹⁰ В докладе, прочитанном, вероятно, в 1928–1929 гг., С.В. Бахрушин говорил, что первая попытка политического объединения при Владимире Святом и при Ярославе распадается и в ее результате образуется только понятие о единстве княжеской династии [Бахрушин 1987: 78].

¹¹ Впрочем, впоследствии выяснилось, что из «классиков» можно извлечь все, что угодно, вплоть до идеи о «родовом государстве».

¹² «Три братских народа ведут свое происхождение от общего корня древнерусской народности, создавшей самое мощное государство в средневековой Европе IX–XII вв.» — таков «слоган» 50-х гг. [Тихомиров 1975].

¹³ Судя по всему, Б.Д. Грекову не очень нравился применяемый С.В. Юшковым для этого времени термин «феодалная монархия».

¹⁴ Данная концепция зародилась еще в «дореволюционной» историографии.

¹⁵ В другом месте он пишет, что первоначально города были средоточием торгового и ремесленного и пунктами административного управления.

¹⁶ Я помню, как реагировал со свойственным ему чувством юмора на выход в свет трудов Б.А. Рыбакова мой первый учитель — В.В. Мавродин. Он сказал: «Академикам можно все...». В 90-е гг., когда у людей развязались языки, концепция Б.А. Рыбакова подверглась ожесточенной и не всегда корректной, но, к сожалению, вполне справедливой критике со стороны его бывших коллег.

¹⁷ См. критику такого подхода в кн.: [Фроянов, Дворниченко 1988: 190–196].

¹⁸ Впрочем, первопроходцем в этом вопросе, как и в вопросе о верховной феодальной собственности, был украинский археолог В.О. Доуженок.

¹⁹ Наличие полноценных и полновесных историографических обзоров позволяет мне в рамках данной статьи быть кратким. См.: [Пузанов 2001: 3–51; Шинаков 2009: 3–65].

²⁰ Интересно, что сам П.П. Толочко — археолог! Наверное, не ошибусь, если отнесу этот «характер» и к археологическим источникам.

Алтатов В.М. 1991. История одного мифа: Марр и марризм. М.
Базилевич К.В. 1950. История СССР от древнейших времен до конца XVII века. М.

Баран Я.В. 2000. Суспільний лад та соціальні відносини // Давня історія України. Т. 3: Слов'яно — Руська доба. Київ.

Бахрушин С.В. 1936. К вопросу о русском феодализме // Книга и пролетарская революция. № 4.

Бахрушин С.В. 1937а. К вопросу о крещении Киевской Руси // Историк-марксист. № 2.

Бахрушин С.В. 1937б. Некоторые вопросы истории Киевской Руси // Историк-марксист. № 3.

Бахрушин С.В. 1938а. Держава Рюриковичей // ВДИ. № 2.

Бахрушин С.В. 1938б. Киевское государство // Пропагандист. № 13.

Бахрушин С.В. 1939. «Феодальный порядок» в понимании М.Н. Покровского // Против исторической концепции М.Н. Покровского: сб. ст. М. Ч. 1.

Бахрушин С.В. 1987. Вопрос о русском феодализме в научной литературе // Бахрушин С.В. Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма. М.

Белов Е.А. 1886. Об историческом значении русского боярства до конца XVII в. // ЖМНП. Ч. ССXLIII. Янв.

Белов Е.А. 1895. Русская история до реформы Петра Великого. СПб.

Беляев И.Д. 1999. История русского законодательства. СПб.

Беляев И.Д. 2004. Судьбы земщины и выборного начала на Руси // Беляев И.Д. Земский строй на Руси. СПб.

Владимирский-Буданов М.Ф. 1995. Обзор истории русского права. Ростов н/Д.

Волк С.С. 1958. Исторические взгляды декабристов. М.; Л.

Горемыкина В.И. 1982. Возникновение и развитие первой антагонистической формации в средневековой Европе. Минск.

Готье Ю.В. 1930. Железный век в Восточной Европе. М.

Градовский А.Д. 1868. Государственный строй древней России (Вече и князь. Русское государственное устройство во времена князей Рюриковичей. Исторические очерки В.И. Сергеевича) // ЖМНП. Ч. СХL. Ноябрь.

Греков Б.Д. 1936. Предисловие // Памятники истории Киевской Руси IX–XII вв. Л.

Греков Б.Д. 1959. Киевская Русь // Греков Б.Д. Избранные труды. М. Т. II.

Грушевський М.С. 1991. Історія України–Руси: в 11 т., 12 кн. Київ. Т. I.

Грушевський М.С. 1991. Історія України–Руси: в 11 т., 12 кн. Київ. Т. III.

Грушевський М.С. 1991. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя. Київ.

Данилевский И.Н. 1999. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). М.

Дворниченко А.Ю. 2001. Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и творчества. СПб.

Дворниченко А.Ю. 2005. О периодизации и содержании курса русской историографии // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. Вып. 4.

Дворниченко А.Ю. 2006а. О восточнославянском политогенезе в VI–X вв. // *Rosssica antique: Исследования и материалы–2006.* СПб.

Дворниченко А.Ю. 2006б. А.Е. Пресняков — исследователь Киевской Руси // Исследования по истории средневековой Руси. К 80-летию Юрия Георгиевича Алексеева. М.; СПб.

Дворниченко А.Ю. 2008. «Феномен в феномене» или «историк с пикой» о Киевской Руси // Страницы истории: сб. науч. ст., посвящ. 65-летию со дня рождения проф. Г.А. Тишкина. СПб.

Дворниченко А.Ю. 2010. Российская история с древнейших времен до падения самодержавия. М.

Дворниченко А.Ю. 2012. Н.М. Карамзин и Н.А. Полевой о древнерусской государственности (в печати).

Дербин Е.Н. 2007. Институт княжеской власти на Руси IX — начала XIII в. в дореволюционной отечественной историографии. Ижевск.

Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975.

Дубровский А.М. 2005. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск.

Забелин И.Е. 2008. История русской жизни. Минск. Т. II.

Иловайский Д.И. 1992. Краткие очерки русской истории. Курс старшего возраста. М. Ч. I.

Иловайский Д.И. 1996. История России. Становление Руси (Периоды Киевский и Владимирский). М.

Историк-марксист. 1938. № 1. С. 130–132.

К изучению истории. 1938. (Под наблюдением Д.Чугуева). М.

Кавелин К.Д. 1989. Взгляд на юридический быт древней России // Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М.

Карамзин Н.М. 1989. История государства Российского: в 12 т. М. Т. I, II–III.

Кизилов Ю.А. 1979. Советская историография феодальной раздробленности и форм государственного строя средневековой Руси // История СССР. № 2.

- Киреева Р.А.* 2004. Государственная школа: историческая концепция К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. М.
- Клейн Л.С.* 2004. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб.
- Ключевский В.О.* 1987. Курс русской истории. Ч. 1 // Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. М. Т. I.
- Ключевский В.О.* 1989. Терминология русской истории // Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. М. Т. VI: Специальные курсы.
- Ключевский В.О.* 1992. Краткое пособие по русской истории. М.
- Ключевский В.О.* 2003. Боярская Дума Древней Руси // Ключевский В.О. О государственности в России. М.
- Корф С.А.* 1908. История русской государственности: Основные черты Древнерусского государства. СПб. Т. 1.
- Костомаров Н.И.* 1994а. Начало единого государства в древней Руси // Костомаров Н.И. Раскол. Исторические монографии и исследования. М.
- Костомаров Н.И.* 1994б. Мысли о федеративном начале в древней Руси // Костомаров Н.И. Бунт Стеньки Разина. Исторические монографии и исследования. М.
- Костомаров Н.И.* 1995а. Лекции по русской истории. Ч. 1 // Костомаров Н.И. Земские соборы. Исторические монографии и исследования. М.
- Костомаров Н.И.* 1995б. Князь Владимир Мономах и козак Богдан Хмельницкий // Казаки. Исторические монографии и исследования. М.
- Леонтович Ф.И.* 1874. Задружно-общинный характер политического быта древней России // ЖМНП. Июль. Ч. CLXXIV.
- Лешков В.Н.* 1856. Общинный быт древней России // ЖМНП. Авг.
- Мавродин В.В.* 1967. Советская историография Древнерусского государства // ВИ. № 12.
- Мавродин В.В.* 1978. Советская историография Киевской Руси. Л.
- Максимейко Н.А.* 1910. Лекции по истории русского государственного права. Харьков.
- Малиновский И.А.* 1905. Народ и власть в русской истории. Киев.
- Малиновский О.* 1929. Стародавній державний лад східніх слов'ян і його пізніші зміни. Нариси з історії права. Київ.
- Милоков П.Н.* 2006. Главные течения русской исторической мысли. М.
- Моця А.П.* 1993. Населення південно-руських земель IX–XIII ст. Київ.

Насонов А.Н. 2002. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. Историко-географическое исследование. Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. СПб.

Никитский А.И. 1870. Теория родового быта в древней Руси // Вестник Европы. Авг. Т. IV.

Павлов-Сильванский Н.П. 1989. Феодализм в России. М.

Пархоменко В.А. 1922. Из древнейшей истории восточного славянства // ИОРЯС. Т. 23.

Пасек В.В. 1870. Княжеская и докняжеская Русь // Пасек В.В. Исследования в области русской истории. М.

Погодин М.П. 1846. Исследования, замечания и лекции о русской истории. М. Т. III: Норманнский период.

Покровский М.Н. 1932. Русская история в самом сжатом очерке. М.

Покровский М.Н. 1966. Избранные произведения. М. Кн. 1.

Полевой Н.А. 1997. История русского народа. М. Т. 1.

Пресняков А.Е. 1928. Вильгельм Томсен о древнейшем периоде русской истории // Памяти В. Томсена. К годовщине со дня смерти. Л.

Пресняков А.Е. 1938. Лекции по русской истории. М. Т. I: Киевская Русь.

Пресняков А.Е. 1993. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М.

Пузанов В.В. 1995. Княжеское и государственное хозяйство на Руси X–XII вв. в отечественной историографии XVIII — начала XX в. Ижевск.

Пузанов В.В. 2007. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск.

Пьянков А.П. 1980. Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси. Минск.

Рубинштейн Н.Л. 1938. От редакции // Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. М. Т. 1: Киевская Русь.

Рубинштейн Н.Л. 2008. Русская историография. 2-е изд. СПб.

Рыбаков Б.А. 1982. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М.

Самоковасов Д.Я. 1896. Исследования по истории русского права. М. Вып. I–II.

Свердлов М.Б. 1996. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII–XX вв. СПб.

Сергеевич В.И. 2007. Древности русского права: в 3 т. М. Т. 1: Территория и население; Т. 2: Вече и князь. Советники князя.

Смірнов П. 1928. Волзьский шлях і стародавній руси. Київ.

Соловьев С.М. 1988. Сочинения. М. Кн. II: История России с древнейших времен. Т. 3–4.

Соловьев С.М. 1991. Сочинения. М. Кн. VII: История России с древнейших времен. Т. 13–14.

Тихомиров М.Н. 1947. «Русь» и «Русская земля» // Советская этнография. Т. VI–VII.

Тихомиров М.Н. 1975. Значение Древней Руси в развитии русского, украинского и белорусского народов // Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М.

Толочко П.П. 1987. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев.

Филитов А.Н. 1912. Учебник истории русского права (Пособие к лекциям). 4-е изд., изм. и доп. Юрьев.

Фомин В.В. 2005. Варяги и варяжская Русь: к итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М.

Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. 1988. Города-государства Древней Руси. Л.

Фроянов И.Я. 1974. Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. Л.

Фроянов И.Я. 1980. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л.

Фроянов И.Я. 1990. Киевская Русь. Очерки отечественной историографии. Л.

Фроянов И.Я. 1992. Мятёжный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX — начала XIII столетия. СПб.

Фроянов И.Я. 1996. Рабство и данничество у восточных славян (VI–X вв.). СПб.

Фроянов И.Я. 2001а. Киевская Русь. Очерки отечественной историографии // Фроянов И.Я. Начала русской истории. Избранное. М.

Фроянов И.Я. 2001б. К истории зарождения Русского государства // Фроянов И.Я. Начала русской истории. Избранное. М.

Хлебников Н.И. 1872. Общество и государство в домонгольский период русской истории. СПб.

Цамутали А.Н. 1971. Очерки демократического направления в русской историографии 60–70-х гг. XIX в. Л.

Цамутали А.Н. 1977. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX в. Л.

Черепнин Л.В. 1972. К вопросу о характере и форме Древнерусского государства X — начала XIII в. // Исторические записки. М. Т. 89.

Чичерин Б.Н. 1858. Опыты по истории русского права. М.

Шаскольский И.П. 1978а. Норманнская проблема в советской историографии // Советская историография Киевской Руси. Л.

Шаскольский И.П. 1978б. Образование Древнерусского государства // Советская историография Киевской Руси. Л.

Шаханов А.Н. 2003. Русская историческая наука второй половины XIX — начала XX в. Московский и Петербургский университеты. М.

Шахматов А.А. 1919. Древнейшие судьбы русского племени. Пг.

Шинаков Е.А. 2009. Образование Древнерусского государства. 2-е изд., испр. и доп. М.

Шишкин И.Г. 1997. Проблемы образования Древнерусского государства в отечественной историографии (1917–1990-е гг.): дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург.

Шнирельман В.А. 1993. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // Этнографическое обозрение. № 3.

Щапов А.П. 1906. Сочинения. СПб. Т. 1.

Щапов А.П. 1926. Неизданные сочинения. I. Общий взгляд на историю великорусского народа. Казань.

Эверс И.Ф.Г. 1835. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. СПб.

Юсова Н.М. 2005. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті — перша половина 1940-х рр.). Вінниця.

Юшков С.В. 1939. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.; Л.

Юшков С.В. 1950. Русская Правда. М.

Янин В.Л. 1981. Новгородская феодальная вотчина. М.

Д.Е. Алимов

ХОРВАТЫ В ДАЛМАЦИИ В VII–IX вв.: ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ*

Методологические трудности, стоящие перед исследователем этнической истории в раннее Средневековье, далеко не исчерпываются контроверзой двух основных подходов к пониманию феномена этничности — примордиализма и конструктивизма. Едва ли можно признать праздным вопрос о том, насколько вообще корректно считать раннесредневековые групповые идентичности этническими. В последние десятилетия историками неоднократно подчеркивалась та роль, какую в становлении этнического дискурса в «варварской» Европе сыграли представители интеллектуальной элиты, образованные индивидуумы, вписавшие варварские групповые идентичности в те представления о «народах», которые были унаследованы ими еще от античной этнографии. Воздействие античной этнографии и Священного Писания на формирование этнического дискурса в раннесредневековой Европе действительно велико. Но значит ли это, что сами варвары, по крайней мере те, что не попали под влияние античного наследия и еще не были обращены в христианство, не знали деления на этнические общности? Подобно первым этнографам, начавшим в свое время описывать малоизвестные или вовсе не известные дотолем европейцам народы Африки и Нового Света, исследователь раннего Средневековья сталкивается с огромным количеством групповых идентичностей, в чем-то напоминающих современные этнические идентичности. Как и этнографы, историки часто записывали обладавшие этими идентичностями общности в число «племен», понимая под этим термином раннюю форму этнической общности. Между тем эти идентичности могли означать принадлежность к родственному коллективу, локальным общинам, языковым общностям, социальным и профессиональным группам, полити-

* Работа выполнена при поддержке Американского совета научных обществ (the American Council of Learned Societies), краткосрочный грант 2010 г.

ческим формированиям и т.п. Разграничить эти идентичности на практике, отделив этническую идентичность от неэтнической, представляется во многих случаях исключительно сложно, если вообще возможно. Основная причина кроется, как кажется, в синкретичности самосознания людей домодерных обществ, его семантической недифференцированности [Калинин 2000: 46–47].

Подобная ситуация побуждает некоторых исследователей по возможности отказываться от использования терминов «этнос» и «этнический» применительно к раннесредневековым общностям, предпочитая им терминологию, заимствованную из раннесредневековых источников. Одним из таких терминов становится используемое в раннесредневековых латиноязычных текстах понятие “gens” и производный от него термин «гентильный». Как в свое время показал Р. Венкус, *gentes* являли собой гетерогенные общности, политически, социально и идеологически конструируемые на основе воинской группы, сплотившейся вокруг харизматического вождя [Wenskus 1961]. Идеологически конституирующим элементом такой общности была вера в общее происхождение, что очень сближает эти общности с тем, что обычно понимается под этносом. Вместе с тем социальная, политическая и «этническая» (то есть основанная на вере в общее происхождение) идентичности были здесь практически неотделимы друг от друга. Поэтому целесообразно именовать такие общности не этническими, а этнополитическими, используя термин, устоявшийся в отечественной социальной антропологии.

Между тем этнополитические организмы были отнюдь не единственными типами общностей, существовавших в варварской Европе. Помимо родственных коллективов и локальных общин, несомненно, существовали и другие общности, соотношение которых с тем, что мы вкладываем сейчас в понятие этнической группы, остается во многих случаях совершенно неясным. Дискуссионным остается и вопрос о том, насколько сами гентильные идентичности как «этнические» идентичности раннего Средневековья являлись продуктом развития собственно варварского бесписьменного общества, а насколько — следствием структуризации варварских групповых идентичностей в рамках восходящего к Античности «книжного» дискурса образованных авторов письменных па-

мятников. Наконец, не до конца ясно также и то, являлись ли *gentes* универсальной формой «этнического» развития в варварской Европе. Несомненно то, что, подобно германским *gentes*, так называемые славянские «племена» или «племенные союзы» кочевников, также могут быть отнесены в большем числе случаев к разряду этнополитических организмов. Вопрос, однако, заключается в том, насколько схожи или различны были в этих общностях основополагающие скрепы социальной кохезии, обеспечивавшие их устойчивость. Все три обозначенные проблемы имеют непосредственное отношение к рассмотрению процесса, который мы называем формированием этнополитической общности далматинских хорватов.

1. Проблема «протохорватов»

В ряду вопросов, относящихся к проблематике формирования на территории бывшей римской провинции Далмации хорватского этнополитического организма, перед исследователями прежде всего возникал вопрос о том, что представляла собой общность первоначальных носителей имени «хорват» в момент ее первого появления на территории Балкан. В числе ответов на этот вопрос, предлагавшихся в историографии, долгое время доминировало определение данной общности как «племени» или группы «племен». Подобный взгляд, согласно которому хорватами первоначально именовалось лишь одно из нескольких славянских «племен», пришедших на Балканы и принявших общее название хорватов, был широко представлен в историографии второй половины XIX — первой половины XX в. При этом одни авторы считали хорватов частью славянских «племен», расселявшихся на Балканах еще со времен аварского завоевания и постепенно освободившихся из-под власти аваров, другие же полагали, что хорватские «племена» пришли в Далмацию позднее других славян, которых они освободили от аварского владычества (обзор мнений см.: [Niederle 1906: 251–262; Šišić 1990: 236–265]).

Хотя в послевоенной историографии известные по источникам XI–XIV вв. родственные коллективы хорватской знати, включавшиеся ранее в число древних славянских (хорватских) «племен», уже не именовали «племенами», предпочитая использовать в их отношении иные термины («братство», «патронимия» и др.) [Mandić 1952; Ефремов 1963], возникно-

вание этих родственных групп нередко относили к эпохе, современной появлению хорватов на Балканах [Mandić 1952: 270–276; Бромлей 1964: 194–196]. Раннее же хорватское политическое образование в Далмации предпочитали именовать «племенным союзом» [Бабић 1953: 169], намекая, таким образом, на то, что в его составе существовали некие «племена», будь то компоненты того конгломерата, который под именем хорватов появился в Далмации, или некие славянские общности, включенные в состав хорватского объединения уже в процессе освоения хорватами «новой родины» [Наумов 1982: 168–170]. С этого же времени в историографии прочно закрепилось мнение, остающееся до сих пор довольно популярным, что появление хорватов в Далмации было второй волной славянского расселения на этой территории, причем на Балканах оказалась часть уже давно существовавшего к тому времени хорватского «племени» [Grafenauer 1950: 45–47; 1952: 33–38, 42–44; Barada 1952: 7–17; Łowmiański 1964: 182–200]. Отвечая на вопрос, к какому времени следует относить сложение славянского «племени» хорватов, исследователи, отгалкиваясь от гипотезы об иранском происхождении названия «хорват», нередко указывают на период славянизации ираноязычного населения в Восточной Европе, протекавший задолго до появления хорватов на берегах Адриатики [Седов 1987: 20; Майоров 2006: 80–173].

Наряду с давней традицией рассматривать первоначальную хорватскую общность в качестве славянского «племени» в историографии уже более ста лет сохраняет свои позиции и иной взгляд на ее характер. Развивая тезис о том, что пришедшие в Далмацию хорваты составили господствующий социальный слой в созданном ими политическом образовании [Klaić 1897: 1–85], и/или концептуализируя явно неславянское происхождение самого названия «хорват», некоторые исследователи рассматривали хорватов в качестве общности, глубоко отличной от земледельцев-славян по своему социальному характеру. Одни авторы писали при этом о воинственном хорватском племени, своего рода «народе-войске», чья эффективная военная организация позволила ему победить аваров и установить свою прочную власть над населением Далмации, другие всячески подчеркивали то обстоятельство, что, по их мнению, появившиеся в Далмации хорваты являли собой

не столько племя в традиционном смысле слова, сколько воинский контингент. Хотя и те, и другие исследователи настаивали при этом на неславянском происхождении хорватов, этноязыковая и этнокультурная принадлежность пришельцев определялась ими по-разному: в хорватах видели общность готского [Gumplowicz 1996; Šegvić 1997; Rus 1931; 1933], иранского [Hauptmann 1937; Sakač 1937; 1942; 1955], кавказского (адыгского) [Županić 1925; 1927; 1928] или тюркского (аварского или болгарского) [Howorth 1882: 224; Bury 1889: 275–276; Kelemina 1939: 28–30] происхождения.

Противоположные взгляды исследователей на социальный облик «протохорватов», которые по крайней мере в большинстве случаев могут быть сведены к альтернативе «славянские пахари — неславянские (готские, иранские и др.) ратники», в большинстве случаев предопределяли и соответствующие ответы на вопрос о том, что представляла собой древнейшая хорватская полития. В рамках одной историографической традиции ранняя хорватская полития, если, конечно, подобное определение вообще здесь уместно, представлялась как рыхлое объединение славянских жуп, в котором хорваты мало чем отличались от прочих славян. Лишь позднее — в результате самостоятельного «созревания» или под внешним воздействием (со стороны франков) — это образование стало государством с прочной центральной властью [Šišić 1990: 263–265, 268–269, 276–279, 664; Lanović 1938: 189–197]. В рамках другой историографической традиции акцент, наоборот, делался на воинском характере хорватской общности, в связи с чем считалось возможным говорить о появлении в Далмации прочной политической организации — государства — уже вследствие завоевания этой территории хорватами [Gumplowicz 1996; Županić 1922; Hauptmann 1942].

Интересно, что при всех изменениях в методологии, похожая ситуация сохранилась и в послевоенной историографии. Показательным примером являются выступление в 1970-е гг. Н. Клаич против возобладавшего к тому времени в хорватской историографии тезиса о существовании в Далмации VII–VIII вв. хорватского «племенного союза», трансформировавшегося впоследствии в Хорватское государство, и реакция на него И. Беуца. Отвергая вслед за другими авторами развивавшуюся Л. Хауптманном теорию «социального

дуализма», согласно которой потомки хорватов-завоевателей столетиями оставались в Далмации господствующим слоем населения, Н. Клаич, тем не менее, указала на недопустимость преуменьшения роли хорватов в борьбе с аварами, о которой сообщается в трактате императора Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» (середина X в.). По мнению исследовательницы, невозможно представить, чтобы простые землепашцы прошли через Аварский каганат и организовали восстание против аваров, а потому хорваты должны были представлять собой «воински организованную группу» или «военную дружину», установление господства которой над славянами в Далмации положило начало не племенному союзу, а государству [Klaić 1975: 147–148]. Напротив, И. Беуц, критикуя Н. Клаич за излишнее, по его мнению, доверие позднейшим свидетельствам Константина Багрянородного, высказал убеждение, что в случае с хорватами речь шла об одной из групп славян, отношения которой с прочими славянами в Далмации на основании имеющегося материала не поддаются определению [Beuc 1976: 107–110]. Как видно, даже спустя полвека после появления работ Ф. Шишича, рисовавшего хорватов славянским племенем, ничем не отличавшимся от других славян [Šišić 1990: 263–265], и Л. Хауптманна, видевшего в них иранских по происхождению завоевателей, установивших свое господство над славянами [Hauptmann 1925a; Hauptmann 1925b], ситуация в оценке в историографии места «протохорватов» в складывавшейся в Далмации хорватской политической организации не претерпела существенных изменений.

Следует подчеркнуть, что зачастую исследователи, называвшие первоначальных хорватов «племенем» или «воинской группой», явно недостаточно конкретизировали, что они имели в виду. Лишь в недавнее время в историографии проявился взгляд на первоначальную хорватскую общность как на аналог раннесредневековых германских *gentes*, понимаемых при этом под влиянием исследовательских результатов Р. Венкуса не как гомогенные родовые организмы, а как гетерогенные этнополитические общности [Ančić 2000: 77]. Казалось бы, в рамках такого подхода традиционно использовавшееся в историографии противопоставление «племя — воинский контингент» может показаться весьма условным,

если даже не лишенным смысла. Однако нельзя не отметить, что с попыткой применить к проблеме формирования общности далматинских хорватов этногенетическую модель Р. Венкуса давний историографический спор относительно социального облика первоначальной хорватской общности лишь обретает новое качество. Само по себе признание того, что раннесредневековые «племена» являли собой гетерогенные этнополитические организмы, формировавшиеся на основе воинских элит, не освобождает нас от необходимости дать ответ на вопрос, с какого именно времени можно говорить о существовании хорватской общности в качестве *gens*. Иными словами, мы вновь возвращаемся к старой дилемме, появилась ли в Далмации группа ратников или сюда переселился целый «народ», уже сплотившийся вокруг нее.

Известия письменных источников, которые, начиная с IX в. фиксируют проживание хорватов в разных частях Центральной Европы, как и наличие на ее карте немалого количества топонимов, очевидно, произведенных от слова «хорват», традиционно интерпретировались в историографии как следы существования в более или менее отдаленном прошлом единой этнической общности, носившей название хорватов. Подобное представление, которому трудно отказать в логичности, как казалось, хорошо соотносилось и с известиями нарративных источников X–XIII вв. о ранней истории Далматинской Хорватии, согласно которым хорваты пришли в Далмацию с территории древней прародины, располагавшейся в Центральной Европе к северу от Балканского полуострова. Между тем отсутствие в источниках упоминаний о хорватах вплоть до IX в., а также трудности согласования позднейшей информации о переселении хорватов на Балканы с реалиями, восстанавливаемыми по более ранним источникам, создавали благоприятную почву для появления альтернативной концепции хорватского «этногенеза». Ее сторонники пытались обосновать тезис о том, что первоначальные хорваты не являлись этнической общностью, представляя собой социальный слой Аварского каганата [Kronsteiner 1978; Wolfram 1979: 9; Pohl 1985; 1988: 261–268; 1995; Pritsak 1990; Budak 1990; 1994: 11–12, 67–69; Margetić 1995b].

В последнее время важный импульс к развитию идеи, согласно которой название «хорват» первоначально не имело

этнического значения, дало рассмотрение хорватского «этногенеза» с позиций конструктивистского подхода к пониманию этничности, позволившее Д. Дзино сместить фокус исследовательского внимания с проблемы «происхождения хорватов» на проблему «становления хорватами» [Dzino 2006: 17; 2009; 2010a: 175–210; Дзино 2008]. Отталкиваясь от данной методологической позиции, представляющейся нам в свете высказанных выше замечаний о характере раннесредневековых групповых идентичностей наиболее верной, мы сконцентрируем основное внимание на выявлении социально-политического контекста, в котором зародился хорватский этнополитический организм. Ввиду того что данный контекст определялся главным образом политическим присутствием в Далмации аваров и франков, мы последовательно рассмотрим воздействие данных акторов политической истории Далмации на эволюцию хорватской групповой идентичности в VII–IX вв. Правда, скудость источникового материала, относящегося к истории раннесредневековых хорватов, в сравнении, например, с историей готов, франков или болгар не позволяет в полной мере выявить «стратегии различения»¹, прилагавшиеся к хорватам извне и изнутри хорватского этнополитического организма. Отсутствие законодательных памятников заставляет черпать информацию об идентичности почти исключительно из нарративных источников, имеющих к тому же внешнее по отношению к Хорватии происхождение. Вместе с тем относительное богатство информации, представленной в этих источниках, включая присутствие в одном из них — трактате императора Константина Багрянородного «Об управлении империей» — относительно ранней версии хорватского этногенетического мифа, который может быть рассмотрен в сравнительно-исторической перспективе, внушает определенный оптимизм².

Попытки вписать известия трактата императора Константина о переселении хорватов в картину далматинского прошлого, восстанавливаемую по крайне скудным сведениям других, более ранних, источников, неизменно наталкивались на трудности, впрочем, не настолько значительные, чтобы в историографии был потерян кредит доверия к данному источнику. Если существование хорватской «прародины» где-то за пределами Далмации нельзя ни подтвердить, ни опро-

вергнуть за неимением информации других, более ранних, чем трактат императора Константина, источников, то с предпологаемым переселением хорватов на Балканы дело обстоит иначе. Несмотря на все приложенные историками старания, до сих пор не может найти удовлетворительного объяснения отсутствие каких-либо намеков на переселение хорватов в Далмацию в письменных источниках VII–IX вв. Другим трудно объяснимым моментом, как уже неоднократно отмечалось в историографии, является то обстоятельство, что, если верить трактату императора Константина, антиаварски настроенным хорватам каким-то образом удалось пройти в Далмацию из расположенной к северу от нее Белой Хорватии, несмотря на то что эти земли отделялись от Далмации центральными областями Аварского каганата, в которых аварская власть осталась непоколебимой вплоть до конца VIII в. Объяснения, дававшиеся этому обстоятельству в историографии, были весьма разнообразны. Одни авторы усматривали в нем наглядное противоречие известий императора Константина историческим реалиям, предполагая, что хорваты появились в Далмации вместе с аварами, если даже не раньше, вместе с готами. Другие, напротив, защищали авторитет императора, приводя множество объяснений тому, как хорваты могли переместиться с севера на юг, не столкнувшись при этом с аварским ядром в Паннонии (обзор мнений см.: [Guldescu 1964: 17–71; Lončar 1992; Švab 1995; Ферјанчић 1996]).

Все эти, нередко весьма остроумные, гипотезы основывались на допущении, что такие элементы традиции или концепты письменных источников, как «переселение», «война», «победа» и т.п., адекватно описывают исторические реалии, под которыми понимаются события, явившиеся наиболее важными эпизодами в истории «народа хорватов». Понятно, что такой подход почти полностью соответствовал представлениям самого ученого императора и его анонимного продолжателя — вероятного автора 30-й главы, а также тех хорватов или жителей Далмации, от которых в конечном счете эта информация попала в Константинополь. Отличие можно наблюдать лишь в том, что в историографии некоторые элементы хорватской традиции, такие, как сюжет о пяти братьях и двух сестрах, который в отличие от «переселения» или «победы

над аварами», выглядел неправдоподобно, обычно записывались в разряд легенд. Лишь относительно недавно исследователи стали открыто сомневаться в адекватности доминировавшего прежде подхода к интерпретации этих известий [Margetić 1990: 123]. Памятуя о том, что хорватская этногенетическая традиция представляет собой прежде всего отражение «этнического» дискурса хорватской элиты [Дзино 2008: 54–55; Dzino 2010b: 158–159], мы попробуем проанализировать входящие к ней известия 30-й главы трактата императора Константина.

2. Хорваты и авары

Рассказав о том, что прежде хорваты проживали в расположенной далеко за пределами Балкан «Белой Хорватии», автор 30-й главы далее сообщает: «Один из родов, отделясь от них, а именно пять братьев, Клука, Ловел, Косендцис, Мухло и Хорват и две сестры, Туга и Вуга, вместе с их народом пришли в Далмацию и обнаружили, что авары завладели этой землей. Поэтому несколько лет они воевали друг с другом — и одолели хорваты; одних аваров они убили, прочих принудили подчиниться. С тех пор эта страна находится под властью хорватов» [КБ 1991: 131]. Рассказ о поселении хорватов в Далмации, содержащийся в 31-й главе трактата, отличается главным образом отсутствием в нем упоминания о семи хорватских вождях, вместо которых фигурирует отец архонта Порги, а также приписыванием главенствующей роли в поселении хорватов в Далмации византийскому императору Ираклию (610–641) [КБ 1991: 137].

В приведенном рассказе о переселении хорватов легко распознаются элементы, характерные для этногенетических преданий. Так, ряд элементов предания (мотив одного рода, состоящего из братьев и сестер, число «семь», наличие героя — эпонима общности), очевидно, должен был подчеркивать единство группы [Тржештик 1991: 41]. В то же время уже само перечисление имен вождей должно было указывать на значимость ее отдельных составляющих, кого бы или что бы они собой не представляли [Margetić 2001: 21–22]. Как показывают исследования этногенетических преданий различных раннесредневековых *gentes*, важным элементом их представления о прошлом являлся также миф об исходе с территории

некой «прародины». В действительности же «переселение народа» могло сводиться к закреплению в том или ином районе относительно небольшой воинской группы, становившейся ядром общности, конституируемой на новом месте путем принятия соответствующей идеологии различными по своему происхождению элементами. Результаты исследований некоторых «миграций» V–VI вв. показали, что перемещения воинских групп четко фиксируются лишь в областях, расположенных в относительной близости к римскому лимесу, причем именно римские (византийские) власти зачастую играли основную роль в привлечении этих групп в те или иные приграничные районы в целях обороны от других варваров [Amory 2003: 28–29]. Локализация хорватской «прародины» на севере могла в связи с этим являться результатом позднейшей рационализации, исходившей либо от самих хорватов, либо от византийцев [Borri 2011: 216, 223–224], знавших о существовании хорватских групп на севере.

К числу элементов, характерных для этногенетических преданий, следует отнести и мотив длительной войны и завершившей ее победы над могущественным противником, с которой начинается история нового «народа». Как показал Х. Вольфрам, в этногенетических легендах раннесредневековых германских общностей событием, символизирующим рождение или выход на историческую сцену новой общности, часто являлась победа над могущественным врагом, причем этот враг оставался главным для исторической традиции данной общности, иногда даже вопреки историческим реалиям. Х. Вольфрам объясняет это сохранением памяти о том, что заявивший о себе новый «народ» первоначально был частью более большой общности, от которой он насильно отделился, ускорив тем самым ее падение [Wolfram 1995: 50–51].

Таким образом, хорватское этногенетическое предание, дошедшее до нас в изложении автора 30-й главы трактата «Об управлении империей», обнаруживает значительное сходство с другими этногенетическими традициями, в особенности с теми, что были зафиксированы у германских общностей эпохи Великого переселения народов. Это обстоятельство дает нам основание, следуя этногенетической модели Р. Венсуса, представить хорватский «этногенез» в самых общих чертах как постепенное превращение относительно неболь-

шой воинской группы в этнополитическую общность. Но дает ли нам “*origo gentis Chroatorum*” достаточно информации для того, чтобы хотя бы гипотетически восстановить исторический контекст, в котором осуществлялось это превращение? Думается, что на этот вопрос можно ответить положительно. Если вынести за скобки все те элементы хорватского этногенетического предания, которые находят многочисленные аналогии в других памятниках жанра “*origo gentis*”, в нашем распоряжении для обнаружения реалий, в которых формировалась хорватская этнополитическая общность — “*gens Chroatorum*”, останутся два ценных свидетельства — имена легендарных хорватских вождей и стойкая оппозиция «хорваты–авары».

То обстоятельство, что хорватское этногенетическое предание ставит в начало хорватской истории именно конфликт с аварами, представляется нам исключительно важным. Оно свидетельствует, во-первых, о том, что далматинские хорваты в середине X в. именно к этому периоду относили начало своего исторического бытия, и, во-вторых, о том, что для носителей хорватской этнической идентичности противопоставление себя аварам было особенно значимо. В данном контексте хорватская идентичность может и должна рассматриваться как идентичность врагов авар. Таким образом, по аналогии с другими этногенетическими традициями, сохранившими мотив победы над могущественным врагом, представляется логичным связать кристаллизацию новой, хорватской, группы с ее обособлением от более крупной общности — аварской.

Знаменательно, что подобной интерпретации оппозиции «хорваты–авары» не противоречит и второй конкретно-исторический элемент известия о переселении хорватов — имена хорватских вождей. Все высказанные в историографии суждения относительно того, кого или что могли символизировать собой семь легендарных вождей, хотя подчас и базировались на серьезном изучении этимологии имен, по понятным причинам остаются сугубо гипотетическими. Но с определенностью можно говорить о том, что имена хорватских вождей, что бы они в действительности ни означали, не являются славянскими [Katičić 1986: 84]. Некоторые из имен (Туга, Буга, Клукас, Косендцис), довольно убедительно интерпретированные в свое время Й. Микколой как тюркские,

указывают на вероятность алтайской языковой принадлежности хорватов или, по крайней мере, присутствия среди них алтайского элемента (см.: [Margetić 2001: 21–26, 196–198]). Впрочем, этнокультурному контексту «полиэтнической» аварской «империи» не противоречит и более или менее вероятное присутствие в перечне хорватских вождей иранских, адыгских или германских имен, соответствующих тем языковым общностям, к которым хорватов нередко относили авторы различных теорий их «происхождения».

Подобное прочтение хорватского “*origo gentis*” вкупе с трудно разрешимыми противоречиями, порождаемыми версией о переселении хорватов из земель, расположенных к северу от Аварского каганата, на земли, лежащие к югу от его ядра, склоняет к тому, чтобы считать первоначальную хорватскую (или лишь впоследствии осмысленную в качестве таковой) группу интегральным элементом аварской политики. Хотя сама по себе ситуация конфликта вполне могла являться фактором, способствовавшим конституированию нового этнополитического организма, у нас, разумеется, нет веских оснований считать, что война хорватов с аварами имела место в действительности. Речь могла идти и о постепенном ослаблении аварской власти, создавшем условия для кристаллизации новой политики на периферии каганата.

Впрочем, на основании информации 31-й главы того же трактата представляется возможной гипотетическая конкретизация условий, в которых могло произойти выделение хорватской группы из состава аварской этнополитической общности. Рассказав в 31-й главе своего трактата о древнем месте обитания хорватов и предложив этимологию имени «хорват», Константин Багрянородный сообщает о приходе хорватов к императору Ираклию в эпоху, когда авары заняли Далмацию и изгнали оттуда «римлян». Заключив, что после изгнания «римлян» аварами «их земли остались пустыми», император сообщает: «Поэтому, по повелению василевса Ираклия, эти хорваты, пойдя войною против аваров и прогнав их оттуда, по воле василевса и поселились в сей стране аваров, в какой живут ныне» [КБ 1991: 137]. Архонтом хорватов в это время был отец Порги. Когда же архонтом был уже сам Порга, состоялось крещение хорватов императором Ираклием, приведшим с этой целью священников из Рима

[КБ 1991: 137]. Хотя источник соответствующих известий 31-й главы остается неизвестным³, упоминание в ней императора Ираклия, в правление которого Аварский каганат действительно пережил крупный внутренний конфликт (в 630-е гг.), а также, очевидно, неславянское имя архонта Порги вполне вписываются в реконструируемую картину становления этнополитической общности далматинских хорватов.

Долгое время в историографии считалось, что уже VII в. варварская «стихия» поглотила все пространство будущей Далматинской Хорватии, лежащее за пределами прибрежных городов Задара, Трогира и Сплита, которые, подобно близлежащим к ним островам Адриатического моря, сохранили свое романское население и оставались под номинальной византийской властью. Однако в археологической литературе последних лет (Н. Якшич, А. Милошевич, Ж. Рапанич) все сильнее звучит тезис о сохранении в VII–VIII вв. в прибрежной зоне Далмации, там, где впоследствии будут размещаться властные центры хорватской политики (Нин, Клис, Биячи), общин автохтонного населения, которые вопреки господствовавшим прежде представлениям далеко не сразу оказались под властью пришедших на Балканы варваров, будь то славяне или хорваты (обзор релевантной археологической литературы см.: [Bilogrić 2010: 40–42]). Гипотеза, согласно которой пришлый элемент (славяне и хорваты) первоначально базировался на некотором удалении от побережья Адриатики, в хинтерланде Далмации, в несколько ином контексте была также высказана И. Голдштейном, обратившим внимание на географию археологических находок VII–VIII вв., атрибутируемых пришедшим в Далмацию славянам [Goldstein 1992: 129, 143–146; 1995: 123–129]. Принимая во внимание характер датированного временем — около 800 г. — погребального комплекса в Бискупии под Книном, не оставляющий сомнений в том, что речь идет о захоронениях представителей правящего слоя хорватской политики [Milošević 2000: 123–125; Sokol 2009: 162–165], логично предположить, что именно район Книна являлся исходным пунктом позднейшей хорватской экспансии на побережье. Более того, на основании некоторых артефактов, происходящих из района Книна, можно говорить о присутствии здесь некой варвар-

ской элиты еще в VII–VIII вв., то есть в период, предшествующий установлению франкского господства в Далмации⁴.

Нельзя не заметить, что в стратегическом отношении район Книна, то есть пространство между верховьями рек Зрманя и Цетина, ограниченное с севера Динарским и Велебитским горными хребтами, в большей степени, чем какая-либо другая область далматинского хинтерланда, подходил к роли центра варварского политического образования. Изолированное положение книнского района относительно мест концентрации аварской элиты, ближайшие из которых локализируются, по археологическим данным, главным образом на территории позднеримской провинции Сирмийская Паннония [Vinski 1971: 66], создавало благоприятную ситуацию для кристаллизации здесь небольшой варварской политики, независимой от Аварского каганата. Вместе с тем этот район был привлекателен выгодным географическим положением и наличием развитой дорожной инфраструктуры, восходящей к римским временам. Римские трассы соединяли располагавшийся здесь римский военный лагерь Бурнум с важнейшими центрами Далмации — Салоной, Ядером (Задаром) и Сенией [Budimir 1992: 27–28], позволяя книнской элите распространить свой контроль не только на земли далматинского приморья между Зрманей и Цетиной, но и на территорию Либурии [Mužić 2007: 170].

Локализация в районе Книна первоначального хорватского ядра вписывается в характер географического размещения в Центральной Европе других упоминаемых в письменных источниках хорватских групп, существовавших в период между 800 и 1000 гг. Это две хорватские группы в Восточных Альпах, так называемые карпатские хорваты в Восточных Карпатах, а также с трудом локализуемая хорватская группа, находившаяся где-то по соседству с чехами и мораванами. Все они фиксируются в местностях, расположенных поблизости от горных массивов. Находясь за пределами Карпатской котловины, пространство которой контролировалось или, по крайней мере, могло беспрепятственно контролироваться аварами, эти группы, однако, занимали местности, географически не очень от нее удаленные, причем силезские хорваты занимали территории к северо-западу от нее, карпатские — к северо-востоку, альпийские и далматинские — к юго-западу [Алимов 2010].

В свете сказанного подход, предполагающий поиск корней хорватского «этногенеза» в описанном в «Так называемой хронике Фредегара» аварско-булгарском конфликте 630-х гг., закончившемся исходом из каганата болгар [Grégoire 1945; Margetić 1995b], представляется нам наиболее перспективным из тех, что были предложены в историографии в рамках «аварской модели» хорватского «этногенеза». Именно в рамках данного подхода может получить адекватное объяснение давно замеченное в историографии сходство имени легендарного хорватского вождя Хорвата/Хровата (Hrovatos), упоминаемого в 30-й главе трактата «Об управлении империей», а следовательно, и самого названия хорватов, с именем правителя Великой Болгарии Кубрата, именуемого в «Хронографии» Феофана Исповедника Кроватом (Krovatos). Трудно не согласиться с тем, что сходство сюжетов двух рассказов о переселении хорватов, содержащихся в 30-й и 31-й главах трактата императора Константина, и сообщения «Бревиария» патриарха Никифора о восстании Кубрата против аварской власти [Чичуров 1980: 153, 161] делает возможное совпадение имен весьма интригующим. В свое время И. Бона сделал попытку связать воедино события аварско-болгарского конфликта в Аварском каганате, описываемые Фредегаром, с информацией патриарха Никифора о восстании Кубрата, предположив, что Кубрат и есть тот претендент на каганский престол из болгар, о котором сообщает нам франкский хронист [Bona 1981: 104–107]. Если это действительно так, то наблюдения о характере расселения хорватских групп позволяют по крайней мере задаться вопросом: не следует ли считать первоначальных хорватов/хроватов военно-политической группировкой сторонников Кубрата/Кровата, вынужденной после победы его соперника уйти с территории Карпатской котловины?

Об организации власти на первоначально занятой хорватами территории, как и о границах пространства, подконтрольного хорватам до 800 г., неизвестно практически ничего. Пришлось ли хорватам в этот период сталкиваться с какими-либо иными варварскими властными центрами на территории Далмации или хорватская «база» в районе Книна существовала в своего рода политическом вакууме? В историографии в качестве первичных единиц социально-полити-

ческой интеграции пришлого населения на западе Балкан нередко рассматривались жупании и/или жупы, фигурирующие в позднейших источниках в качестве территориальных сегментов ряда южнославянских политических организмов, включая Хорватию. В соответствии с популярным в историографии представлением, согласно которому до IX в. хорватские жупаны были связаны с родоплеменной организацией славянского общества [Rački 1888: 128–144; Lanović 1938: 194–197; Mandić 1952: 277–284; Suić 1992: 52–53; Smiljanić 1995: 186–190; 2007: 33, 38–39], такие территориальные единицы, как жупании и/или жупы, рассматривались как формы социальной интеграции, характерные для «родоплеменной» эпохи и предшествовавшие возникновению княжеств-«архонтий», описываемых в трактате Константина Багрянородного «Об управлении империей».

Между тем ни одно из названий одиннадцати хорватских жупаний, перечисленных в 30-й главе трактата императора Константина [КБ 1991: 133], не может быть с определенностью связано с названием какого-либо славянского племени или рода. Все они носят «географический» характер, будучи образованными непосредственно от названий местностей, рек, населенных пунктов, в большинстве своем восходящих ко временам до прихода славян. Данное обстоятельство хорошо согласуется с отсутствием в источниках известий о существовании каких-либо еще групповых идентичностей в пределах территории, находившейся в IX–X вв. под властью хорватского правителя, за исключением периферийных по отношению к хорватскому этнополитическому организму гудусканов. Все это, естественно, не позволяет говорить о том, что в рамках жупаний могли осуществляться процессы этнополитической консолидации, которые бы предшествовали аналогичному процессу, осуществлявшемуся в рамках всего хорватского политического образования. Внутренняя организация хорватских жупаний, их размеры и, что особенно важно, соотношение друг с другом указывают скорее на то, что они изначально создавались в качестве административных единиц более крупной политической структуры [Smiljanić 1995: 186–187].

Казалось бы, мнение о том, что в древнейшую эпоху в Далмации существовало жупное устройство, которое сле-

дует отличать от появившейся позднее административной системы жупаний [Mandić 1952: 277–284], не может вызвать столь же серьезных возражений, как попытка рассматривать в качестве политических единиц «родоплеменной» эпохи жупании. К тому же географические характеристики и размеры районов, обычно именуемых в источниках термином «жу́па», делают весьма соблазнительной идею рассматривать жупу в качестве первичного уровня надобщинной интеграции славянского общества (из новых работ см.: [Плетерский 2008]). Так, относительно полные данные о средневековых боснийских жу́пах, имеющиеся в распоряжении исследователей, позволили говорить о том, что под термином «жу́па» выступали здесь, как правило, небольшие, относительно замкнутые географические районы, отделенные друг от друга естественными природными рубежами [Anđelić 1982: 12–13]. Такая жу́па обычно включала от 20 до 30 сел [Грачев 1967: 9]. Если предположить, что такая форма социальной организации, как «жу́па», действительно существовала на западе Балкан в VII–IX вв. и представляла собой небольшую социальную и территориальную единицу во главе с жупаном, то, разумеется, было бы нетрудно подыскать ей аналоги в разных уголках мира и соотнести с той стадильной формой социальной интеграции, которая в политической антропологии получила название «простое вожество» [Карнейро 2000: 90–93].

Однако, как в свое время показал В.П. Грачев, детально проанализировавший сведения имеющихся источников о западнобалканских жу́пах, большинство районов, которые в историографии считались жу́пами, обозначаются так только в Летописи попа Дуклянина (XII в.) и в источниках XIV–XV вв., когда эти районы входили в состав Боснии. То обстоятельство, что многие районы, не входившие ранее в состав Боснийского государства, стали именоваться жу́пами в источниках, только став его составными частями, позволило В.П. Грачеву высказать предположение об административном характере самого термина «жу́па», не говоря уж о «жупании» [Грачев 1967: 51–52; 1972: 90–100]. Помимо того очевидного обстоятельства, что первые упоминания территориальных единиц, обозначаемых в источниках термином “iupa” или “zupa” (жу́па), относятся ко временам более поздним, чем све-

дения императора Константина о жупаниях, отсутствует ясность и в вопросе о пространственном соотношении этих жуп и перечисленных в трактате императора Константина хорватских жупаний [Klaić 1959: 126–127; Клајић 1959: 341–342].

Остается констатировать, что имеющиеся в нашем распоряжении источники не дают возможности усматривать в жупах и тем более в жупаниях следы первичной социально-политической интеграции славянского населения Далмации, которая бы предшествовала вхождению этой территории в состав хорватской политики. Что же касается термина «жупан», то все указывает на то, что у южных славян он мог применяться к представителям власти разного уровня. Жупанами могли именоваться как главы небольших политий типа вождества, как упоминаемый в трактате императора Константина жупан Травунии Белое [КБ 1991: 151], так и главы более мелких единиц социальной интеграции, основанных на территориальных или родственных связях, как жупан Фиссо, фигурирующий в грамоте баварского герцога Тассило III 777 г. в качестве лица, лично засвидетельствовавшего своей клятвой границы населенной славянами декании (небольшой хозяйственно-административной единицы, охватывавшей обычно несколько поселений [Ронин 1995: 432]), пожалованной баварским герцогом основанному им Кремсмюнстерскому монастырю [Свод 1995: 430]. Если верна популярная гипотеза об аварском происхождении термина «жупан», это могло бы указывать на то, что в период аварского господства лица, именовавшиеся жупанами, были интегрированы в политическую структуру каганата, очевидно, составляя ее нижний уровень. Как известно, в так называемых «кочевых империях» и подобных им политических образованиях родовые подразделения кочевников были тесно связаны с военной организацией [Крадин 2002: 87]. В аварском происхождении термина «жупан», вероятнее всего, следует усматривать распространение данного принципа на славянские общины, чья социальная верхушка должна была стать элементом военно-политической иерархии каганата. При этом интерпретация статуса некоторых жупанов как глав образовавшихся на поставарском пространстве самостоятельных этнополитических организмов не предполагает наличия функционального различия между ними

и теми, кого император Константин именует архонтами. Данное обстоятельство делает безосновательным распространённое в историографии представление о стадиальности социально-политического развития Хорватии и других политических организмов запада Балкан, выразившейся будто бы в существовании эпохи «племенных жупанов» и сменившей ее эпохи «архонтов».

3. Хорваты и франки

С конца VIII в. территория Далмации непосредственно соприкасается с Франкским государством, осуществлявшим активную экспансию в юго-восточном направлении и в 788 г. включившим в свой состав Истрию. Обстоятельства, при которых произошло подчинение франками Далмации, не вполне ясны. Результаты археологических раскопок показывают, что около 800 г. на территории Далмации появляются воинские захоронения, в которых обильно представлены предметы франкского оружия и воинского снаряжения (мечи, навершия копий, боевые ножи, стремена). Немалое число подобных артефактов было, в частности, обнаружено в упоминавшемся некрополе в Црквине, в Бискупии под Книном, включающем в свой состав около двух десятков могил, расположенных частично у южной стены церкви св. Марии, а частично — внутри самого храма в его западной части [Milošević 2000: 118–119, 123–125]. Погребения, находившиеся внутри церкви, которая, судя по всему, была воздвигнута здесь уже в первые десятилетия IX в. [Milošević 2002; Sokol 2009: 159–168], содержали поражающие своей роскошью предметы — богато декорированные стремена и приспособления к ним, выполненные из бронзы и покрытые золотом или серебром. Как видно, все указывает на то, что именно здесь хоронили представителей высшего правящего слоя хорватской политики [Milošević 2000: 123–125; Sokol 2009: 162–165]. Картографирование мест нахождения раннекарolingских артефактов, аналогичных книнским, показывает, что под контролем этой политики находились, помимо окрестностей Книна, регион Равни Котари, часть прибрежной зоны с Нином (античная Энона), а также течение реки Цетины (см. карту: [Milošević 2000: 116]).

Знаменательно, что именно к франкскому периоду в истории Далмации относятся первые упоминания самого имени «хорват». Древнейшее известное нам свидетельство использования названия «хорват» на территории Далмации относится, возможно, еще к началу IX в., если верна соответствующая датировка надписи на фрагменте алтарной преграды, происходящей из церкви св. Марты в Биячи [Delonga 1996: 52]. Как явствует из грамот Трпимира (середина IX в.) [CD 1967: 4] и Мунцимира (892 г.) [CD 1967: 23], надписи с именем Бранимира (879 — около 892 г.) из Шопота близ Бенковца [Delonga 1996: 166], а также надписи из Кулы Атлагича [Ibid: 194], в середине — второй половине IX в. название «хорват» определенно являлось элементом официального титула местного правителя: “*dux Chroatorum*”, “*dux Cruatorum*”. В грамоте Трпимира в связи с описанием территории, на которую распространялась юрисдикция Сплитской церкви, было впервые засвидетельствовано сложившееся к этому времени понятие “*regnum Chroatorum*” [CD 1967: 5].

Столь внезапное и стремительное появление в Далмации ясных признаков наличия здесь политической элиты и соответствующей ей идентификации на уровне *gens*, что, например, побудило Д. Дзино метафорически назвать одну из глав своей книги «Девятый век: *Chroati ex machina*» [Dzino 2010a: 175], уже давно заставляло исследователей задаваться вопросом о причинах неуловимости соответствующих признаков применительно к периоду, предшествовавшему появлению в Далмации франков. Правда, проблема была практически снята в работах тех авторов, которые приняли теорию о том, что хорваты появились в Далмации лишь в конце VIII столетия. Данная теория, выросшая из предложенной Л. Маргетичем гипотетической интерпретации хронологии известий 30-й главы трактата императора Константина [Margetić 1977], была с энтузиазмом поддержана рядом историков и археологов по двум основным причинам. Во-первых, она позволяла согласовать датировку миграции хорватов с археологическим материалом, свидетельствующим о появлении в Далмации около 800 г. богатых захоронений с предметами франкского вооружения и воинского снаряжения, несомненно, принадлежавших элите. Во-вторых, она предлагала внешне весьма логичное объяснение

тому, почему название «хорваты» начинает фигурировать в письменных источниках лишь в IX столетии. Иными словами, феномен довольно внезапного появления ярких материальных свидетельств существования воинской элиты в Далмации и письменных свидетельств существования на этой же территории хорватской идентичности объяснялся в рамках данной теории тем, что именно в это время в Далмации физически появляются хорваты-воины. При этом сторонники тезиса о появлении хорватов в Далмации около 800 г. нередко напрямую связывали утверждение в регионе хорватской элиты с его интеграцией в зону политического доминирования франков [Sokol 1990; 1997: 123–124, 136–137; Ančić 2000: 74–80].

Между тем некоторым авторам тезис о миграции хорватов с севера в Далмацию в конце VIII в. по-прежнему представляется несостоятельным. Они ссылаются главным образом на молчание современных письменных источников о хорватской миграции [Goldstein 1995: 126–128; Mužić 2007: 153–154], которое, как следует признать, в данном случае должно оцениваться как довольно весомый аргумент. Если сторонники традиционного представления о миграции хорватов в Далмацию в правление императора Ираклия, основанного на позднейших известиях императора Константина, могут по крайней мере сослаться на общую скудость информации об этом периоде в отношении Далмации, то поборники идеи о миграции хорватов в конце VIII в. лишены даже этой возможности. Отсутствие каких-либо намеков на эту миграцию на фоне сравнительного обилия информации об аварской политике Карла Великого делает данную гипотезу по меньшей мере натянутой.

Думается поэтому у нас нет веских оснований считать, что воинская элита, оставившая столь впечатляющие захоронения в Далмации, датируемые периодом около 800 г., была пришлого, а не местного происхождения. Но как же в таком случае объяснить ее неуловимость в предшествующий период? Сторонниками присутствия хорватов в Далмации задолго до 800 г. было предложено как минимум несколько объяснений отсутствия упоминаний о хорватах в письменных источниках. Наряду с вполне естественными попытками объяснить такое молчание характером самих источников —

их скудостью, консерватизмом, незаинтересованностью в местных реалиях и т.п. — в последнее время появились гипотезы, в рамках которых относительно позднее появление упоминаний о хорватах объясняется характером первоначальной хорватской идентичности. Так, И. Голдштейн, определяя хорватское общество VII–VIII вв. как «сегментированное», склонен видеть в этом и одну из причин отсутствия в источниках того времени упоминаний имени хорватов, так как «для этих “протохорватов”, окруженных славянами, которые по образу жизни, вероятно, не различались, гораздо важнее были род и семья, нежели хорватское имя» [Goldstein 1995: 103]. Похожее объяснение (в ряду других, связанных с характером источников) выдвигает Н. Будак [Budak 2008: 233]. Напротив, Л. Маргетич, исходя из своей теории, согласно которой хорваты в так называемый «среднеаварский» период (630–670-е гг.) были правящим слоем Аварского каганата, вытесненным затем на его окраины, включая Далмацию, новой волной пришедших с востока номадов [Margetić 1995b], считает возможным говорить о последующем длительном соперничестве в Далмации славянской и хорватской элит. Именно этим обстоятельством объясняется, по мнению Л. Маргетича, столь долгое молчание о хорватах на страницах письменных источников [Margetić 2003: 54–56].

Приведенные здесь рассуждения исследователей могут показаться весьма умозрительными, если не схоластическими, однако для нас важно подчеркнуть, что, пытаясь понять, почему хорваты начинают фигурировать под своим названием в письменных источниках лишь начиная с IX в., мы неизбежно сталкиваемся с ключевым вопросом локализации «хорватского ядра» и интерпретации того, что оно собой представляло. Думается, что предложенная выше гипотеза об оседании в районе Книна относительно небольшой воинской группировки, дистанцировавшейся от аварских властей во время внутреннего кризиса в Аварском каганате в 630-е гг., позволяет предложить не менее умозрительное, но и не менее логичное объяснение рассматриваемому явлению.

В первую очередь необходимо указать на само соотношение книнской политики как вероятного места сосредоточения носителей хорватской групповой идентичности и зоны

франкского господства в Далмации. Факт наличия в погребениях книнской элиты франкского оружия и воинского снаряжения позволяет согласиться с неоднократно высказывавшимся в историографии мнением, согласно которому в самом начале IX в. хорваты являлись военными союзниками франков в борьбе с аварами и/или византийцами. Предположение о военном союзе книнской элиты с франками хорошо объясняет и отсутствие в письменных источниках упоминаний о каких-либо военных операциях франков во внутренней части Далмации, которые могли бы быть направлены на насильственное подчинение местной политической структуры, хотя местный правитель Борна, упоминаемый в «Анналах королевства франков» в связи с событиями 818–821 гг. [ARF 1895: 149–155], несомненно, являлся франкским вассалом.

В свете предполагаемых союзных отношений книнской политики с франками представляется весьма перспективной гипотеза, четко сформулированная в трудах Н. Клаич и получившая дальнейшую разработку в трудах И. Мужича, согласно которой занятие хорватами, первоначально базировавшимися в удаленном от моря хинтерланде, приморской Далмации произошло при поддержке или с санкции франков в ходе экспансии последних в Далмацию [Klaić 1988; Mužić 1996: 54–61; 2001: 56–60, 256–259, 282–283]. Хотя мы и не можем согласиться с о локализацией хорватского ядра на территории Лики, Гацки и Крбавы, трудно не заметить, что концепция И. Мужича придает дополнительную актуальность вышеназванным выводам археологов о постепенном продвижении хорватов из хинтерланда на побережье, так как распространение контроля книнской элиты на Нин и Равни Котари, то есть на территорию, прежде тяготевшую к Задару, позволяет предполагать участие книнских ратников в военных действиях франков против Византии. Особого внимания заслуживает в этой связи и обнаружение в Далмации большого количества золотых солидов с изображениями императоров Константина V Копронима и его сына Льва IV, отчеканенных между 760 и 775 гг. [Milošević 2000: 119–120]. Присутствие этих монет в пяти погребениях в Бискупии указывает на их важное символическое значение для книнской элиты, а впечатляющее число находок таких монет в Хорва-

тии (свыше 70) вряд ли можно объяснить только наличием торговых связей с византийскими городами Далмации [Milošević 2000: 119].

Главным свидетельством того, что франко-византийское соперничество в Далмации привело к территориальным изменениям в пользу книнской политики, является известие «Анналов королевства франков» об урегулировании территориальных споров между далматинскими славянами и романцами. Под 817 г. Анналы сообщают о том, что император Людовик Благочестивый принял в Аахене византийского посла Никифора, прибывшего из Константинополя «по делам далматинцев» (*pro Dalmatinorum causa*). Император велел послу дожидаться прибытия фриульского маркграфа Кадолага, которому была вверена забота об «их пределах» (*illorum confinium*). Прибыв, Кадолаг стал обсуждать проблему с послом, однако, «так как дело касалось многих романцев и славян, и было видно, что оно не могло быть завершено без их присутствия», Кадолаг, Никифор и Альбгарий, племянник Унрока, были посланы на место, в Далмацию [ARF 1895: 145]. Рассматривая данное известие, трудно не согласиться с мнением В.К. Ронина о том, что «греческий посол Никифор явно требовал определения четких границ и прекращения натиска хорватов на сельскохозяйственную округу городов...» [Ронин 1985: 26]. Хотя мы не знаем, о каких именно территориях в Далмации шла речь на переговорах, можно предположить, что по крайней мере одной из них был современный район Равни Котари, где, судя по материалам археологических раскопок и сохранившимся до IX в. христианским храмам, романское население сумело пережить эпоху «темных веков» [Vežić 1996].

Думается, что предположение о санкционированной франками территориальной экспансии книнской политики позволяет понять, почему в «Анналах королевства франков» правивший в Далмации дукс Борна выступал сначала под титулом “*dux Guduscanorum*” (под 818 г.), а затем под титулами “*dux Dalmatiae*” (под 819 г.) и “*dux Dalmatiae atque Liburniae*” (под 821 г.) [ARF 1895: 149–150, 155]. Хотя Борна выступает в первом сообщении как правитель гудусканов, территория проживания которых с уверенностью локализуется в горной области Гацка на северо-западе Далмации

(см. рис.), в содержащемся в этом же источнике под 819 г. известии о битве между войсками Борны и дукса Нижней Паннонии Людевита на реке Купе говорится о том, что Борна, именуемый здесь дуксом Далмации, в первом сражении был покинут гудусканами и едва спасся благодаря своим «преторианцам» (*praetoriani*) [ARF 1895: 151], под которыми, скорее всего, имелись в виду его дружинники [Katičić 1990]. Здесь же сообщается о том, что, после того как гудусканы вернулись домой, они были снова подчинены Борной [ARF 1895: 151]. В связи с этим следует согласиться с замечанием М. Анчича, что мы едва ли можем считать Борну гентильным правителем гудусканов, так как подобный его статус затруднительно согласовать с фактом неповиновения его власти со стороны той самой *gens*, от которой должна была исходить легитимация его как правителя [Ančić 1998: 37]. Результаты археологических раскопок однозначно склоняют к тому, что дружинники Борны происходили с территории, тяготевшей к Книну, где в это время определенно фиксируется центр политического организма, чья военная элита была способна к экспансии. Если, таким образом, допустить, что Борна был хорватским (книнским) правителем, в подчинении которого находились гудусканы, то привлечение им ополчения гудусканов к походу против Людевита представляется вполне логичным: область их проживания располагалась не очень далеко от района военных действий.

На периферийный характер области проживания гудусканов по отношению к ядру хорватской политики ретроспективно указывает и информация 30-й главы трактата «Об управлении империей». Перечислив одиннадцать жупаний Хорватского государства, автор 30-й главы сообщает: «Боян их владеет Кривасой, Лицей и Гуциской» [КБ 1991: 133]. В историографии уже высказывалось мнение о том, что особый статус этих областей (современные Крбава, Лика и Гацка) в составе Хорватии, выражавшийся в их управлении баном, может быть связан с тем, что именно здесь находился район проживания гудусканов, название которых связано с названием области Гуциска [Бабић 1953: 168; Klaić 1975: 279]. Правда, было предложено и иное, не менее логичное объяснение особого статуса этих территорий: Ф. Шишич,



отталкиваясь от вероятного аварского происхождения титула «бан» и зафиксированных на северо-западе Далмации топонимов с корнем “obr”, будто бы образованных от славянского названия аваров (обры), локализовал в горных районах северо-западной Хорватии район проживания подвластных хорватскому правителю аваров [Šišić 1990: 678–680], о которых также сообщается в 30-й главе трактата императора Константина («В Хорватии и по сей день имеются остатки аваров, которых и считают аварами» [КБ 1991: 131]).

Однако, как уже давно было замечено в историографии, известие 30-й главы об аварах в Хорватии сильно контрастирует с тем, что в Паннонии, где присутствие аваров, казалось бы, должно было быть гораздо более явственным и продолжительным, чем в Далмации, авары как таковые перестают упоминаться на страницах источников уже к концу IX в. Не-

обычным выглядело длительное сохранение в Далмации аварского элемента и на фоне сообщения 31-й главы трактата «Об управлении империей» о том, что хорваты заняли Далмацию уже в правление императора Ираклия, что подразумевает, что период аварской власти над Далмацией продлился совсем недолго. Подобные соображения уже давно побуждали некоторых исследователей относиться к содержащемуся в 30-й главе известию об аварах с осторожностью, если даже не с открыто выраженным недоверием (обзор мнений см.: [Mužić 2007: 288]). Впоследствии скептицизм в отношении данной информации еще более усилился благодаря результатам археологических раскопок, не дающим оснований говорить о сколько-нибудь заметном присутствии аваров в Далмации.

Учитывая патовую ситуацию, в известном смысле сложившуюся относительно интерпретации известия 30-й главы о проживании аваров в Хорватии, нам представляется, что наше внимание должно быть обращено не столько на поиски в Далмации будто бы «объективных», а на деле весьма неопределенных признаков аваров вроде антропологического типа или материальной культуры, сколько на содержание, которое могло вкладываться в понятие «авары» в конкретных исторических условиях Хорватии середины X в. В связи с этим как минимум заслуживает внимания идея, некогда высказанная В. Полем, но, к сожалению, не получившая дальнейшего развития, о том, что в случае с хорватскими аварами речь необязательно шла о реальном этническом континенте [Pohl 1995: 94].

В первую очередь следует учесть, что данное известие, скорее всего, представляет собой нечто вроде занимательной этнографической подробности, добавленной в качестве иллюстрации к известиям хорватской традиции [Grafenauer 1952: 30]. По убедительному суждению Л. Маргетича, данное известие, подобно предваряющему его этногенетическому мифу, было также почерпнуто автором 30-й главы или его информаторами от самих хорватов [Margetić 1977: 12]. Учитывая это обстоятельство, данное известие следует рассматривать в первую очередь в контексте того хорватского представления об аварах, которое отражено в хорватской этногенетической традиции. Как мы уже могли убедиться,

важнейшей чертой этого представления было восприятие хорватами аваров в качестве своих исторических врагов. В таких условиях наличие в числе тех, кто считал себя хорватами, лиц, сохранявших аварскую идентичность, представляется совершенно невозможным: эти идентичности были взаимоисключающими. Более того, сам характер аварской идентичности, тесно связанный с функционированием аварской политической организации во главе с каганом [Pohl 1991: 44], делает маловероятной возможность сохранения в Далмации аварской самоидентификации спустя более чем сотню лет после разрушения каганата: велика вероятность того, что аварская идентичность приписывалась хорватами подчиненной группе.

Такой подчиненной хорватам группой, скорее всего, были гудусканы, приписывание которым аварской идентичности могло быть продиктовано не просто антиаварским характером хорватской самоидентификации, но и конкретными историческими обстоятельствами. Геостратегическое положение книнской политики на южных рубежах Аварского каганата делает весьма вероятным участие хорватов в войнах Карла Великого с аварами, а многочисленные находки на территории Далмации фрагментов позднеаварских поясных гарнитур блатницкого типа убедительно интерпретируются некоторыми исследователями как военные трофеи, добытые хорватами в войнах с аварами [Milošević 2000: 128; Sokol 1997: 124, 136–137]. Территория позднеантичной провинции Либурнии, во внутренней части которой находилась гудусканская полития, могла играть определенную роль в период борьбы франков с аварами, о чем свидетельствует загадочное убийство в 799 г. близ Тарсатики в приморской части Либурнии фриульского маркграфа Эрика, о котором сообщается в «Анналах королевства франков» [Labus 2000]. Не исключено, что подчинение гудусканов политическому центру, располагавшемуся в районе Книна, осуществленное Борной или кем-то из его предшественников, могло быть не просто актом экспансии одного вождества против другого, а предпринятой франкскими союзниками операцией против связанной с Аварским каганатом политии (баната) в хинтерланде Либурнии.

Таким образом, заметное расширение территории небольшого политического организма с центром в районе Книна,

в том числе за счет населенного романцами пространства далматинского побережья, свершившееся в результате планомерной акции франкского правительства, превратило книнского вождя в правителя большой территории, подвластной державе Каролингов. С точки зрения франков, гораздо более актуальным и значимым был статус Борны в качестве правителя непосредственно соседствовавшего с франкскими владениями гудусканского вожества, а также в качестве территориального правителя Далмации и Либурнии, нежели в качестве вождя небольшой политики в хинтерланде Далмации, начавшей в свое время складываться в районе Книна.

Политическая организация дуката Борны, реконструируемая на основе свидетельств франкских источников и археологических материалов [Katičić 1990; Goldstein 1995: 166–171; Ančić 1998; Třeštík 2001: 97–101; Margetić 2004; Алимов 2006; Mužić 2007: 157–170], имеет ряд признаков, характерных как для вожества, так и для раннего государства. К их числу следует отнести социальную дифференциацию, ярко выраженную в наличии воинской элиты, институционализированную власть верховного вождя, наличие единого правящего рода, в рамках которого осуществлялось наследование власти. И хотя нам ничего неизвестно о редистрибуции, присутствие в окружении правителя преданных ему «преторианцев», которые могли выступать в роли эффективного аппарата принуждения, и наличие крепостей (*castella*), вероятно, являвшихся опорными пунктами власти, позволяют допустить существование в политике Борны характерной для вожеств и ранних государств редистрибутивной экономики. Как известно, на практике бывает крайне сложно разграничить стадии вожества и раннего государства, так как разница между ними во многом заключается в степени развития признаков, присущих обеим формам политической организации [Крадин 2004: 179–181]. В случае же, когда доступная нам информация о той или иной политике не отличается достаточной полнотой, однозначно классифицировать ее как вожество или как раннее государство бывает просто невозможно. Хотя в случае с дукатом Борны мы сталкиваемся с похожими проблемами, некоторые соображения все-таки могут быть высказаны. Если вслед за П. Скальником и Х. М. Классеном усматривать важнейшее отличие вожества от раннего государства в развитии в послед-

нем узаконенной власти, обладавшей достаточными ресурсами для осуществления централизованного управления (см.: [Кочакова 2007: 323]), то, конечно, нельзя не принять во внимание отсутствие в источниках каких-либо намеков на существование в политике Борны сколько-нибудь развитого административного аппарата управления. Правда, есть основания полагать, что дружина, являющаяся, как известно, потенциальным источником формирования такого административного аппарата, играла в политике Борны весьма значительную роль. Если верна интерпретация известия «Анналов королевства франков», согласно которой в битве на реке Купе помимо проживавших неподалеку от театра военных действий гудусканов принимали участие только «преторианцы» Борны и только их силами Борне удалось снова покорить гудусканов, то все указывает на наличие или складывание в дукате Борны такой формы политической организации, в которой ведущую роль играла многочисленная и хорошо вооруженная дружина.

Вместе с тем рассмотрение организации управления на территории, находившейся под властью «дукса Далмации», не позволяет отыскать здесь никаких признаков промежуточного уровня политической иерархии, которые можно было бы рассматривать в качестве следов существования более локального по своим масштабам этапа политической интеграции местных общин. Если исключить ретроспективное использование данных о жупах и жупаниях, о бесосновательности которого уже говорилось, придется констатировать применительно к первой четверти IX в. существование на пространстве будущей Далматинской Хорватии в тех ее границах, которые впоследствии будут обозначены в трактате Константина Багрянородного, только трех политических единиц — книнской политики в узком смысле слова (то есть без гудусканского баната), гудусканской политики и, возможно, одного крошечного сербского вожества в верховьях реки Уны⁵. Данное утверждение не в состоянии поколебать и материалы археологических раскопок. В то время как территориальная распространенность характерных групп артефактов, таких как предметы франского вооружения и воинского снаряжения, хорошо маркирует территорию, находившуюся под контролем или по крайней мере политическим влиянием книнской элиты, ничто в этих материалах не

указывает на существование даже на сравнительно далеких от Книна территориях, таких как пространства будущих Псетской и Пливской жупаний, упоминаемых в трактате императора Константина, каких-либо конкурирующих с ним политических центров.

На фоне наличия в дукате Борны многочисленной и хорошо вооруженной дружины, сближающего его с ранними государствами дружинного типа, простота его организационной структуры нуждается в объяснении. Основные причины, вероятно, следует усматривать в природно-географических условиях и редкой населенности данного пространства. Хотя мы лишены возможности определить численность населения рассматриваемой части Далмации в интересующий нас период, число погребений на известных раннесредневековых некрополях дает основание полагать, что численность населения оставивших их общин была довольно незначительной [Goldstein 1995: 107–110]. К этому следует добавить и то, что до начала экспансии книнской элиты в прибрежную зону, общины автохтонных жителей Далмации, существовавшие по соседству с прибрежными городами Задаром, Трогиром и Сплитом, в которых проживало романское население, должны были политически тяготеть именно к ним, что еще более сужало пространство для возникновения локальных властных центров. Быстрое усиление поставарской книнской элиты после 800 г., приведшее к формированию вассального франкам дуката Борны, следует поэтому связывать не столько с внутренними социально-политическими факторами, сколько с внешними импульсами, связанными с изменением политической ситуации на западе Балкан вследствие франкской экспансии. Так, становление эффективной военной организации, необходимой для контроля над широкими и подчас труднодоступными в географическом отношении пространствами, было обеспечено предполагаемым участием книнских ратников в войнах франков с аварами и византийцами, сопровождавшимся широким притоком в Книн франкского вооружения. Территориальному росту книнской политики должна была способствовать и актуализация в условиях ведения военных действий сохранившейся с поздней античности инфраструктуры (дороги, каstrумы), приведшая в конечном счете к формированию на ее

основе территориальной организации власти, выразившейся в системе жупаний.

Таким образом, можно согласиться с теми исследователями, которые, отталкиваясь от титула Борны “*dux Dalmatiae atque Liburniae*”, намекающего на территориальную, а не на гентильную основу его власти, были готовы сблизить положение первого достоверно известного хорватского правителя со статусом наместника подчиненной франкам провинции [Ančić 1998: 34–36; Budak 2003: 70–71]. Здесь, однако, следует оговориться, что таким его статус должен был видаться франкам, в связи с чем встает вопрос о том, как ощущали себя в такой ситуации сами хорваты. В археологической литературе неоднократно обращалось внимание на то, что как специфические предметы франкского вооружения, так и элементы позднеаварских поясных гарнитур «блатницкого типа», характерные для элитных захоронений Среднего Подунавья конца VIII — первой половины IX в., начинают появляться в один и тот же период как на южных рубежах бывшего Аварского каганата — в Далмации, так и на его северной периферии — в долине реки Моравы и на территории Словакии (см., например: [Curta 2006: 130–131, 143–144]). Это явление заслуживает внимания с точки зрения особенностей самоидентификации элит. Согласно концепции Дж. Барнс, разработанной на материале раннесредневековых обществ Восточной Азии, особенности использования получаемых в результате обмена или торговли престижных предметов позволяют говорить о двух различных последствиях такой интеракции, зависящих от того, является ли идентификация элиты сугубо локальной, то есть обращенной внутрь социума, или более широкой, надлокальной. Если при локальной идентификации идеи и предметы, получаемые элитой вследствие интеракции реинтерпретируются в локальном контексте, то при надлокальной идентификации сохраняется первоначальное символическое значение предметов, сигнализирующее о принадлежности данной элиты к более широкой элитной группе [Barnes 1986: 82–83; 2007: 35]. Насколько можно судить, именно второй, надлокальный, вариант элитной идентификации был первоначально характерен для книнских ратников, вовлеченных наравне с элитами северных рубежей бывшего Аварского ка-

ганата в процесс политического переустройства поставарского пространства, происходивший под эгидой франков. В связи с этим закономерно встает вопрос о влиянии такого поведения книнской элиты на характер хорватской групповой идентичности.

Свидетельства существования в середине — второй половине IX в. таких понятий, как “*dux Chroatorum*” и “*regnum Chroatorum*”, традиционно рассматривались в историографии как показатель того, что к середине IX в. в Далмации уже сложилась хорватская этнополитическая общность. Однако, как недавно заметил Д. Дзино, титул дукса хорватов был «скорее результатом процесса политической софистики в Далмации, а именно интеграции в каролингские политические структуры, чем отражением уже существующей хорватской этничности в IX веке» [Дзино 2008: 54]. С этим замечанием трудно не согласиться, если понимать его в том смысле, что само представление о хорватах как об общности, возглавляемой собственным правителем (*dux Chroatorum*) и давшей название стране (*regnum Chroatorum*), то есть как об этнополитической общности *par excellence*, могло сложиться только в период вхождения книнской политики в сферу влияния франков (около 800–878 гг.), когда свойственный письменной культуре этнический дискурс мог быть усвоен местной элитой.

Тем более интересным выглядит на этом фоне то, что ни во франкских нарративных памятниках, описывающих ситуацию в Далмации, ни в адресованных в Хорватию письмах пап, ни в каких-либо иных источниках внешнего по отношению к хорватской политике происхождения название «хорват» не употребляется на протяжении всего IX столетия. Извне к общности, правящий слой которой уже именовал себя «хорватами», вплоть до X в. применялись только названия “*Sclavi*” и — в редких случаях — “*Dalmatini*” [Budak 2008: 233–234]. Если название “*Dalmatini*” может быть интерпретировано как искусственное книжное обозначение, хорошо укладывающееся в характерное для каролингского возрождения воспроизведение античной этнической и географической номенклатуры, то с названием “*Sclavi*” дело обстоит сложнее. В IX в. его использование по отношению к хорватам засвидетельствовано не только

во Франкском государстве и Риме, но и в самом хорватском дукате: в надписях из Нина [Delonga 1996: 207] и Ждрапня близ Скрадина [Ibid: 252], содержащих имя Бранимира, он именуется «дуксом славян» (*dux Sclavorum*). Славянская идентичность раннесредневековых хорватов традиционно объяснялась в историографии либо тем, что эта идентичность была изначально свойственна группе, ставшей впоследствии в Далмации известной под именем хорватов, либо ее восприятием в результате ассимиляции протохорватов более многочисленными славянами. В обоих случаях следовало бы допустить, что немалая часть населения Далмации обладала ко второй половине IX в. собственной стабильной идентичностью, базировавшейся не на политической принадлежности, а на языковой общности. Однако новейшая концепция становления славянской этничности, разработанная Ф. Куртой [Curta 2001], открывает возможность для иного толкования. Если, как полагает исследователь, «славяне» стали именоваться славянами не потому, что они говорили на славянском языке, а потому что их так называли другие [Ibid: 346], то превращение хорватов в «славян» могло осуществляться под влиянием традиции, пришедшей извне.

Не следует ли тогда связывать столь медленное усвоение соседями хорватской политики представления о существовании особой хорватской этнополитической общности с тем, что превращению хорватской групповой идентичности в гентильную естественным образом мешала надлокальная идентификация хорватской элиты, хорошо сочетавшаяся с использованием генерализирующего понятия «славяне» в качестве контекстуального самообозначения⁶? К сожалению, даже гипотетический ответ на данный вопрос существенно затрудняется неопределенностью хронологии появления в Далмации терминов “*dux Chroatorum*” и “*regnum Chroatorum*”. Так или иначе, но на фоне игнорирования названия «хорват» применительно к Далмации IX столетия в иностранных источниках можно с уверенностью говорить о том, что заинтересованность в укреплении хорватской идентичности и ее адаптации к франкскому представлению о «народах» первой проявила именно местная элита, что могло быть связано с конкретными политическими обстоятельствами.

Этот вывод, как кажется, хорошо согласуется с данными хорватской этногенетической традиции, в которой франкский период в истории хорватской общности получил весьма показательное осмысление. Вслед за рассказом о поселении хорватов в Далмации и отселении их части «в Иллирик и Паннонию» в 30-й главе трактата императора Константина описывается история взаимоотношений хорватов с франками: «В течение нескольких лет хорваты, находящиеся в Далмации, подчинялись франкам, как и прежде, когда они жили в собственной стране. Но франки были настолько жестоки к ним, что, убивая грудных детей хорватов, бросали их собакам. Не в силах вынести этого от франков, хорваты восстали против них, перебив архонтов, которых те им поставили. Поэтому против них из Франгии выступило большое войско. Семь лет длилась их борьба друг с другом, и наконец с трудом одолели хорваты. Они перебили всех франков и убили их архонта по имени Коцилин. С того времени, оставаясь самовластными и независимыми, они попросили Рим о святом крещении. И были посланы епископы, которые крестили их при Порине, архонте хорватов» [КБ 1991: 133].

Хотя в историографии «франкский эпизод» неоднократно подвергался исследовательскому анализу, он до сих пор остается предметом взаимоисключающих интерпретаций. Еще Г.Л. Краузе и Э. Дюммлер полагали, что известие 30-й главы о борьбе хорватов с франками может относиться к хорошо известному по франкским источникам восстанию нижнепаннонского дукса Людевита [Krause 1854: 49–53; Dümmler 1856: 390–393]. Кое-что в рассказе 30-й главы действительно перекликается с известиями франкских источников (жестокость франков, длительная война, отправка большого войска с территории Франкского государства). Неудивительно, что данная интерпретация, позволяющая отождествить Коцилина с фриульским маркграфом Кадолагом, а Порина — с правителем Далмации Борной, была принята большинством исследователей (обзор мнений см.: [Ронин 1983: 61–63]). Вместе с тем, если верить предложенной интерпретации, то нельзя не признать, что хорватская традиция обошлась с реальными историческими событиями весьма вольно. Получается, что она смешала Далмацию, чей правитель Борна, как явствует из франкских источников, был вер-

ным франкским вассалом и воевал с Людевитом, с восставшей против франков нижнепаннонской политией. При этом имевшее место в действительности поражение Людевита от франков было заменено в хорватской традиции вымышленной победой над ними хорватов. Более того, Кадолаг, будто бы тождественный Коцилину, согласно франкским источникам, не погиб в сражении, а умер во время восстания от болезни. К этому следует добавить, что само прекращение вассальной зависимости Хорватии от франков приходится лишь на конец 870-х гг., когда к власти здесь пришел ставленник Византии Здеслав. Наконец, совершенно невероятным выглядит в случае отождествления Порина с Борной принятие хорватами крещения из Рима: известно, что в начале IX в. в Далмации действовали священники из Франкского государства.

Перечисленные наглядные несоответствия «франкского эпизода» 30-й главы информации более ранних источников, обычно интерпретировавшиеся как следствия тенденциозности хорватской традиции или превратностей фиксации прошлого в устной передаче, побуждали, однако, некоторых исследователей искать иные толкования. Согласно интерпретации, предложенной в свое время Ф. Шишичем, Порина следует отождествлять не с Борной, а с Бранимиром (879–892). Как известно, Бранимир действительно завязал тесные контакты с Римом и получил для себя и своего народа благословение Папы Иоанна VIII. По мнению Ф. Шишича, описываемая в 30-й главе освободительная война хорватов с франками была вполне реальным событием, имевшим место в 870-е гг., когда встал вопрос о подчинении Хорватии Карломану. Что касается «архонта» Коцилина, то под ним, согласно мнению Ф. Шишича, подразумевался блатенский правитель Коцел, франкский вассал, будто бы воевавший тогда с хорватами [Šišić 1914: 18–48; Šišić 1990: 356–360, 386–387]. Как видно, если принять интерпретацию Ф. Шишича, то успешно преодолеваются противоречия, присущие толкованию Э. Дюммлера, однако возникают новые, отнюдь не менее значительные трудности. Во-первых, это отсутствие в источниках надежных сведений о какой-либо длительной войне хорватов с франками, а во-вторых, невозможность отнесения крещения хорватов ко времени правления

Бранимира, когда в Хорватии уже давно существовало собственное епископство [Grafenauer 1953: 176–189].

Таким образом, какую бы интерпретацию нарисованной в 30-й главе картины хорватского прошлого мы ни предпочли, ясно, что эта картина имеет достаточно отдаленное отношение к историческим реалиям. Вместе с тем «франкский эпизод» позволяет выявить некоторые значимые для хорватской этнополитической общности маркеры идентичности. Так, хорваты предстают в рассматриваемом рассказе неприимыми врагами франков, что заставляет вспомнить аналогичное изображение в хорватской традиции взаимоотношений хорватов и аваров. Описание победы хорватов над франками в результате изнурительной семилетней войны также напоминает описание их победы над аварами. Соответствие «аварского» и «франкского» эпизодов хорватской этногенетической традиции можно наглядно представить следующим образом (см. табл. 1).

Очевидные параллели между двумя рассказами объясняются наличием в них элементов, свойственных легендам жанра “*origo gentis*”, — мотивов войны с сильным неприятелем и победы над ним. Весьма показательным, что в изображении хорватской традиции именно после победы над франками, став «самовластными и независимыми», хорваты приняли крещение. Х. Вольфрам обратил внимание на то, что в некоторых этногенетических преданиях вслед за описанием события, символизирующего выход на историческую сцену нового «народа» (чаще всего таким событием является переход через реку или победа над могущественным неприятелем), говорится также о смене религии или культа, причем и это событие изображается как одномоментное [Wolfram 1995: 51]. Нетрудно заметить, что примерам, которые привел Х. Вольфрам, очень близки и описания крещения хорватов в 30-й и 31-й главах трактата императора Константина. Если согласно 31-й главе хорваты приняли крещение из Рима вскоре после своей победы над аварами, то согласно 30-й главе хорваты попросили Рим о крещении сразу после победы над франками. Однако если описание крещения в 31-й главе в какой-то мере соответствует реконструируемой по другим источникам картине, то описание крещения хорватов в 30-й главе всецело представляет собой

Таблица 1

Хорваты и авары	Хорваты и франки
1) Война «...несколько лет они воевали друг с другом...» [КБ 1991: 133]	1) Война «семь лет длилась их война друг с другом...» [КБ 1991: 133]
2) Победа хорватов «...и одолели хорваты; одних аваров они убили, прочих принудили подчиниться» [КБ 1991: 133]	2) Победа хорватов «...и наконец с трудом одолели хорваты. Они перебили всех франков и убили их архонта...» [КБ 1991: 133]

функциональный элемент идеологии хорватской элиты. Подобно тому как для утверждения хорватской элиты в качестве этнополитической общности было важно подчеркнуть ее самостоятельность по отношению к аварам и франкам, для ее утверждения в качестве общности этноконфессиональной (хорваты как христиане) было необходимо продемонстрировать самостоятельность самого акта крещения (после освобождения от франков) и церковной организации (приход духовенства из Рима). Нет нужды специально подчеркивать, что подобное толкование в хорватской традиции недалекого прошлого находилось в решительном противоречии с тем фактом, что именно в период франкского господства в Далмации силами главным образом франкского духовенства осуществляется активная «христианизация» Далмации, выразившаяся в строительстве церквей, создании церковной организации и т.п.

В связи с этим можно не только говорить об исключительной значимости для хорватов политической эмансипации от франков, но и рассматривать разрыв с франками в качестве одного из конституирующих оснований хорватского этнополитического организма. По всей вероятности, оппозиция «хорваты–франки» была потому так актуальна для хорватской элиты, что в эпоху франкского господства (около 800–878 гг.) она стала утверждать хорватскую идентичность в качестве «этнической», то есть идентичности особой гентильной общности. Этот процесс, скорее всего, являлся политически мотивированным: середина и вторая половина IX в. стали временем большой активности местных правителей, таких как Трпимир, Домагой и Бранимир, направленной на утверждение самостоятельности возглавлявшейся ими политики. Эта

активность, несомненно, требовала соответствующего идеологического обоснования. Иными словами, потребность в самоопределении местной элиты по отношению к франкам стимулировала процесс создания *gens Chroatorum*.

Заключение

Общеизвестно, что в раннесредневековых социумах между процессами формирования этнической идентичности и генезиса политической организации существовала определенная взаимосвязь. Между тем далеко не всегда имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют определить, в чем конкретно она проявлялась. Сопоставление идеологии хорватской элиты, выраженной в этногенетическом предании, легшем в основу известий о прошлом хорватов 30-й главы трактата императора Константина «Об управлении империей», с этнополитической ситуацией VII–IX вв., запечатленной в современной ей источниках, позволяет выявить механизм конструирования хорватской этничности, определяющую роль в котором играли оппозиции «хорваты — авары» и «хорваты — франки». Как видно, в данном случае идеология хорватской элиты была обусловлена ее социально-политической интеракцией с двумя основными политическими силами, претендовавшими в период между 600 и 900 гг. на власть над Далмацией. Приняв групповое имя хорватов в качестве своей базовой идентичности и тесно привязав его к своему социальному статусу и политической ориентации, гетерогенная варварская элита далматинского хинтерланда сделала шаг, значение которого для судеб этого уголка Европы трудно переоценить.

Противопоставление местной элиты (хорватов) аварам и франкам, являвшееся конституирующей основой новой этнополитической общности, было бы, однако, невозможно без вполне осязаемых политических успехов тех, кто стал именовать себя хорватами. Во-первых, само по себе становление властных институтов давало необходимую базу для появления и поддержания идеи общности. Во-вторых, оно создавало институциональные основы для распространения соответствующей консолидирующей идеологии и постепенного усвоения ее прежде слабо связанными друг с другом общинами пришлого и автохтонного населения Далмации.

Хотя имеющиеся источники не позволяют во всех деталях проследить проявления в становлении хорватской этничности «потестарно-политического модуса этногенеза» [Попов 2004], нам не приходится сомневаться в его важной роли для раннесредневековой Далмации. В этом смысле само становление надлокальной политической организации с центром в районе Книна и обособление местной элиты от социальной верхушки Аварского каганата, последующая экспансия книнской политики в приморскую зону, политическая эмансипация от франков и окончательная кристаллизация «раннего государства» к середине IX в., когда дукс хорватов Трпимир приобретает статус почти полностью самостоятельного правителя, могут рассматриваться в качестве факторов хорватского этногенеза. Другое дело, что действенность этих факторов проявилась далеко не сразу. Так, можно полагать, что в течение длительного времени полития, начавшая складываться в хинтерланде Далмации в районе Книнского поля, скорее всего, еще в 30-е годы VII в., не имела своего этнического «лица». Достаточно указать на то, что в византийских, римских и франкских источниках поставарские элиты Далмации, включая тех, кто станет затем известным под именем хорватов, вплоть до X столетия скрывались под предельно расплывчатыми определениями, такими как «западные народы», «славяне», «далматинцы», соответствовавшие географическим и этническим представлениям образованных авторов, описывавших новую варварскую реальность. Разумеется, в подобном словоупотреблении был силен элемент консервативной традиции, но очевидно и то, что процесс стабилизации хорватской групповой идентичности, превращения ее в базовую идентичность этнополитической общности был весьма длительным, заметно уступая в своих темпах процессу становления на территории, где впоследствии оформится «страна хорватов» (*regnum Chroatorum*), надлокальной политической организации.

Подобное отставание этногенеза от политогенеза не должно удивлять. Групповая идентичность, возникающая вследствие социально-политической интеракции элит и укрепляющаяся и распространяющаяся по мере становления и утверждения политической организации, может быть осмыслена и репрезентирована как этническая лишь при нали-

чии в социуме соответствующего дискурса. Ясно, что в хорватском случае протекал процесс адаптации хорватской групповой идентичности к тем представлениям о «народах», которые существовали к тому времени в постантичной христианской Европе. Процесс облачения варварского материала в выработанные цивилизацией одежды охватывал как саму хорватскую политическую организацию, так и соответствовавшую ей идеологию, определявшуюся такими понятиями, как «народ» (*gens*) и «страна» (*regnum*) хорватов». В результате собственно варварские институты и связанные с ними оригинальные представления оказывались скрытыми за внешней (в хорватском случае — франкской) оболочкой, одной из составляющих которой был этнический дискурс. В раннее Средневековье подобное происходило везде, где существовали мощные центры письменной культуры с выработанными ими дискурсивными способами упорядочивания мира и более или менее быстро втягивавшаяся в их культурное поле варварская периферия, будь то германцы на окраинах поздней Римской империи, славяне на границах Византии и империи Каролингов или различные народы алтайской семьи, испытывавшие воздействие китайского «Срединного государства».

Таким образом, в основе формирования этнополитической общности далматинских хорватов лежала не только политическая актуализация хорватской групповой идентичности, но и ее репрезентация в качестве «этнической» с учетом доступных тогда образцов. Сочетание того и другого в деятельности хорватской элиты было, как можно думать, далеко не последним обстоятельством в числе факторов, обеспечивших сохранение хорватской идентичности в обстановке крайней неустойчивости, характерной для функционирования групповых идентичностей в раннее Средневековье.

¹ В. Поль предложил использовать данное понятие, заимствованное им из социологической теории П. Бурдьё, для исследования процессов групповой идентификации в раннее Средневековье (см. [Pohl 1998: 5–6]). См. анализ данной позиции с обзором методологически релевантных исследований: [Дмитриев 2008: 23–31].

² Задумывавшийся первоначально в качестве справочного труда о народах, окружавших Византийскую империю, трактат был вскоре

переработан ученым императором в наставление по управлению страной для своего сына — будущего императора Романа II. В 30-й и 31-й главах трактата, посвященных Хорватии, излагаются несколько отличающиеся друг от друга версии ключевых событий ранней хорватской истории — переселения на Балканы и крещения. Согласно утвердившемуся в историографии мнению, 30-я глава трактата, в которой, в отличие от 31-й главы, инициатива в переселении и крещении хорватов не приписывается императору Ираклию, опирается в ряде своих известий на историческую традицию самих хорватов. В историографии преобладает мнение о том, что 30-я глава была составлена между 955 и 973 гг., то есть несколько позднее остальных глав трактата, созданных между 948 и 952 гг., причем не императором, а неизвестным автором, вероятно, являвшимся уроженцем Далмации [Hauptmann 1925a: 96–101; Grafenauer 1952: 15–32; Margetić 1977: 11–31; Ančić 2010: 143–147].

³ Сходство известий венецианских хроник — “*Chronicon altinate*” и Иоанна Диякона — об активной деятельности императора Ираклия в регионе Адриатики с тем, что сообщает об Ираклии Константин Багрянородный, позволило Н. Будаку высказать предположение, что в основе известий трактата о деятельности императора Ираклия была традиция романских жителей прибрежных городов Далмации [Budak 1995: 75].

⁴ К числу таких памятников в первую очередь необходимо отнести набор 24-х бронзовых матриц для изготовления кованых украшений для одежды и конского убора, обнаруженный в Плискове в Бискупии у Книна [Korošec 1958: 29–42]. Другим местом концентрации артефактов VII–VIII вв., отражающих присутствие пришлой элиты на территории позднейшей хорватской политики, является относительно близко расположенный к Книну район Синьского поля. В частности, отсюда происходит датированная VII в. бронзовая матрица из Читлука, которая, подобно набору матриц из Книна, находит стилистические аналогии в памятниках маргыновского типа [Milošević 2000: 108]. В римскую эпоху здесь находилось поселение Эквум, через которое проходила дорога, связывавшая Бурнум и Салону [Šišić 1990: 122]. На основании находки из Читлука можно предположить, что вдоль этой трассы распространялся в южном направлении политический контроль книнской элиты. С предположением о раннем вхождении Синьского поля в состав воинственной варварской политики хорошо соотносится обнаружение в этом же районе уникальных для Далмации предметов вооружения — боевого топора типа *francisca* и лезвия меча, датированных VII в. и, вероятно, происходящих из лангобардской Италии [Milošević 2000: 110].

⁵ Локализация в верховьях Уны самостоятельной политики всецело основывается на гипотетической интерпретации известия «Анналов королевства франков» о бегстве правителя Нижней Паннонии Люде-

вита к некоему сербскому князю, сидевшему в своем граде (*civitas*) [ARF 1895: 158]. Согласно данной интерпретации, этот град размещался на месте упоминаемого в позднейших источниках хорватского поселения Срб, лежащего в районе античной трассы, по которой Людевит теоретически мог устремиться на юг (см.: [Goldstein 1984]).

⁶ На контекстуальную обусловленность использования названия «славяне» хорватской элитой указывает, по мнению Ф. Курты, факт ошибочного написания данного слова (*Clavitini* вместо *Scilavi*) в надписи из Ждрапня, в которой донатор местной церкви жупан Приштина должен был обозначить свой статус, как и статус Бранимира, обращаясь к нехорватской латиноязычной аудитории [Corta 2008: 159]. В именовании хорватов славянами еще в X–XI вв. Е.П. Наумов усматривал влияние романской традиции далматинских городов [Наумов 1982: 177].

Алимов Д.Е. 2006. «*Borna dux Guduscanorum*». К вопросу о характере княжеской власти в Далматинской Хорватии в первой четверти IX в. // Европа: международный альманах. Тюмень. Вып. VI. С. 5–21.

Алимов Д.Е. 2010. Хорваты и горы: к вопросу о характере хорватской идентичности в Аварском каганате // SSBP. № 2 (8). С. 135–160.

Бабић В. 1953. Хрватске земље у ранофеудално доба // Историја народа Југославије / ред. Б. Графенауер, Д. Перовић, Ј. Шидак. Београд. Књ. I. С. 169–226.

Бромлей Ю.В. 1964. Становление феодализма в Хорватии. М.

Грачев В.П. 1967. Термины «жупа» и «жупан» в сербских источниках и трактовка их в историографии (К изучению политической организации в средневековой Сербии) // Источники и историография славянского средневековья / отв. ред. С. А. Никитин. М. С. 3–52.

Грачев В.П. 1972. Сербская государственность в X–XIV вв. Критика теории «жупной организации». М.

Дзино Д. 2008. «Становиться славянином», «становиться хорватом»: новые направления в исследовании идентичностей позднеантичного и раннесредневекового Иллирика // SSBP. № 2 (4). С. 37–58.

Дмитриев М.В. 2008. Проблематика проекта «*Confessiones et nationes: конфессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории Европы*» // Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века — Новое время / под ред. М.В. Дмитриева. М. С. 15–42.

Ефремов Е.А. 1963. Патронимия у хорватов в XI — первой четверти XIII в. // Учен. зап. Велюколуцкого гос. пед. ин-та. Вып. 22. С. 10–22.

Калинин И.К. 2000. Восточно-финские народы в процессе модернизации. М.

Карнейро Р. 2000. Процесс или стадии: ложная дихотомия в исследовании истории возникновения государства // АПЦ. С. 84–94.

Клајић Н. 1959. Новији радови на друштвеној проблематици средњовековне Хрватске // Годишњак историског друштва Босне и Херцеговине. Год. X (1949–1959). Сарајево. С. 333–354.

КБ 1991 — Константин Багрянородный. Об управлении империей / под ред. Г.Г. Литаврина, А.П. Новосельцева; пер. Г. Г. Литаврина. М.

Кочакова Н.Б. 2007. Понятие «раннее государство». Раннее государство (РГ) и вождество // Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии: в 2 т. / сост. и отв. ред. В.В. Бочаров. СПб. Т. 2: Политическая культура и политические процессы. С. 321–344.

Крадин Н.Н. 2002. Структура власти в кочевых империях // КАСЭ. С. 79–90.

Крадин Н.Н. 2004. Политическая антропология: учеб. 2-е изд., испр. и доп. М.

Майоров А.В. 2006. Великая Хорватия: этногенез и ранняя история славян Прикарпатского региона. СПб.

Наумов Е.П. 1982. Возникновение этнического самосознания раннефеодальной хорватской народности // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего Средневековья / отв. ред. В.Д. Королук. М. С. 167–181.

Плетерский А. 2008. О «the Making of the Slavs» изнутри // SSBP. № 2 (4). С. 33–36.

Попов В.А. 2004. Потестарно-политические факторы этногенеза, или Потестарность как этногенетический модус // Радловские чтения-2004: тез. докл. СПб. С. 53–54.

Ронин В.К. 1983. Франко-хорватские отношения в трактате Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» // Византийский временник. Т. 44. С. 60–67.

Ронин В.К. 1985. Славянская политика Людовика Благочестивого: 814–829 гг. // Из истории языка и культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы / отв. ред. В.Н. Виноградов. М. С. 5–33.

Ронин В.К. 1995. Грамота Тассило III Кремсмонстерскому монастырю // Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. II (VII–IX вв.) / сост. С.А. Иванов, Г.Г. Литаврин, В.К. Ронин; отв. ред. Г.Г. Литаврин. М. С. 429–434.

Свод 1995 — Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. II (VII–IX вв.) / сост. С.А. Иванов, Г.Г. Литаврин, В.К. Ронин; отв. ред. Г.Г. Литаврин. М.

Седов В.В. 1987. Анты // Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей / отв. ред. Г.Г. Литаврин. М. С. 16–22.

Тржешић Д. 1991. Славянские этногенетические легенды и их идеологическая функция // *Studia Balcanica*, 20. Раннефеодальные славянские государства и народности. София. С. 35–42.

Ферјанчић Б. 1996. Долазак Хрвата и Срба на Балканско полуострво (Осврт на нова тумачења) // ЗРВИ. Књ. 35. С. 117–150.

Чичуров И.С. 1980. Византијские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М.

Amory P. 2003. *People and Identity in Ostrogothic Italy, 489–555.* Cambridge.

Ančić M. 1998. Od karolinškog dužnosnika do hrvatskoga vladara. Hrvati i karolinško carstvo u prvoj polovici IX. Stoljeća // *Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru.* Zadar. Sv. 40. S. 27–41.

Ančić M. 2000. U osvit novog doba. Karolinško carstvo i njegov jugoistočni obod // *Hrvati i Karolinzi.* Dio I: Rasprave i vrela. Split. S. 70–103.

Ančić M. 2010. Zamišljanje tradicije: Vrijeme i okolnosti postanka 30. glave djela *De administrando imperio* // *Radovi Zavoda za hrvatsku povijest.* Knj. 42. S. 133–152.

Anđelić P. 1982. Studije o teritorijalnopoličkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne. Sarajevo.

ARF 1895 — *Annales Regni Francorum et Annales qui dicuntur Einhardi* / rec. F. Kurze. Hannoverae.

Barada M. 1952. Hrvatska dijaspora i Avari // *SHP.* Ser. III. Sv. 2. S. 7–17.

Barnes G.L. 1986. *Jiehao, tonghao: Peer Relations in East Asia // Peer Polity Interaction and Socio-Political Change* / Ed. by C. Renfrew and J.F. Cherry. Cambridge. P. 79–92.

Barnes G.L. 2007. *State Formation in Japan: Emergence of a 4th-century Ruling Elite.* L.; N.Y.

Beuc I. 1976. Još o problemu formiranja feudalnih država u Južnih Slavena // *Radovi Instituta za hrvatsku povijest.* Zagreb. Sv. 8. S. 65–165.

Bilogrivić G. 2010. Čiji kontinuitet? Konstantin Porfirogenet i hrvatska arheologija o razdoblju 7–9. stoljeća // *Radovi Zavoda za hrvatsku povijest.* Knj. 42. S. 37–48.

Bóna I. 1981. *Das erste Auftreten der Bulgaren im Karpatenbecken. Probleme, Angaben und Möglichkeiten* // *Studia Turco-Hungarica.* Budapest. T. V. S. 79–112.

Borri F. 2011. White Croatia and the Arrival of the Croats: an Interpretation of Constantine Porphyrogenitus on the Oldest Dalmatian History // *Early Medieval Europe.* Vol. 19 (2). P. 204–231.

Budak N. 1990. Die südslawischen Ethnogenesen an der östlichen Adriaküste im frühen Mittelalter // Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern. Teil 1 / Hrsg. von H. Wolfram und W. Pohl. Wien. S. 129–136.

Budak N. 1994. Prva stoljeća Hrvatske. Zagreb.

Budak N. 1995. Tumačenje podrijetla Hrvata i najstarije povijesti Hrvata u djelima srednjovjekovnih pisaca // EH. S. 73–78.

Budak N. 2003. Hrvati u ranom srednjem vijeku // Povijest Hrvata. Knj. 1: Srednji vijek / Gl. ur. F. Šanjek. Zagreb. S. 49–79.

Budak N. 2008. Identities in Early Medieval Dalmatia (Seventh — Eleventh Century) // Franks, Northmen, and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe / ed. by I.H. Garipzanov, P.J. Geary, P. Urbańczyk. Turnhout. P. 223–241.

Budimir M. 1992. Arheološka topografija Kninske općine // Izdanja Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb. Sv. 15: Arheološka istraživanja u Kninu i Kninskoj krajini. Zagreb. S. 23–32.

Bury J.B. 1889. A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395–800). L. Vol. II.

Curta F. 2001. The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. Cambridge.

Curta F. 2006. Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge.

Curta F. 2008. The Making of the Slavs: between Ethnogenesis, Invention, and Migration // SSBP. № 2 (4). P. 155–172.

CD 1967 — Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Vol. I: Diplomata annorum 743–1100 continens / Redegit Marko Kostrenčić. Collegerunt et digesserunt Jakov Stipišić et Miljen Šamšalović. Zagrabiae.

Delonga V. 1996. Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Split.

Documenta 1877 — Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia / Collegit, digessit, explicuit Dr F. Rački. Zagrabiae.

Dümmler E. 1856. Über die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien (549–928) // Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien. Bd. 20. S. 353–430.

Dzino D. 2006. «Biti», «Činiti» i «Znati»: Multietničnost hrvatskog identiteta u ranom srednjem vijeku (Predgovor uz knjigu hrvatska povijest devetoga stoljeća Ivana Mužića) // Mužić I. Hrvatska povijest devetoga stoljeća. Split. S. 5–20.

Dzino D. 2009. Novi pristupi izučavanju ranog hrvatskog identiteta // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Knj. 41. S. 33–54.

Dzino D. 2010a. Becoming Slav, Becoming Croat: Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia. Leiden.

Dzino D. 2010b. Pričam ti priču: ideološko-narativni diskursi o dolasku Hrvata u De administrando imperio // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Knj. 42. S. 153–165.

Goldstein I. 1984. Ponovno o Srbima u Hrvatskoj u 9. stoljeću // HZ. God. XXXVII (1). P. 235–246.

Goldstein I. 1992. Bizant na Jadranu. Zagreb.

Goldstein I. 1995. Hrvatski rani srednji vijek. Zagreb.

Grafenauer B. 1950. Nekaj vprašanj iz dobe naseljavanja južnih Slovanov // ZČ. Letnik IV. S. 23–126.

Grafenauer B. 1952. Prilog kritici izvještaja Konstantina Porfirogeneta o doseljenju Hrvata // HZ. God. V. Br. 1–2. S. 1–56.

Grafenauer B. 1953. Vprašanje konca Kocljeve vlade v Spodnji Panoniji // ZČ. Letnik VI–VII. S. 171–190.

Grégoire H. 1945. L' origine et le nom des Croats et des Serbes // Byzantion. Vol. 17. P. 88–118.

Guldescu S. 1964. History of Medieval Croatia. The Hague.

Gumplowicz Lj. 1996. Politička povijest Srba i Hrvata // Hrvati i Goti / priredio R. Tafra. Split. S. 183–192.

Hauptmann Lj. 1925a. Dolazak Hrvata // ZKT. S. 86–127.

Hauptmann Lj. 1925b. Karantanska Hrvatska // ZKT. S. 297–317.

Hauptmann Lj. 1935. Kroaten, Goten und Sarmaten // Germanoslavica. Brno. Vol. 3. S. 95–127, 315–353.

Hauptmann Lj. 1937. Seoba Hrvata i Srba // JIČ. Br. 3. S. 30–61.

Hauptmann Lj. 1942. Podrijetlo hrvatskoga plemstva // Rad HAZU. Knj. 273. S. 19–112.

Howorth H. 1882. The Spread of the Slavs. Part IV. The Bulgarians // The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Vol. XI. P. 219–267.

Katičić R. 1986. Filološka razmatranja uz izvore o začecima hrvatske države // SHP. Ser. III. Sv. 16. S. 77–92.

Katičić R. 1990. Pretorijanci kneza Borne // SHP. Ser. III. 1990. Sv. 20. S. 65–83.

Kelemina J. 1939. Popa Dukljanina «Libellus Gothorum» (I–VII). Studija o starogermskih spominih v naši zemlji // Etnolog. Leto XII. P. 15–35.

Klaić N. 1959. Postanak plemstva dvanaestero plemena kraljevine Hrvatske // HZ. God. XI–XII. S. 14–64.

Klaić N. 1975. Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. 2. izd. Zagreb.

Klaić N. 1988. Poganska Stara ili Vela Hrvatska cara Konstantina Porfirogeneta // CCP. God. XII. Br. 21. S. 49–62.

Klaić V. 1897. Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća // Rad JAZU. Knj. 130. S. 1–85.

Korošec J. 1958. Ostava brončanih matrica za otiskivanje u Biskupiji kod Knina // SHP. Ser. III. Sv. 6. S. 29–42.

Krause H. L. 1854. Res Slavorum in imperiorum occidentalis et orientalis confinio habitantium saeculo IX. Pars I. Berolini.

Kronsteiner O. 1978. Gab es unter den Alpenslaven eine kroatische ethnische Gruppe? // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien. Bd. 24. S. 137–157.

Labus N. 2000. Tko je ubio vojvodu Erika? // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zadar. Sv. 42. S. 1–16.

Lanović M. 1938. Ustavno pravo Hrvatske narodne države // Rad JAZU. Knj. 265. S. 167–242.

Lončar M. 1992. Porfirogenetova seoba Hrvata pred sudom novije literature // Diadora. Zadar. Sv. 14. S. 375–448.

Lowmiański H. 1964. Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e. Warszawa. T. II.

Mandić O. 1952. Bratstvo u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj // HZ. God. V. Br. 3–4. S. 225–298.

Margetić L. 1977. Konstantin Porfirogenet i vrijeme dolaska Hrvata // Zbornik Historijskog zavoda JAZU. Vol. 8. S. 5–88.

Margetić L. 1988. Ugovor Mletaka i italskih gradova contra generationes Sclavorum (840.) // HZ. God. XLI (1). S. 217–235.

Margetić L. 1990. O nekim pitanjima naše ranosrednjovjekovne povijesti // ZČ. Letnik 44. S. 119–124.

Margetić L. 1995a. Bilješke u vezi s nastankom hrvatske države u 9. stoljeću // EH. S. 144–147.

Margetić L. 1995b. Neka pitanja etnogeneze Hrvata // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Knj. 28. S. 19–56.

Margetić L. 2001. Dolazak Hrvata = Ankuft der Kroaten. Split.

Margetić L. 2003. Povezanost strukture hrvatskog društva i političkih odnosa u srednjem vijeku (do pojave staleža) // Rad HAZU. Knj. 487. S. 1–150.

Margetić L. 2004. O Borni, vojvodi Gačana // Prošlost obvezuje: Povijesni korijeni Gospićko-Senjske biskupije: Zbornik biskupa Mile Bogovića / Ur. F.E. Hoško. Rijeka. S. 87–101.

Milošević A. 2000. Karolinški utjecaji u Hrvatskoj kneževini u svjetlu arheoloških nalaza // Hrvati i Karolinzi. Dio I: Rasprave i vrela. Split. S. 106–139.

Milošević A. 2002. Crkva Sv. Marije, mauzolej i dvori hrvatskih vladara u Biskupiji kraj Knina. Split.

Mužić I. 1996. Goti ili Sklavi i nastajanje hrvatske države u Liburniji i među Dalmatima // Hrvati i Goti / Priredio R. Tafra. Split. S. 7–80.

Mužić I. 2001. Hrvati i autohtonost: na teritoriju rimske provincije Dalmacije. 7. izd. Split.

Mužić I. 2007. Hrvatska povijest devetoga stoljeća. 2. dopunjeno izd. Split.

- Niederle L.* 1906. Slovanské starožitosti. D. II. Praha.
- Pohl W.* 1985. Das Awarenreich und die «kroatischen» Ethnogenesen // Die Bayern und ihre Nachbarn. T. I / hrsg. von H. Wolfram, A. Schwarz. Wien. S. 293–298.
- Pohl W.* 1988. Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 567–822 n. Chr. München.
- Pohl W.* 1991. Conceptions of Ethnicity in Early Medieval Studies // Archaeologia Polona. Vol. 29. S. 39–49.
- Pohl W.* 1995. Osnove hrvatske etnogeneze: Avari i Slaveni // EH. S. 86–96.
- Pohl W.* 1998. Introduction: Strategies of distinction // Strategies of Distinction: the Construction of Ethnic Communities, 300–800 / ed. by W. Pohl, H. Reimitz (The Transformation of the Roman world. Vol. 2). Leiden. P. 1–15.
- Pritsak O.* 1990. Kroatien und Kroaten während des neunten Jahrhunderts: Das Entstehen einer christlichen Nation // Počeci kršćanskog i društvenog života u Hrvata od VII. do kraja IX. stoljeća. Zbornik radova II. međunarodnog simpozija o crkvenoj povijesti u Hrvata (Split, 30. rujna — 5. listopada 1985.) / ur. D. Šimundža. Split. S. 23–37.
- Rački F.* 1888. Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća // Rad JAZU. Knj. 91. S. 125–180.
- Renfrew C.* 1986. Introduction: Peer Polity Interaction and Socio-political Change // Peer Polity Interaction and Socio-political Change / ed. by C. Renfrew, J.F. Cherry. Cambridge. P. 1–18.
- Rus J.* 1931. Kralji dinastije Svevladičev, najstarejši skupni vladarji Hrvatov in Srbov 454–614. Ljubljana.
- Rus J.* 1933. Slovanstvo in vislanski Hrvatje 6. do 10. stoletja // Etnolog. Leto V–VI. S. 31–45.
- Sakač S.K.* 1937. O kavkasko-iranskom podrijetlu Hrvata // Život. Zagreb. Knj. 8. S. 1–25.
- Sakač S.K.* 1942. Historijski razvoj imena «Hrvat» od Darija I. do Konstantina Porfirogeneta // Život. Zagreb. Knj. 23. S. 3–21.
- Sakač S.K.* 1955. The Iranian Origins of the Croats According to C. Porphyrogenitus // The Croatian Nation in its Struggle for Freedom and Independence / ed. by A.F. Bonifačić, C.S. Mihanović. Chicago. P. 30–46.
- Smiljanić F.* 1995. Prilog proučavanju županijskog sustava sklavinije Hrvatske // EH. S. 178–192.
- Smiljanić F.* 2007. O položaju i funkciji župana u hrvatskim srednjovjekovnim vrelima od 9. do 16. stoljeća // Povijesni prilozi. Zagreb. Sv. 33. S. 33–102.
- Sokol V.* 1990. Panonija i Hrvati u 9. stoljeću // Izdanja Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb. Sv. 14. S. 193–195.

Sokol V. 1997. Arheološka baština i zlatarstvo // Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost. Sv. I: Srednji vijek — rano doba hrvatske kulture / ur. I. Supičić, J. Bratulić. Zagreb. S. 116–146.

Sokol V. 2006. Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save. Zagreb.

Sokol V. 2009. Zapadno zdanje i njegova pogrebna funkcija u crkvi sv. Marije u Biskupiji // Zbornik o Luji Marunu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice rođenja (1857.–2007.), Skradin — Knin, 7.–8. prosinca 2007 / ur. Ž. Tomičić, A. Uglešić. Šibenik; Zadar; Zagreb. S. 159–168.

Suić M. 1992. Marafor — Maricus — Župan // Izdanja Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb. Sv. 15: Arheološka istraživanja u Kninu i Kninskoj krajini. Zagreb. S. 51–53.

Šegvić K. 1997. Gotsko podrijetlo Hrvata i kako nastade Hrvatska / preveo i priredio V. Nuić. Split.

Šišić F. 1914. Genealoški prilozi o hrvatskoj narodnoj dinastiji // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Zagreb. Vol. 13. No. 1. S. 1–93.

Šišić F. 1990. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Pretisak izdanja iz 1925. Zagreb.

Švab M. 1995. Današnje stanje historiografije o pojavi Hrvata na istočnoj obali Jadrana // EH. S. 54–60.

Třeštík D. 2001. Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791–871. Praha.

Vežić P. 1996. Ninska crkva u ranom srednjem vijeku — problem kontinuiteta i rezultati arheoloških istraživanja // Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža / Ur. M. Jurković, T. Lukšić. Zagreb. S. 87–99.

Vinski Z. 1958. O nalazima 6. i 7. stoljeca u Jugoslaviji s posebnim osvrtom na arheološku ostavštinu iz vremena prvog Avarskoga kaganata // Opuscula Archaeologica. Zagreb. Br. 3. S. 13–67.

Vinski Z. 1971. Rani srednji vijek u Jugoslaviji od 400. do 800. godine // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Ser. III. Zagreb. Br. 5. S. 47–74.

Wenskus R. 1961. Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes. Köln; Graz.

Wolfram H. 1979. Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Das Weissbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien. Wien; Köln.

Wolfram H. 1995. Razmatranja o Origo gentis // EH. S. 40–53.

Županić N. 1922. Bela Srbija // Narodna starina. Zagreb. Knj. II. Br. 2. S. 107–118.

Županić N. 1925. Prvobitni Hrvati // ZKT. S. 291–296.

Županić N. 1927. Harimati. Studija k problemu prvobitnih Hrvatov // Etnolog. Leto I. S. 131–138.

Županić N. 1928. Prvi nosilci etničnih imena Srb, Hrvat, Čeh in Ant // Etnolog. Leto II. S. 74–79.

А.А. Маслов, В.А. Попов

**СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СЕТИ
КАК ФАКТОР ВТОРИЧНОГО ПОЛИТОГЕНЕЗА
(к проблеме стадиального и цивилизационного
развития доколониальной Тропической Африки)***

Стадиальная и цивилизационная принадлежность доколониальных обществ Тропической Африки — одна из самых актуальных проблем современного обществоведения. С одной стороны, она представляет собой частный случай более общего и весьма дискуссионного вопроса об особенностях социально-политического развития восточных обществ и соотношении этого развития с основными стадиями истории человечества. С другой стороны, от ее решения во многом зависят понимание специфики современных социально-экономических и политических процессов в развивающихся государствах Африканского континента, а также более адекватное представление о том, что же на самом деле деформировалось при образовании колониального общества — той основы, на которой строится настоящее и от тенденций трансформации которой зависит будущее постколониальных стран Востока.

Следует отметить, что в современной африканистике, как в отечественной, так и в зарубежной, преобладает тенденция модернизации социальной истории народов Тропической Африки, завышения уровня их общественного развития в доколониальный период и, соответственно, сомнительной их стадиально-формационной атрибуции. Сложившееся положение в значительной степени связано с тем, что африканские доколониальные общества описываются и исследуются, как правило, при помощи привычных, но неадекватных терминов и научных категорий, что неизбежно ведет к противоречиям между выбранной системой понятий и объектом

* Статья написана в рамках проекта 3.1 «Возникновение, эволюция и типология вторичной государственности в мировой истории» Программы фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «Нации и государство в мировой истории».

исследования. И хотя эти причины уже давно стали предметом обсуждения, предстоит еще немало сделать для преодоления и пересмотра ставших стереотипами неверных представлений об уровне развития многих африканских традиционных обществ.

Особенно актуальной эта задача выглядит на фоне массовых взрывов традиционализма на современном Востоке. Необоснованное завышение уровня стадийного развития африканских и других восточных обществ к началу колониального периода и неверно взятая точка отсчета породили неадекватные представления о результатах и глубине воздействия на эти общества со стороны метрополий в колониальный период, обусловили преувеличение степени их подготовленности к восприятию капитализма и социализма. В наши дни, когда наступила пора объяснить, почему наследие традиционности оказалось столь сильным и глубоким, такая исходная база оказалась совершенно непригодной.

Только знание реального уровня и специфики развития позволит выработать научную стратегию и тактику борьбы за социальный прогресс, более достоверно прогнозировать перспективы становления современных форм производства, управления, социальных и культурных преобразований. От адекватной атрибуции зависит и разработка эффективных методов модернизации экономики. Наконец, знание истоков позволит понять, что способствует, а что мешает этнополитической консолидации и политической стабильности, разобраться в причинах кризисных явлений и провала многих реформ.

Все сказанное самым непосредственным образом относится и к особенностям политогенетических процессов в африканских условиях, и к специфике этнополитических организмов Тропической Африки, то есть являлись ли они государствами или же находились на предгосударственной стадии и представляли собой вожества и/или союзы вожеств, а может быть, существовали и какие-то иные формы раннеполитических (постпервобытных) организмов.

Политогенез без государствообразования и политогенетическая контроверза

Под политогенезом обычно понимается процесс становления политической организации постпервобытного общества.

В результате политогенетических процессов формируется политическая власть как асимметричное и амбивалентное отношение между управляющими и управляемыми. Поэтому в центре внимания исследователей политогенеза, как правило, оказывается *феномен потестарности* (властвования, властелинства) и основные факторы его генезиса и исторической динамики (прежде всего экологические, этнокультурные и социально-психологические). Если потестарность трактовать как волевое доминирование, то под потестарными отношениями следует понимать те отношения между людьми и их коллективами, в которых отражается принцип иерархичности.

Асимметричность потестарных отношений, ставшая одним из детерминирующих факторов стабилизации социумов, возникла на самых ранних стадиях антропосоциогенеза и была обусловлена функциональными различиями индивидуальных ролей в человеческих коллективах, а также психологическими механизмами властвования/подчинения (подробнее см.: [Потестарность: генезис и эволюция 1997: гл. I]). В процессе политогенеза политическое общение близких по родственным и соседским отношениям людей, еще относительно равных по потестарному статусу и влиянию, сменяется отчужденными отношениями господства и подчинения, опирающихся на административный аппарат принуждения и насилия, то есть на государство, если исходить из классово-государственной модели политогенеза. (При этом, следует заметить, государство как политический институт осуществляет также руководство, управление, координацию, контроль и другие потестарные функции, применяя такие средства осуществления власти, как авторитет, убеждение, манипуляция, запрет.)

Как известно, создатели *классово-государственных теорий политогенеза* трактуют государство как политическую организацию экономически господствующего класса и аппарат его диктатуры. При этом государство рассматривается как высшая стадия развития политической организации, единственная и универсальная, а генезис государства может осуществляться двумя основными путями — в результате действия факторов внутреннего развития и под внешним воздействием уже сформировавшихся государств (в форме завоевания или опосредованного воздействия), что вполне

закономерно в условиях асинхронности темпов исторических процессов. В связи с этим различают *первичные и вторичные государства*.

Одно из новейших направлений политогенетических исследований, подвергающее сомнению универсальность института государства и самого феномена государственности, занимается обоснованием *безгосударственных моделей политогенеза*. Большинство сторонников этого подхода исходит из многолинейности социальной эволюции и занято поиском и обоснованием альтернатив государству в мировой истории. В качестве альтернативных вариантов определяют полис, мегаобщину и акефальные сложные общества — совокупность автономных децентрализованных общин, то есть социальных организмов, в которых интеграция осуществляется за счет горизонтальных, а не вертикальных связей между составляющими их семейными и родственными институтами (см., например, коллективные работы: [Alternative Pathways to Early State 1995; The Early State 2004; Раннее государство 2006], а также обзоры: [Крадин 2001: 147–151; 2012; Классен 2012; Скальник 2012] и обобщающие статьи [Гринин 2012; Гринин, Коротаев 2012] об аналогах вождеств и ранних государств).

Однако если проанализировать истоки этого подхода и основной фактический материал, на котором базируются авторы безгосударственных моделей, то все они вполне вписываются в парадигму вторичного политогенеза, а *теория парapolитейности* позволяет *решить политогенетическую контрoверзу* (то есть появление государственности в доклассовом обществе, что противоречит постулату о синхронности классового и политогенеза), рассмотрев парapolитейность (государствоподобность) как результат вторичного (стимулированного более развитыми обществами) политогенетического развития, когда происходит опережающее развитие высших иерархических уровней социально-политического управления и создается возможность для появления особого — *парapolитического* — состояния социально-потестарных организмов, в которых политогенез так и не завершился образованием государства (подробнее см.: [Роров 1988; Попов 1990; 1995]).

Другими словами, рассматриваемые сторонниками многолинейности социальной эволюции как однопорядковые госу-

дарству, неиерархические формы политической организации, будь то древнегреческий полис, сложные вождества, «племенные» союзы или политики кочевников, казаков и горцев, а также кельтов и исландцев, — не более чем «альтернативные пути» к государственности (первичной или вторичной) наряду с параполисами и «ранним государством». Нельзя не заметить к тому же, что «неиерархические сложные общества» — такой же оксюморон, как и «неиерархическая власть».

Вместе с тем мало кто обращает внимание на те предпосылки, которые способствовали развитию тенденций вторичной государственности и, в частности, на наличие особых социально-коммуникативных сетей, организованных по естественным принципам — родству, гендеру и возрасту [Попов 2010; 2012].

Феномен общностей по джаму

Джаму (jami) — слово из языка бамана, на котором говорит бамбара — крупнейший народ Республики Мали; восходит к арабскому *jama'a* («собрание, сообщество») и обозначает имена собственные, патронимы, многие из которых (а всего их зафиксировано более двухсот) объединяют десятки и сотни тысяч людей в Западном Судане — от Атлантического побережья на западе до излучины Нигера на востоке и от Сахары на севере до Гвинейского залива на юге, независимо от их этнической принадлежности (подробнее о джаму см.: [Ольдерогге 1960; Арсеньев 1977; 1978; Perinbam 1997; Пирцио-Бироли 2001; Маслов 2005; 2010]). От обычных фамилий эти «клановые имена» отличаются тем, что носители одинаковых джаму считают себя родственниками и используют в разговоре друг с другом те же вокативы, что и для обращения к своим старшим и младшим сиблингам, то есть отождествляют друг друга с братьями и сестрами. Носители одинаковых джаму — «общности по джаму» — часто возводят себя к общему предку, почитают те же *тотемы* (например, тотем Кейта — бегемот, Джара — лев, Самаке — слон). Устная традиция часто приписывает «общностям по джаму» некую прародину, откуда с течением времени ее представители расселились по обширной территории. Признается существование локальных различий внутри джаму, причем особое значение приобретает ветвь, населяющая ги-

потетическую прародину (если таковая ветвь имеется). Скорее всего, «общности по джаму» — разнородные по происхождению группирования, иногда даже неэксогомные, некоторые из них более всего похожи на диаспоры или «землячества» — консолидированные группы выходцев из одной области.

Существует *корреляция между джаму и статусом и/или профессией*, передаваемой по наследству, то есть по джаму можно определить традиционную профессию (например, Думбия, Сиссоко и Багайого — кузнецы, Куйате и Фофана — гриоты /сказители/) или статус (например, Кейта, Тункара, Траоре — благородные /земледельцы-воины/). Хотя эта корреляция более заметна на уровне представлений (устной традиции), чем на уровне социальной реальности — «сбои» в идентификации профессии/статуса по джаму весьма распространены — даже без учета распада традиционных структур занятости в связи с урбанизацией и т.п.

Наблюдается также *корреляция между джаму и этнической принадлежностью* (Кулибали, Траоре, Джара, Дембеле, Конаре, Думбия — *бамбара*; Кейта, Курума, Конате, Мариго — *манинка /малинке/*; Тункара, Макало, Калого, Набо — *сонинке*; Майга, Хайдара — *сонгаи*; Бамба, Бенкали — *сенуфо*; Тембели, Того, Гиндо, Нафо, Доло — *догоны*; Уэдраого, Согодого, Зербо, Драбо — *моси*; Саного, Мале — *миньянка*; Фофана, Магаса — *кагоро*; Даколо, Камате — *бобо*; Мента, Канипо, Карабента — *бозо*; Диалло, Дьяките, Ба, Сидибе, Сангара, Гиссе, Бари — *фульбе*; Тям, Талл, Салл, Си, Ла, Согоре — *тукулёры*; Ндаий, Фалл, Гей, Нгом — *волофы*; Ягара — *туареги*; Сиби — *мавры*; и т.д.), однако эта корреляция не касается многих крупнейших общностей, «*трансетнических*» по своей внутренней структуре (Камара, Туре, Сисе, Сиссоко, Диавара, Конде, Конне, Самаке, Сарр, Балло, Фане и др.). Необходимо также отметить и *социорелигиозный аспект* восприятия системы джаму: некоторым общностям по джаму (например, Туре, Сисе) приписывается роль «истинных, правоверных и/или первых мусульман».

Между некоторыми джаму (например, между Кейта, Тункара и Сисе, Траоре и Дембеле) предполагается *родство*, но более дальнее, чем внутри каждой из общностей. При этом одни общности считаются «младшими», а другие — «старшими» кросскузенами, что выражается в представлениях об их

происхождении от братьев-первопредков. Ассоциация с родством находит выражение в отношениях *синанкуйя*, или *joking relationship* (не совсем удачный русский перевод: «шуточное родство»), — взаимном ритуальном доброжелательном поношении или «подшучивании». Кроме джаму, в отношениях *синанкуйя* состоят самые различные группы людей, часто не имеющие никакого отношения к родству, даже фиктивному (например, каста кузнецов и этнос фульбе), или такие характерные для региона пары, как догоны — бозо, манинка — сонинке, фульбе — бамбара, дан — гуру, лома — манинка и др., где элементы бинарной оппозиции представляют собой крупные этнокультурные общности. Иными словами, отношения «ритуального поношения» шире не только кросскузенных связей, но и родства в целом. Характерно также, что у хаусанцев «ритуальное поношение» объединяло (также) либо кузнецов, либо жителей некоторых географических областей (или «городов») [Ольдерогге 1960: 115–136].

Еще один вид отношений между джаму — *эквивалентность*, или «тождество». Если два (иногда три или даже четыре) джаму эквивалентны (например, Дамба = Сиссоко; Туре = Самаке; Кейта = Конате = Кулибали = Камара), то брачные предпочтения, а также «братские» связи у них одни и те же. Иногда братские связи между джаму и их эквивалентность перетекают друг в друга и смешиваются (ср. использование Конате в качестве почетного и/или альтернативного наименования Кейта и наоборот), однако эти формы отношений не следует путать. Именно связи по эквивалентности обеспечивают трансэтничность (транснациональность) института джаму. Эквивалентность означает возможную смену имени при перемещении в пространстве. Так, Конне оказывается Джара, если поселяется среди последних (в Сегу, например) [Маслов 2002]. Аналогичные явления отмечены и в аканском регионе, где субъектами эквивалентных отношений выступают надродовые институты *абусуапон* [Попов 1990; 1994].

Существуют также представления о *брачных предпочтениях* (предписанных или желательных /в прошлом, вероятно, обязательных/ браках) для различных джаму, то есть сами носители воспринимают джаму в том числе и как маркеров *эпигамных (взаимобрачующихся) общностей*. Следует отметить, что наличие взаимных брачных предпочтений между

некоторыми двумя (тремя, четырьмя) джаму часто отождествляется с отношениями «шуточного родства». Разумеется, выбор конкретных брачных партнеров традиционно определяется локальными эпигамными связями, но их джаму имеет существенное значение.

Кроме того, важно, что устойчивые брачные отношения закрепляли политические альянсы. Это явление — политически мотивированные, передающиеся из поколения в поколение брачные предпочтения — уже предлагалось называть *потестарной эпигамией* [Маслов 2001: 121–123].

Объединенные номинальным родством, «общности по джаму» имеют, скорее всего, гетерогенное происхождение, то есть разное для каждой общности, также и отношения между ними гетерогенны, и происхождение той или иной связи («эквивалентности», «эпигамии», «шуточного родства») каждый раз нужно устанавливать отдельно. Так, ряд джаму являются наименованиями раннеполитических общностей (к ним вполне достоверно можно отнести Джавара, Джара, Сила и, возможно, Камара и Самаке). О некоторых джаму можно предположить, что они происходят от более или менее локальных соционимов (обозначений социальных групп, кастоподобных институтов) нетопонимического характера (как уже упоминавшиеся воины-земледельцы Кейта, Тункара и Траоре, а также джаму гриотов / Куйате и Фофана/ и кузнецов /Думбия, Сиссоко и Багайого/).

Установление иерархии и соответствий джаму было тесно связано также с борьбой за власть и влияние различных группирований. Анализ устной традиции мандеязычных народов заставляет предположить, что возникновение целого ряда имен и сюжетов связано со стремлением оправдать претензии на власть правящих династий в раннеполитических образованиях Западного Судана в XVII–XIX вв. Вероятно, например, что легендарный эпический герой Сундьята из Кангаба, создатель империи Мали, получил джаму Кейта гораздо позднее своей смерти, в результате составления фиктивной генеалогии и закрепления ее в устной традиции. Кейта, претендовавшие на власть в области Кангаба, приписали это имя Сундьяте, тем самым «превратив» последнего в своего предка. Впоследствии бамбара Сегу подчинили себе эту область и, возможно, использовали

рожденную там устную традицию для оправдания теперь уже своих претензий на власть. Так появились легенды о родстве Кейта и Кулибали (подробнее см.: [Niane 1960; Monteil 1977; Маслов 2000: 92–93]).

Позднее на стыке зон леса и саванн возникло раннеполитическое образование Конг, правящей династией в котором оказались Уатара. Они также (как и Кулибали) стремились установить родство с Кейта, то есть причислить себя к родственникам Сундьяты. Возможно, тогда же и по тем же причинам возникла легенда о происхождении из области Конг предков самого Сундьяты, первых Кейта. В цикле легенд о Сундьяте можно найти также свидетельства установления связи с этим эпическим предком еще одного родового имени — Джара, и это может быть результатом прихода Джара к власти в Сегу, на смену Кулибали. Интересно, что в эпосе фигурирует не само джаму Джара, а его эквивалент — Конде. Джара могли повысить свой статус установлением особых отношений с Конде, имя которых уже (к тому моменту) присутствовало в социально значимом эпосе о Сундьяте (подробнее см.: [Niane 1960; 1989; Monteil 1977; Маслов 2000: 92–93])¹.

Приведенный пример наглядно показывает, насколько интерпретация феномена общностей по джаму значима для понимания механизмов этносоциальной и политической интеграции в Западной Африке в историческом аспекте, а также для правильной оценки современных общественных отношений в этом регионе. Так, в комментариях по поводу вооруженных столкновений в Либерии, Сьерра-Леоне и других странах Западной Африки, имевших место в 1990-е гг., как правило, используются расхожие штампы о «борьбе за власть», «контроле над алмазами», «недовольной армии», «страдающих беженцах», «иностранном вмешательстве». Между тем за многими внешне хаотичными и однообразными событиями новейшей военно-политической истории большинства государств Западной Африки стоят строгие законы социально-этнического и социально-родственного баланса. Однако эти принципы, традиционные альянсы и противоречия зачастую затеняются как самими заинтересованными сторонами, так и внешними наблюдателями, извлекающими выгоду из своего «тайного» знания. Важно от-

метить, что традиционные формы социально-политической организации значительно чаще являются именно формами заключения альянсов или возникновения конфликтов, а не их причинами. Тем не менее изучение этих форм и прежде всего брачных предпочтений необходимо для правильного понимания происходящих процессов, поскольку в традиционных культурах брак воспринимается не столько как брак двух конкретных людей для рождения и воспитания потомства, сколько как отношение между социальными сообществами в целях долгосрочного воспроизводства хозяйственных, социальных и политических структур.

В этой связи можно вспомнить, что дочь Феликса Уфуэ-Буаньи — президента Кот-д'Ивуара в 1960–1993 гг. — была супругой президента Либерии У. Толберта. И поэтому в соответствии с местными традициями Ф. Уфуэ-Буаньи должен был отомстить либерийскому мятежнику С. Доу за смерть своего зятя. Это обстоятельство сыграло не последнюю роль в той поддержке, которую Ф. Уфуэ-Буаньи оказал в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Чарльзу Тэйлору, свергнувшему С. Доу и ставшему впоследствии президентом Либерии.

Так же, «по-родственному», вмешивалось в ход либерийской войны и гвинейское правительство. В июне 2003 г. в Монровию вошли отряды «объединенной демократической» оппозиции под командованием Секу Конне, жена которого приходится племянницей (и при этом — классификационной дочерью) президенту соседней Гвинеи Лансана Конте. В ходе нескольких лет войны Секу Конне не только отдыхал и лечился в Конакри, но и неоднократно встречался со своим «тестем». В этой связи обращают на себя внимание два обстоятельства: во-первых, С. Конне и Л. Конте принадлежат к разным этносам (манинка и сусу соответственно), а во-вторых, родство двух политиков трудно проверить, но косвенные данные говорят о том, что оно фиктивное и «изобретено» в политических целях.

Анализ среднего звена командного состава различных повстанческих армий в Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее и Кот-д'Ивуаре указывает на сохранение (или даже реактуализацию) традиционных связей по джаму. Также можно упомянуть альянсы Джона Поля Корума и Фоды Санко в Сьерра-Леоне (середина 1990-х гг.) или Кигбафори Сороо и Ибрагима Кули-

бали в Кот-д’Ивуаре (2002 г.), фамилии которых представляют собой тождественные джаму. Те же тенденции проявились при формировании правительств Мали и Гвинеи в 2002 г. Так, в Мали к власти пришла группировка эквивалентных джаму Траоре — Джара — Конне — Ндиай, а «некогда весьма влиятельная группировка Кейта — Конате — Кулибали — Камара представлена министром инфраструктуры и территориального развития, а также двумя женщинами-министрами, которые, однако, находятся замужем за мужчинами Траоре и Ндиай. Примечательно, что традиционно Кейта — Конате — Кулибали — Камара считаются соперниками Траоре — Джара — Конне — Ндиай, притом, что “обмен невестами” между этими группами считаются предпочтительным» [Арсеньев, Маслов 2002: 27]. Так что прав был Д. Пирцио-Бироли, когда отмечал, что «поддержка в спорах и отказ свидетельствовать против своих в суде, единение в политических соперничествах» были основными функциями мандингских кланов (то есть джаму. — *А.М., В.П.*) [Пирцио-Бироли 2001: 56].

Приведенные факты свидетельствуют, что традиционные структуры реального и номинального родства играли структурообразующую роль как в доколониальную эпоху, так и после обретения независимости. Много схожего можно обнаружить в особенностях формирования различных политических институтов (в том числе политических партий и партизанских отрядов) в постколониальных государствах Западной Африки и, например, в истории «империи» Уасулу, существовавшей в последней четверти XIX в. Ее создателя Самори Туре современники называли Бонапартом Судана и даже африканским Чингисханом. Европейцы никак не могли понять природу нестабильности или, скорее, текучести границ территории Уасулу, объясняя этот феномен ходом борьбы с французскими колонизаторами и вынужденным отступлением африканцев во внутренние районы континента, при этом они полагали, что империя Самори все время перемещалась вместе с населением. Если посмотреть на европейские политические карты Африки, то, действительно, в конце 1870-х гг. империя Самори располагалась в восточных районах современной Гвинеи, а в конце 1890-х гг. — на северо-востоке современного Кот-д’Ивуара [Niane, Suret-Canale 1961: 86–91]. На самом деле никуда Уасулу не пере-

мещалась, тем более с многочисленным населением. Просто Самори регулярно переносил свою ставку («столицу») в более восточные регионы в пределах социально-потестарной системы, существовавшей на основе общностей по джаму и признававшей его верховным вождем. Следует отметить, что архаические политические организмы, как правило, не акцентировали свое господство над территорией, для них главное заключалось в людях, подданных. Правители скорее распоряжались людьми, а не территорией (ср.: вождь свази, а не свазиленда). Поэтому и государственных границ в современном понимании не существовало. Другими словами, никакой империи и государства Самори не создал, а его Уасулу представляла собой либо вариант параполитейного организма, либо специфическую сетевую организацию.

Мутупо — машонский аналог джаму

Шона (машона) — самая многочисленная этническая общность Республики Зимбабве (82 % всего населения страны). Существует пять основных «племен»² машона: каранга (каланга), зезуру, маньика, корекоре и ндау. При этом два первых выделяются по численности: каранга составляют более 40 % машона, а зезуру — около 30 % [Kuper et al. 1954; Beach 1980; Unendoro 2005]³. Каранга (mocaranga) и маньика (manyika) упоминаются еще в португальских источниках XVI в. [Bullock 1928; Beach 1980]. Возможно, когда-то это были названия правящих родовых групп (Каранга и Ньика), а затем португальцы так стали называть население, которое этим родовым группам подчинялось. Слова «зезуру» и «корекоре» имеют явное топонимическое происхождение. С одного из диалектов языка чишона «зезуру» переводится как «люди горных районов», «корекоре» означает «обитатели северных районов». В период сложения колониальной системы соционимы «зезуру», «корекоре», «каранга» и «(ма)ньика» стали использоваться более широко. С одной стороны, это упрощало процесс управления, с другой — способствовало складыванию этнической идентичности, развитию самосознания и формированию субэтносов шона. Пятое «племя» машона — ндау — проживает в пограничных с Мозамбиком районах, и о его происхождении почти ничего не известно [Bullock 1928; Kuper et al. 1954; Gelfand 1965; Beach 1980].

Традиционная система управления машона не представляла собой централизованной структуры. Минимальное ядро общности состояло из нескольких больших семей (большесемейных общин). Территория проживания этих общин обозначалась по имени ее главы; название также могло возводиться (возводится) к реальным или легендарным предкам. Такие семьи объединяли представителей нескольких «чидаво» — базовой единицы традиционной социальной организации машона (зафиксировано около 60 чидаво). Люди одного чидаво считаются потомками общего предка, и им традиционно записывается брат жену из того же чидаво [Kuper et al.1954; Gelfand 1965].

Как правило, каждое чидаво (они имеют свои названия) целиком относится к тому или иному «племеню»: каранга, зезуру и др. Но при этом чидаво из разных племен объединяются между собой в *мутупо* — обширные «кланы», как их называют в научной литературе, или, если говорить более точно, сетевые номинально-родственные группирования, аналогичные джаму.

Возможно, система мутупо сложилась в процессе объединения пяти «племен» в единый народ машона. Чидаво из различных племен (субэтнотосов) устанавливали друг с другом трансрегиональные связи. Эти связи закреплялись браками между представителями разных чидаво в рамках одного мутупо («клана»)⁴. Каждому мутупо соответствует определенный тотем — животное или предмет-покровитель.

Таким образом, каждое чидаво является частью какого-либо племени и одновременно частью клана (мутупо). Поэтому племена и мутупо образуют систему координат социальной системы машона: на пересечении осей системы находятся отдельные чидаво. Каждое мутупо состоит из 2–5 чидаво, племя может включать до 20 чидаво. Соответственно, традиционный каркас идентичности отдельно взятого представителя шона зависит от пересечения двух измерений: фиктивного родственного, или «кланового» (мутупо) и «племенного» (то есть от принадлежности к той или иной из пяти локальных групп, или субэтнотосов шона). И то, и другое можно (как правило) определить по чидаво [Bullock 1928; Kuper et al.1954; Gelfand 1965]. Но, к сожалению для исследователей, чидаво в отличие от джаму редко выступа-

ют в качестве паспортных фамилий, поэтому установить принадлежность человека к тому или иному чидаво не так просто. Для этого требуется проведение специальных, подробных и осторожных полевых исследований. Такой же непрозрачной остается и вся система чидаво, мутупо и субэтносов («племен»).

Известно, например, что президент Зимбабве Роберт Мугабе принадлежит к чидаво Гушонго (Гушунго). Это чидаво входит в мутупо Нгонья, а также относится к субэтносу зезуру (то есть исторически это «горцы»). Как зезуру, Мугабе противостоит шона-каранга. Однако некоторые каранга, а именно члены чидаво Мкумбири, относятся к тому же мутупо Нгонья (см. подробнее [Маслов, Лобова 2005]).

Машона обречены на политическое доминирование в Зимбабве. И президент, и его наиболее вероятные преемники, и главные оппозиционеры — все представляют машона. Основная политическая борьба происходит между шона-каранга и шона-зезуру, а побеждают те, на чью сторону встают ндебеле (поддерживающие, как правило, оппозицию).

Р. Мугабе и основные фигуры в его окружении принадлежат к зезуру, а его «ближний круг» строится вокруг чидаво Гушонго. В первую очередь клановые связи Р. Мугабе прослеживаются через его сестру и жену, все родственники и свойственники которых — зезуру. Некоторые каранга и ма-ньика являются традиционными союзниками Р. Мугабе, но уже через клановые связи в рамках мутупо Нгонья (см. подробнее [Маслов, Лобова 2005]).

Общности по джаму и мутупо и их аналоги как социально-коммуникативные сети

В исторической социологии общинные (территориальные) связи принято противопоставлять родственным (экстерриториальным). Однако на примере феномена общностей по джаму видно, как экс- и транстерриториальные структуры разворачиваются из территориальных, получая при этом языковую интерпретацию в терминах родства. Иначе говоря, группа людей, живших вместе, а затем рассеявшихся, продолжает именовать свою близость в терминах родства и после преодоления территориальных границ. Но это не просто потомки мигрантов из определенной местности, принадлеж-

ность которых к джаму и их аналогам передается по наследству, — действовали также и механизмы инкорпорации⁵. В итоге появлялась сетевая организация, вполне адекватная современным представлениям о социальных сетях.

Сеть фиктивно-родственных отношений по джаму и муту-по обеспечивала если не политическое, то, по крайней мере, коммуникативное и символическое единство территории, крайне важное для торговых и военных мероприятий. Здесь уместно привести одно свидетельство арабского хрониста, касающееся Сонгайской державы XVII в., но весьма показательное для понимания особенностей общественной организации региона в целом: «...когда государю понадобится присутствие какого-либо человека, находящегося близ озера Дебо в своем селении, то посланный выходит к воротам в стене и зовет того, чьего присутствия желает государь. Люди передают призыв от селения к селению, и он достигает того человека в течение часа» (цит. по: [Куббель 1974: 89]). То есть *единство коммуникации скорее, чем единство управления, сплачивало социальное пространство доколониальной Африки*. По сути, система общностей по джаму — это механизм расширенного воспроизводства социальности на территории Западного Судана, сформировавшийся в процессе трансформации локальных общностей в сетевые структуры.

Как известно, африканские раннеполитические организмы в значительной степени были ориентированы на экстравертный обмен, то есть на внешние рынки. Другими словами, их основная функция заключалась в регулировании не столько системы производства, сколько системы распределения материальных ценностей. Поэтому основной механизм возникновения политических образований Тропической Африки заключался в монополизации руководящим слоем организационно-хозяйственных функций, то есть права на редистрибуцию, осуществление которого было невозможно без эффективности коммуникаций (во всех смыслах) и легитимности власти⁶, причем последнее, пожалуй, является следствием первого. Легитимность при наличии эффективной социальной сети успешно транслировалась на места и обеспечивала систему делегирования — основу любого процесса управления, а следовательно, и политогенеза. Именно легитимность потестарной системы и коммуникация, судя

по всему, были основными функциями сетевых систем типа джаму, мутупо и абусуапон вплоть до XXI в. (см. также: [Попов 2006; 2012; Маслов 2010]).

Таким образом, историческая функция системы джаму и ей подобных состоит в формировании единого социально-коммуникативного пространства, пригодного для политической интеграции социальных общностей, разнородных с точки зрения хозяйства, культуры, языка, происхождения и т.д.

Одним из основных механизмов политической интеграции в доколониальном Западном Судане был институт потестарной эпигамии. Фактически брак являлся символическим актом передачи ранга и прав, а также следствием распределения функций управления между несколькими группами. Представляется, что вводимое в научный оборот понятие «потестарная эпигамия» обладает эвристической ценностью и за пределами рассматриваемого региона, то есть может быть использовано при анализе моделей политогенеза в различных частях света и в различные исторические эпохи.

Заключение

Сетевые структуры, сложившиеся в доколониальной Тропической Африке (прежде всего «общности по джаму» у народов Западного Судана и мутупо у машона, а также межгородские сетевые образования у хаусанцев и канури в Центральном Судане и «система абусуапон» у ашантийцев и других аканских народов Гвинейского побережья), способствовали появлению единых социально-коммуникативных пространств, сопоставимых с локальными цивилизациями и ставших главной предпосылкой политической интеграции. Иными словами, исторический процесс в доколониальной Тропической Африке развивался таким образом, что социально-коммуникативные сетевые структуры оказались мощным фактором вторичного политогенеза.

Основным структурообразующим принципом организации сетевых сообществ является родство (реальное или фиктивное), поскольку только матрицы родства способны выразить как иерархические, так и горизонтальные отношения, причем номенклатуры родства отражают не только собственно родственные, но и экс- и транстерриториальные взаимоотношения. Поэтому не только средневековая, но и колониальная

и постколониальная политическая история этносоциальных организмов Тропической Африки, как и любых других архаических и традиционных обществ, в значительной степени написана на «языке родства», то есть родство оказывается универсальным языком социального конструирования. Определенная изоморфность периодов истории до и после колониализма актуализирует традиционные институты социального родства (ср.: [Попов 2005: 132]).

Широкие системы номинального (фиктивного) родства возникали и возникают в Тропической Африке не столько как результат исторического развития родовых (клановых) структур, сколько вследствие функциональной необходимости появления *языка социальной и политической интеграции*. К такому результату мы неизбежно приходим, меняя акцент и задавая вопрос «**Зачем** появились общности по джаму?» вместо «**Почему** они существуют?» или «**Как** они возникли?»

¹ Многие эпические источники (и устная традиция вообще), содержащие указания на джаму и относящие их происхождение к эпохе Древнего Мали (XIII в.) или ранее, требуют критического отношения. Вероятно, система джаму сложилась в XVI–XVII вв., а затем была экстраполирована в прошлое при помощи фиктивных генеалогий (подробнее см.: [Маслов 2000; 2002; 2010]).

² Так называемые племена (tribes) машона по своему происхождению являются, видимо, локальными общностями (этнографическими группами).

³ В населении всего Зимбабве доля крупнейших «племен» машона соответственно составляет 35 % (шона-каранга) и 25 % (шона-зезуру) [Kuper et al.1954; Beach 1980; Unendoro 2005].

⁴ В этом смысле мутупо, конечно, отличаются от обычного понимания термина «клан», предполагающего соблюдение строгой экзогамии. Браки внутри клана-мутупо не только не запрещены, но и поощряются.

⁵ Принцип образования джаму можно в определенном смысле сравнить с распространением наименований «казанские» и «тамбовские» на членов организованных преступных сообществ, действовавших в Санкт-Петербурге в 1990-е гг. под руководством нескольких выходцев из Казани и Тамбова соответственно. Характерно при этом, что лексическое обозначение («казанские», «тамбовские») связывает с территорией, а отношения между собой членов организованных преступных сообществ характеризуются словами, происходящими от термина родства — «братва», «братки» — то же в случае с джаму.

⁶ На материалах других регионов и эпох к аналогичным, по сути, выводам пришел Х.Дж.М. Классен, который пишет об инфраструктуре, эффективной региональной организации и легитимности [Классен 2002: 217] (см. также: [Claessen 2002: 101–117]). Заметим, что третье условие является следствием первых двух.

Арсеньев В.Р. 1977. Общности по «клановому имени» («джаму») у населения верховьев Сенегала и Нигера // Этническая история Африки. М.: Наука. С. 138–152.

Арсеньев В.Р. 1978. Некоторые особенности традиционной социальной организации бамбара в свете современных материалов // Проблемы этнографии и этнической антропологии. М.: Наука. С. 137–147.

Арсеньев В.Р., Маслов А.А. 2002. Новое правительство Мали: возрождение традиционных связей? // Африка: общества, культуры, языки (Чтения памяти Д.А. Ольдерогге. Т. 4). СПб.: Восточный ф-т СПбГУ. С. 26–29.

Гринин Л.Е. 2012. Ранние государства и их аналоги в политогенезе: типологии и сопоставительный анализ // Наст. изд. С. 9–98.

Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2012. Вождества и их аналоги: к типологии среднесложных обществ // ПАТСО. С. 92–123.

Классен Х.Й.М. 2002. Сфера действия центра. Проблема управления и коммуникаций в ранних государствах // *Ethnologica Africana*. Памяти Дмитрия Алексеевича Ольдерогге. М.: Муравей. С. 207–221.

Классен Х.Дж.М. 2012. Теория раннего государства сегодня // ПАТСО. С. 162–189.

Крадин Н.Н. 2001. Политическая антропология. М.: Ладомир.

Крадин Н.Н. 2012. Современные тенденции политической антропологии // ПАТСО. С. 219–241.

Куббель 1974. Сонгайская Держава. Опыт исследования социально-политического строя. М.: ГРВЛ.

Маслов А.А. 2000. Фиктивные генеалогии и претензии на власть в Западном Судане // Тез. докл. XX науч. конф. по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. СПб.: СПбГУ. С. 92–93.

Маслов А.А. 2001. Потестарная эпигамия // Манифестация. № 2. С. 121–123.

Маслов А.А. 2002. Политогенетические функции фиктивно-родственных отношений в Западном Судане // Африка: общества, культуры, языки (Чтения памяти Д.А. Ольдерогге. Т. 4). СПб.: Восточный ф-т СПбГУ. С. 18–25.

Маслов А.А. 2005. Джаму // Российско-африканский деловой журнал «Аф-Ро». № 3 (10). С. 24–29.

Маслов А.А. 2010. Системы родства народов манде (АР. Вып. 8). СПб.: МАЭ РАН.

Маслов А., Лобова М. 2005. Кто кому свой: практическая этнография Зимбабве // Российско-африканский деловой журнал «Афро». № 1 (8). С. 17–21.

Ольдерогге Д.А. 1960. Западный Судан в XV–XIX вв. Очерки по истории и истории культуры. М.; Л.: Наука.

Пирицио-Биролли Д. 2001. Культурная антропология Тропической Африки. М.: Восточная литература.

Попов В.А. 1990. Этносоциальная история аканов в XVI–XIX веках. Проблемы генезиса и стадияльно-формационного развития этнополитических организмов. М.: ГРВЛ.

Попов В.А. 1994. Аканский потестарно-культурный регион в политической системе Республики Гана // Африка: культура и общество. Традиции и современность. М.: Ин-т Африки РАН. С. 214–220.

Попов В.А. 1995. Политогенетическая контрроверза, параполитетность и феномен вторичной государственности // РФПО. С. 188–204.

Попов В.А. 2005. Родство как принцип организации неотрадиционных социальных институтов // VI Конгресс этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. СПб.: МАЭ РАН. С. 132.

Попов В.А. 2006. Сетевые структуры как фактор политогенетических процессов в доколониальной и постколониальной Тропической Африке // Иерархия и власть в истории цивилизаций. М.: Ин-т Африки РАН. С. 7–8.

Попов В.А. 2010. Родство, гендер и возраст как принципы организации социально-коммуникативных сетей (к проблеме факторов политогенетических процессов в доколониальной Африке) // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2009 г. СПб.: МАЭ РАН. С. 176–182.

Попов В.А. 2012. Социально-коммуникативные сети как фактор вторичного политогенеза в доколониальной Тропической Африке // ПАТСО. С. 326–335.

Потестарность: генезис и эволюция. 1997 / отв. ред В.А. Попов. СПб.: МАЭ РАН.

Раннее государство 2006 — Раннее государство, его альтернативы и аналоги / ред. Л.Е. Гринин, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадин, А.В. Коротяев. Волгоград: Учитель.

Скальчик П. 2012. Концепция раннего государства в антропологической теории // ПАТСО. С. 365–387.

Alternative Pathways to Early State. 1995 / eds. N.N. Kradin, V.A. Lynsha. Vladivostok: Dal'nauka.

Beach D.N. 1980. The Shona of Zimbabwe, 900 – 1850. An Outline of Shona History. L. etc.

Bullock Ch. 1928. The Mashona. Cape Town & Johannesburg.

Claessen H.J.M. 2002. Was the State Inevitable? // SEH. Vol. 1, № 1. P. 111–117.

Gelfand V. 1965. African Background. The Traditional Culture of the Shona-Speaking People. Cape-Town etc.

Kuper H., Hughes A.S.B., Velsen J. van. 1954. The Shona and Ndebele of Southern Rhodesia / Ethnographic Survey of Africa, Southern Africa. Pt. 4. L.

Monteil Ch. 1977. Les Bambara du Segou et du Kaarta. P.

Niane D.T. 1960. Soundiata. L'epopee manding. P.

Niane D.T. 1989. Histoire des Mandingues de l'Ouest. P.

Niane D.T., Suret-Canale J. 1961. Histoire de l'Afrique Occidentale. Conackry.

Perinbam B.M. 1997. Family Identity and the State in the Bamako Kafu, 1800–1900. Baltimore: University of Maryland.

Popov V.A. 1988. Secondary Forms of Political Organization in the Ethnosocial History of Sub-Saharan Africa. M.: Nauka.

Southall A. 1988. The Segmentary State in Africa and Asia // CSSH. Vol. 30. P. 52–82.

The Early State 2004 — The Early State, its Alternatives and Analogues / eds. L.E. Grinin, R.L. Carneiro, D.M. Bondarenko, N.N. Kradin, A.V. Korotayev. Volgograd: Uchitel.

Unendoro B. 2005. Tribal rivalry may split ZANU PF // Institute for War & Peace Reporting (Africa Reports: Zimbabwe Elections. № 18). Harare.

Е.Н. Успенская

СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАСТОВОГО ОБЩЕСТВА

Кастовый строй индийского традиционного общества (организация джати) в его узнаваемом виде документированно существует не менее 2,5 тыс. лет, и его формирование прямо связано с объединением этнокультурной множественности Южноазиатского субконтинента в целостность в процессе складывания «территории дхармы». Уже в ходе первых контактов индоариев с автохтонным населением начали проявлять себя те особые сегрегационные модели межэтнического и социального взаимодействия, которые оказали решающее влияние на формирование кастового строя. В дхармашастрах кастовый строй общества рассматривается как способ контролирования шоковой (а потом и долговременной стрессовой) ситуации контакта между ариями и автохтонами Индии, в том числе неподвластными брахманам, таким как нишада, кирата и т.д. Техническая революция VII–VI вв. до н.э., связанная с освоением производства железа, продвижение индоариев по долине р. Ганг и развитие государственности стали историческим фоном для кристаллизации основ кастового строя и формирования его идеологии. Кастовая идеология получила свои концептуальные идеи в философии веданты; она создалась как синтез идей, возникших в разных индийских культурах, и очень скоро стала проявлять себя как жреческая социальная технология, направленная на достижение упорядоченности и управляемости во всем спектре общественных взаимоотношений. Она стала оказывать феноменальное воздействие на характер индийской культуры, предопределяя особенности традиционных форм социальной, экономической и религиозной жизни. Это влияние кастовой идеологии не ослабло и сегодня.

К первым векам до н.э. кастовое общество приобрело свои классические, описанные в дхармашастрах, черты: в дополнение к первоначальным трем варнам индоариев образовались пограничные категории — «четвертая варна шудра» и «вневарновые пятые, аварна», включившие в свой состав индийское автохтонное население; все варны теперь

состояли из множества капсулированных кастоподобных джати. Брахманическая теория объясняет это усложнение как «размножение» варн в процессе «неправильного смешения» (*варнасамкара*) представителей разных варн. На самом деле появление новых варн и усложнение структуры существовавших отражало процесс абсорбции местных общин и племен в складывающееся кастовое общество: специализированные по профессиям общинно-клановые структуры институировались как социальные категории кастовой организации *кула* и *джати*. Именно таким образом появились в сообществе индуистов многочисленные «касты этнического происхождения», сохраняющие за собой добрахманическое этническое самоназвание. Но и те джати, которые не имеют явного племенного бэкграунда, представляли собой в прошлом некий организованный на родственных началах коллектив. К этому разряду относится подавляющая часть земледельческих, ремесленных и так называемых обслуживающих джати, восходящих к общинно-клановым структурам разных этносов. Даже многие брахманские джати относятся к этой категории. Ревностно исполняя дхарму индуистов, они подчинялись кастовым схемам взаимодействия и сохраняли родственную самоорганизацию в своем сегментированном по типу джати сообществе.

Это включение разнородных общин и клановых сегментов в систему экстерриториальных варн стало системным принципом формирования кастовой организации индийского общества. Оно говорит о вполне механическом наложении двух «встретившихся» социальных систем, развившихся в ведической и автохтонных доарийских культурах соответственно. Стратификация сообщества индоариев привела к формированию варн, социально-экономических категорий ведического общества, сословно-корпоративных по характеру (жрецы-брахманы, воины и земледельцы). Индийские автохтонные сообщества развивались по типу сегментированных систем, с характерным обособлением локализованных линиджей — основы большесемейных общин — в их профессиональной специализации. Вероятно, автохтонные сообщества были сегментированными и кастоподобными уже тогда, когда пришли в соприкосновение с ариями, а идея кастовой сегрегации и капсуляции восходит к доарийским культурным

традициям. Доарийские племена развивали магико-анимистические представления и идеи, характерные для тотемических верований; они широко сохраняются и поныне в племенной культуре Индии. В частности, именно из этого пласта добрахманических религий дошли до наших дней представления о магической силе пищи, о жизненной материи «мана» и о том, что качества субстанций и существ передаются через контакты; эти представления имеют широчайшее хождение не только в многообразных вариантах индуизма, но и во всех деривативных от брахманизма-индуизма религиозных учениях, таких как джайнизм или сикхизм. По этнографии разных джати хорошо заметно, что кастовые предписания ассоциируются с архаическими табу, характерными для тропического климата, связаны с его природным миром, с его флорой и фауной. Они отвечают на разнообразные внешние вызовы этого ареала и даже носят характер предписаний стихийной гигиены. Наконец, хорошо видно, что эти верования связаны с миром племен ручных земледельцев, охотников и собирателей тропического пояса. Кочевники арии этого мира еще не знали.

Но именно в ходе общения индоариев с автохтонами Индостана формировался и кастовый строй общества, и соответствующий ему ресурс идей. Индуизм (религия дхармы) и кастовый строй общества не существуют один без другого и формировались одновременно в процессе складывания культурно-исторической целостности Южной Азии. При моделирующем воздействии идеологии брахманизма-индуизма на этнокультурные и социальные процессы синполитейная первобытность Южноазиатского субконтинента превратилась в кастовый строй, а варновый (экстерриториальный сословный) принцип социальной стратификации оказался буквально наложенным на строй сегментированных общинно-клановых структур, развившийся у индийских автохтонов. Варновая стратификация стала матричной моделью статусного ранжирования локализованных социальных компонентов, в том числе и этнических, а выстраивание статусных схем общения (с брахманами во главе) сделалось основой кастового способа налаживания социальных связей.

В брахманической традиции варновый строй и в целом образ жизни индоариев провозглашались «соответствующими

дхарме» и высококультурными, и эта идеологическая доминанта царит в культуре индуизма по сей день. Между тем вполне аргументированными (и эти аргументы предоставляет именно антропология) оказываются ныне предположения, что традиция межобщинной сегрегации могла быть органичной для сегментированных общественных систем. Она оказалась заимствованной брахманами в ходе общения с местным населением и особенно с добрахманическим жречеством, так же как многие неведические культы и практики, а вместе с ними практические знания об окружающем мире тропических джунглей. Добрахманические идеи и культы способствовали появлению охранительной минимизации и регламентации контактов, осмысленной как требование соблюдать ритуальную чистоту в «оскверняющем» общении с чужаками. В индийских условиях относительная закрытость и капсуляция социальных групп имеют определенные преимущества, а кастовые ограничения часто выглядят как предписания стихийно осознанных начал личной и общественной гигиены и в целом являются адаптивной стратегией для условий тропического климата и перенаселенности. Поэтому социальное взаимодействие в труде и в быту построено на стремлении минимизировать общение¹. М. Шринивас объяснял это так: «Идея осквернения руководит отношениями между кастами. Эта идея абсолютно фундаментальна для кастовой системы» [Srinivas 1965: 28]. Существует градация контактов по степени возрастания близости: случайное столкновение «на дороге», пребывание в одном замкнутом пространстве, прикосновение, сидение рядом, принятие воды из чужих рук, принятие пищи из чужих рук, совместное курение, совместное принятие пищи и, наконец, брачные отношения. Чем больше близость, тем уже круг общения. Общаться без предосторожностей можно только в безопасном кругу «своих», в собственной джати. Формируется капсуляция джати и ее замкнутость на себе. Сегрегационно-комплиментарный тип взаимодействия джати описывается в науке как кастовый.

Из архаических пластов истории пришли и социальные институты кастового общества, и термины, и идеология кастового строя. На современном уровне представлений вполне можно говорить о том, что кастовая социальная модель развилась из архаического представления о том, что лишь замкнутый кол-

лектив фактических и потенциальных родственников (объединение клановых общин джати) может рассчитывать на то, чтобы разделить одну на всех «общую судьбу», то есть единый для всех образ жизни и способ добывания средств к существованию («наследственная профессия»), и эти основы жизни с посторонними не делят, соблюдая строгую эндогамию. Разнообразии статусно ранжированных обособленных вариантов «общей судьбы» принимает вид индийского традиционного общества, составленного из множества джати, то есть джати становится базовым модулем сегментированной кастовой организации, и по типу джати воспроизводятся все функциональные ячейки кастового общества. Этому способствует влияние адресных вариантов индуизма, ориентированных на джати и ее клановые компоненты кула/готра.

Капсуляция джати не препятствует налаживанию взаимодействия и экономики кастового общества. Отдельные джати не обладают самодостаточностью в жизнеобеспечении; разделение труда между ними реализуется в форме кастовой общины. Выстраивается сложная иерархическая схема ритуализованных отношений натурального обмена между локальными подразделениями (например, живущими в конкретной деревне семьями) разных каст и джати, которая называется *дждаджмани* (букв. «выполнение брахманом ритуалов за свою паству»). В кастовой общине представители разных каст оказывают друг другу практически все необходимые услуги, профессиональные и ритуальные, что в целом обеспечивает этой общине жизнь. Так, цирюльник *науи* бреет, стрижет, лечит как фельдшер, его жена принимает роды; как вхожий во все дома человек, он помогает в устройстве свадеб, а семьи других каст, которые пользуются его услугами, дают ему меру зерна во время урожая, стирают белье, приносят воду и овощи, делают ему железные инструменты и т.д. Брахманы оказывают всем кастам ритуальные услуги, учат и получают за труды фиксированное вознаграждение в натуральной форме. Всякий член кастовой общины в той или иной ситуации либо оказывает профессиональную помощь своим соседям, либо принимает ее. Такая община была прекрасно видна в деревне до начала процессов модернизации. Взаимопомощь дждаджмани (общественное разделение труда) предписывается всем джати как моральный долг; кас-

товое общество строится на системном взаимодействии сегрегационно-комплиментарного типа между категориями джати и их клановыми составляющими. Выстраивание статусных схем общения и взаимодействия (обычно вокруг жрецов и с брахманами во главе) сделалось основой кастового способа налаживания социальных связей. Совокупность всех джати организуется в макрообщину, обитающую на «территории дхармы» и налаживающую комплиментарное взаимодействие в жизнеобеспечении (распределении ресурсов и разделении труда) на всех уровнях организации.

Таким образом, сегментация, капсуляция и комплиментарность социальных сегментов — системные принципы организации джати. Структурирование общества по типу джати — цивилизационная особенность индийской культуры, она уходит корнями в архаические пласты истории и возведена индуизмом в ранг закона социальной жизни. Его выполнение предписывается адресными религиозными наставлениями индуизма. Опыт социальности кастового типа отражен и осмыслен в текстовой традиции брахманизма-индуизма. Осмысление множественности племен и вариативности их образа жизни в «созданной Брахманом природной данности» развилось в натурфилософский концепт «джати» — основу идеологии сегрегационно-комплиментарного взаимодействия кастового типа.

Идея структурной целостности и самодостаточности «территории дхармы» уже в древности стала стержневым понятием брахманической историософии и геополитики, а расширение территорий власти (и одновременно расширение рынка сбыта услуг множасьихся брахманов) приобрело характер дхармической обязанности для кшатриев. Брахманическая геополитика ставила своей целью объединение под «зонтом» дхармического порядка всего космического разнообразия природных начал индийской цивилизации, в числе которых рассматривалось, в частности, множество «классов» (варн) и «видов» (джати) людей. Существовал и системный принцип организации социального и территориального пространства индуизма — санскритизация, которая основана на важнейшей философеме практического индуизма: противопоставлении культуры (*санскрити*) природе, первозданности (*пракрити*). «Культурный» образ жизни ас-

социировался с принятием брахманического² ритуала сопровождения жизни обрядами *санскара* и налаживанием социального взаимодействия по типу организации джати. Этот механизм социализации работал и работает во всех случаях, когда речь идет об этнически и культурно инородных соседях кастового общества, на протяжении всей его истории (см. [Успенская 2010]). Для индоариев такими чужеродными общностями стали все встреченные ими за пределами Арьяварты этнические общности. Многочисленные волны более поздних, чем сами арии, иноземных завоевателей и переселенцев также приняли наставничество брахманов и мировоззренческие установки брахманизма-индуизма, освоили нормы жизни в кастовом обществе и вошли в его состав в виде отдельных джати и этнокастовых общностей, не отказываясь от многих своих культурных традиций.

В характерном для индуизма осмыслении устройства мира с ведической древности существует понимание системности мироздания, выражаемое понятием «дхарма» («закон жизни»). Человеческое общество осмысливается как естественный компонент космического миропорядка. Брахманы числят джати в ряду одушевленных природных феноменов, созданий божественного творчества и учат, что человеческих джати существует множество, а не один, как считаем мы, биологический вид *Homo sapiens*. Различия между разными джати людей — брахманами, водоносами, гончарами, кузнецами и т.д. — принципиально такие же, как между разными видами одушевленных существ в мире природы среди растений, животных, кристаллов, небесных обитателей и т.д. И главный маркер и суть этого различия — врожденное жизненное предназначение, или специализация по роду деятельности, профессия. Все джати, как учит индуизм, для чего-то необходимы в гармонии мироздания, если Бог их создает. Общественно значимые функции и необходимые для поддержания жизнеобеспечения обязанности предписаны «различным от рождения» джати с их «жизненными предназначениями» *свадхарма* («собственный закон жизни»). Брахманы, например, рождаются, чтобы совершать жертвоприношения и читать Веды, учить и наставлять людей. Ткач рождается, чтобы создавать одежду и храмовые ткани. Дхарма воинов включает вероятность убийства, а джати воров характеризуется предназначе-

нием воровать. Брахманический концепт «свадхарма» как сакрализация образа жизни каждого «созданного богами класса людей» привел к тому, что многие джати сохраняют глубокое своеобразие культуры, донесенное до наших дней из времен добрахманического состояния и даже усиленное под влиянием кастовой замкнутости, например охотники-собиратели сохраняют свой архаичный хозяйственно-культурный тип (ХКТ) под видом кастового занятия «плетельщики корзин» (*бхилала* и т.д.), или матрилинейный счет родства является аспектом дхармы джати наяр. Некоторые хоронят своих умерших в земле и т.д. Это рассматривается как особенности «собственного закона жизни» каждой конкретной джати, ведь «Брахман создал их такими». Принцип свадхарма провозглашает священность образа жизни каждого «созданного Брахманом класса (варны) и породы (джати) людей», и особенности этого образа жизни «документированы» в соответствующих адресных религиозных наставлениях, неукоснительно соблюдаются и поддерживаются и становятся этнообразующими (этнодифференцирующими). В ходе санскритизации достигалась унификация компонентов, требовалось безусловное единообразие в способах взаимодействия с другими ячейками общества, но внутренний мир жизни санскритизируемого сообщества оставался вполне индивидуальным. Брахманы теоретически и практически признавали права этнических общностей на культурную автономию в форме признания «собственного закона жизни» каждой джати. Принцип свадхарма и основанные на нем адресные религиозные наставления выступают как самый существенный инструмент в идеологическом обеспечении процесса налаживания межэтнического взаимодействия способом санскритизации. Благодаря им санскритизированные общности маркируют свои границы, капсулируются в форме джати (этнокастовых общностей), сохраняют и воспроизводят каждая свои особенные традиции: в социальной организации, культовой практике, культуре жизнеобеспечения. Во многих случаях эти особенности, становясь показателями кастового статуса, утрируются и старательно культивируются: при этом они принимают характер этнообразующих (этнодифференцирующих) культурных комплексов. Возведенное в ранг религиозного предписания стремление избежать осквернения в контактах с посторонними вызывает к жизни целый комплекс

охранительных мер, которые объективно способствуют своеобразной концентрации этнических начал капсулированных джати. Благодаря этому базовая структурная единица традиционного общества джати (она же объект санскритизации) проявляет себя как эссенциальная форма этнической консолидации. Возведенное в ранг религиозного предписания стремление соблюдать свадхарму, или *джати-дхарму* (букв. «собственный закон жизни джати»), избегать осквернения в контактах с посторонними вызывает к жизни целый комплекс охранительных мер, а в целом развивается, поддерживается и воспроизводится сегментированный характер кастового общества и его этнокультурная множественность («единство в многообразии»).

Специализированные по профессии линиджи и кланы — явление не уникальное в истории. Но уникальным оказался способ их капсуляции: границы устанавливаются под влиянием традиционных магико-анимистических представлений, осмысляются в брахманическом натурфилософском концепте джати и поддерживаются религиозными императивами джати-дхарма. Организация джати — это мириады этнокультурных общностей, основанных на реальных связях родства; при этом каждая джати сохраняет культурное своеобразие и имеет жестко закрепленный своим адресным религиозным наставлением «участок ответственности» в общественном разделении труда.

Санскритизация привела к унификации компонентов по типу джати, но внутренний мир жизни каждого санскритизируемого сообщества оставался вполне индивидуальным. Богатство внутреннего мира бесчисленных джати не интересует индуизм как социальную технологию — он все это космическое разнообразие инкорпорирует в себя, приобщает к «культуре», создавая невероятную агломерацию этнических, культурных и религиозных традиций, обрядовых практик и верований, культовых персонажей, и частично синтезирует их в процессе санскритизации. Индуизм принял свой эклектичный вид в ходе этого масштабного процесса «сбирания» разнообразных ведических и неведических культов и религиозных практик в единый, хотя и довольно аморфный, комплекс на основе понятийного языка Вед и брахманических учений (великой традиции индуизма). Например, культ

сати (совершившей самосожжение вдовы), относящийся к категории особо почитаемых предков воинских каст (раджпут), санскритизирован как культ супруги Шивы, богини Сати. В результате в индуизме возможно вполне равноправное существование многих и разных моделей религиозного благочестия.

Все говорит о том, что санскритизация — системный принцип формирования кастового общества. Именно этот механизм социализации работал и работает во всех случаях, когда речь идет об этнически и культурно инородных соседях существующего в определенных территориальных границах³ кастового общества, причем на протяжении всей его истории. Для ариев такими чужеродными общностями были все встреченные ими в Индии этнические группы. Многочисленные волны более поздних, чем сами арии, иноземных завоевателей и переселенцев (персов и греков, шаков-скифов, эфталитов — белых гуннов, шанов и др.) также оказались вовлечены в процесс санскритизации и ныне входят в состав населения Индии как касты этнического происхождения, или этнокастовые общности (ЭКО). Они получали более низкий, чем у самих брахманов, общественный и ритуальный статус. Санскритизация могла проходить волнообразно, даже переживать периоды регресса. Но это генеральная линия развития индийского общества, всей индийской цивилизации⁴. Поэтому можно говорить, что санскритизация стала уникальным и универсальным способом социализации инородных групп в индийском кастовом обществе, механизмом складывания и развития этого многокомпонентного общества, залогом его культурного богатства и разнообразия и даже причиной безбрежности космоса культовых персонажей индуизма.

В целом брахманическая санскритизация носила щадящий характер, она не искореняла добрахманические культуры, а выступала как способ их аккультурации и социализации в кастовом обществе. Она выступает и как механизм вертикальной мобильности. Санскритизация как системный принцип налаживания межэтнических и социальных контактов привела к формированию дробно сегментированного общественного организма, консервации архаичных моделей и форм этносоциального развития. Она стала воплощением социально-моделирующего влияния идеологии и государственности,

инструментом и фактором управляемого этногенеза. Взаимоотношения разных культур в процессе санскритизации строились в ключе взаимовлияния и взаимообогащения. Это предположение объясняет характер той «всеядности» и «безграничной поглощающей способности», которые закономерно приписываются индуизму, и причины появления и сохранения калейдоскопической мозаики компонентов кастового общества. Брахманическая санскритизация показала себя в истории как магистральный путь этнокультурного развития страны.

Брахманический натурфилософский концепт «джати» и учение о богоданном «жизненном предназначении» (профессиональной специализации) всякой джати как «породы, вида одушевленных существей», как необходимого компонента в гармонии дхармической модели универсума сделали базовыми идеологемами кастового строя. Они взаимосвязаны основополагающими концептами индуизма — «дхарма», «карма» и «сансара».

Правильное взаимодействие разных джати, как наставляют брахманы, гарантирует благополучие общества в целом и способствует поддержанию гармонии во Вселенной. Сингармоничное дхарме существование предписано всем обитателям «территории дхармы».

Свойство стратификации присуще кастовому строю. При этом иерархия джати и варн выстраивается по объективным параметрам. Уже на самых ранних этапах развития инклюзивного процесса в строе «четырёх варн, состоящих из множества джати» (чатурварна), проявился особенный принцип структурирования и иерархического ранжирования, присущий кастовому обществу: в сословно-профессиональной специализации варн отражены ХКТ (способы жизнеобеспечения) этнических общностей Южной Азии. Именно по параметру способа жизнеобеспечения в соизмерении его с брахманическим (жреческим) эталоном выстраивается иерархия варн и «входящих» в них джати. В этом аспекте брахманической традиции понятие «культура» является определяющим, а ландшафтно-климатическая обусловленность хозяйственной деятельности разных этносов принималась брахманами-идеологами кастовой организации как богоданная «доля». Поэтому разные племена, объединения

племен, профессионально специализированные общинно-клановые структуры автохтонного и иммигрантского происхождения конституировались как компоненты определенных варн в точном соответствии со своим способом жизнеобеспечения, обретали соответствующий «своей» варне социальный и ритуальный статус, от которого зависели все схемы общения. Архаический, в сущности, способ налаживания социальных связей и структурирования компонентов сохраняется в кастовом обществе.

Так, ХКТ кочевых и полукочевых скотоводов оказывался соответствующим кшатрийскому «жизненному предназначению». Со времен ариев скотоводство считается наиболее почетным и престижным из доступных небрахманам занятий и сообщает практикующим его джати очень высокий социальный статус. Подвижность, воинские умения и некоторая агрессивность в отстаивании своих интересов, а также способность налаживать административное управление на завоеванных территориях по каналам родственных связей — черты, характерные для ХКТ кочевых скотоводов, — позволяли им легко стать «воинами и правителями» в самых разных частях Индии еще в XVIII в. Самый распространенный в Индии ХКТ оседлых пашенных земледельцев жаркого пояса придает практикующим его этносам невысокий статус шудра: в индуизме земледелие рассматривается как ритуально нечистое занятие, несовместимое с ненасилием *ахимса* (букв. «отсутствии желания убивать»). Это представление прямо связано с учением о сансаре и философемой биосоциального континуума одушевленных джати. В данном случае речь идет о нежелании ранить саму живую землю и губить ее мельчайших насельников. Поэтому практически все аборигенные группы населения, обеспечивавшие себе жизнь земледелием и связанными с ним ремеслами, оказались в четвертой варне. Многие лесные племена охотников, собирателей и рыболовов тропического пояса в составе кастового общества сохранили свой традиционный образ жизни практически в неизменной форме до настоящего времени и входят в низшие слои шудр. В этой категории встречаются вполне уникальные виды хозяйственной деятельности, например ловля жемчуга и священных раковин, эндемичных для залива Маннар в близости Шри Ланки. Вайшья фактически стали посредниками в движении

продукта труда от работников из четвертой варны к тем, кто стоит выше, не хочет общаться с местным населением, но нуждается в товарах и услугах, произведенных шудрами; это своеобразный буферный слой между жреческой и властной элитами общества и производителями материальных благ. Высшая варна брахманов объединила те джати, для которых «врожденным» является запрет на физический «труд руками». «Неприкасаемые», напротив, занимаются только самым тяжелым трудом. Таким образом, варны стали статусными категориями; варновый статус определяется способом жизнеобеспечения. Степень «культурности» и ритуальной чистоты «врожденного» занятия джати становится главным маркером ее социального статуса — неслучайно многие джати называются по своей профессии.

Иерархия джати прямо следует иерархии варн. Иерархия джати включает ритуально чистые «дваждырожденные», то есть прошедшие инициацию, касты брахманов, кшатриев (*раджпут, наяр* и др.) и вайшья (торговые *бания, четти* и др.), а также многочисленные и разные «чистые» касты уровня шудра (земледельцы *джат, коли*; пастухи *ахир, гоала*; ювелиры *сонар*, кузнецы *лохар*, плотники *бархаи* и др.), к которым примыкают низшие «зарегистрированные», или «неприкасаемые», касты (кожевники *чамар*, уборщики *бханги* и др.). Эти последние занимают в кастовом обществе особое положение. С точки зрения дхармашастр, они не входят в кастовое общество и остаются на положении внекастовых «пятых», хотя по численности они составляют около 1/5 населения страны. Правила жизни кастового общества на «неприкасаемых» не распространяются, но без них оно практически не может существовать. «Пятые» формируют собственную иерархическую статусную подсистему. Можно предполагать, что «неприкасаемыми» стали ранние, неструктурированные типы сообществ. Например, если говорить об общинах типа *палияр*, не имевших унилинейных родственных структур, то при контакте с кастовым обществом именно они попадали в разряд неприкасаемых: не отдельный человек и даже не отдельная семья, а клановые структуры, обладающие лидерами (с которыми можно вести деловые переговоры) и собственным культом (а значит, проводящие ритуалы, которые буквально становились объектом «рейдерства» со сторо-

ны брахманов), могут претендовать на место в пространстве дхармы, санскритизацию и продвижение по социальной лестнице. Судя по всему, если бы не было кланов и «правил жизни», обычаев и лидеров, то брахманы считали такую «некультурность» за пределами и неприкасаемой.

Благодаря капсуляции и строгой регламентации внешних контактов индийские джати разных варновых статусов сохранили обычаи, которые часто отличаются от нормативных, санскритских, правил жизни, а их подразделения строят социальные связи и систему жизнеобеспечения по своим особенным, «некультурным» небрахманическим правилам (например, живут матрилокальными общинами, практикуют дислокальный брак или хоронят, а не кремируют своих мертвых). Они обрели свой неоднозначный характер и вид под влиянием кастовой идеологии брахманизма-индуизма: имея выраженный «богоданный образ жизни», этносы в кастовой среде могут восприниматься как отдельные «минимумы этничности» с индивидуальными культурными особенностями («их такими создал Брахман»).

Это положение дел особенно хорошо видно на примере формирования ЭКО, которые восходят к объединениям кланово-общинных структур, племенам и их сегментам, в том числе очень крупным, явно обладавшим территориальной, лингвистической и культурной общностью, которые принимают дискретные кастоподобные формы под влиянием брахманической идеологии и религиозных императивов индуизма в процессе вхождения в кастовое общество, в ходе санскритизации. В целях налаживания системных взаимоотношений с другими его компонентами этнокастовые общности принимают внешние признаки комплекса капсулированных джати, не смешиваются в браках с чужаками (или смешиваются по особым правилам) и одновременно выстраивают регламентированные связи для сотрудничества с этими же чужаками в экономической сфере. При этом они сохраняют свою этнокультурную специфику, свой неприкосновенный внутренний мир в хозяйственной деятельности, в быту, семейно-родственных отношениях и традиционной социальной организации, верованиях и культовой практике. Этнокастовая общность представляет собой характерную модель этнического развития в условиях кастового строя: она обладает особенностями

территориально консолидированного этнического образования и входит в кастовые схемы стратификации; тем самым проявляется ее амбивалентная природа.

Таким образом, институциональная трансформация «этнос → кастовая общность» происходит в процессе санскритизации и принимает характер формирования джати или ЭКО. В тех случаях, когда речь идет о вполне субстантивированных этнических образованиях — племенах и племенных союзах с их действенными традициями существования, формируются крупные конгломератные многосоставные внутренне стратифицированные ЭКО, состоящие из множества джати. Происходит фиксация ХКТ и в целом этнокультурной специфики санскритизированного этноса как характерных особенностей нормативного для формирующейся ЭКО образа жизни и способа добывания средств существования; строгая приверженность тому и другому возводится в ранг религиозного императива (свадхарма). Статус джати и ЭКО оценивается в терминах варны и коррелирует с ее ХКТ. Выделяются своими характерными особенностями ЭКО пашенных земледельцев жаркого пояса (варновый статус шудра), скотоводов-кочевников и полукочевников (варновый статус кшатрии), охотников, собирателей и рыболовов тропического пояса. Все остальные признаки статуса и социального ранга являются производными от данной базовой оценки. После этой фиксации статуса протестовать бесполезно, можно только санскритизоваться вновь и вновь, налаживая отношения с брахманами; в этом процессе главную роль играет элита заинтересованной структурной единицы кастового общества. На решение задачи могут уйти столетия, и история знает немало случаев безуспешной борьбы за повышение статуса.

Брахманическое осмысление этой ситуации отражено в социальном наставлении чатурварнашрама-дхарма («закон жизни четырех варн и четырех стадий жизни»), которое представлено в классических дхармашастрах, например, в Законах Ману. Эти «законы жизни» провозглашают неравенство изначальное и неустранимое.

Духовная и интеллектуальная элита индийского общества — брахманское жречество — поддерживает воспроизводство кастовой организации в череде веков и поколений,

поскольку видит в нем эффективный механизм власти. Но нельзя отрицать присутствия в этой деятельности социально ответственного целеполагания, в результате чего достигается определенный баланс сил и интересов. Кастовая идеология как религиозно-этическое наставление всему обществу и его сегментам имеет конечной целью воспроизводство одинажды обретенного равновесия в системе распределения ресурсов и в доступе к произведенным культурным ценностям и ритуалу. В кастовой организации продуманы гарантии всеобщей занятости и выстроены налаженные схемы обмена продуктами труда и услугами; при этом обеспечение средствами существования прямо соотносится с кастовым статусом. В организации джати осуществляется виртуозная ограничительно-распределительная регламентация в общественном разделении труда, в доступе к природным ресурсам и ценностям культуры, сопровождаемая адресными религиозными наставлениями отдельным джати и кланам, в которых детально фиксированы их права и обязанности. Подобная распределительная регламентация заметна уже у первобытных сообществ. Управленческие умения брахманов явились результатом многовекового взаимного обмена в идеях и практическом опыте со жрецами «неарийских» культов. Они действовали в тандеме с мирской властью правителей-кшатриев. Брахманское жречество через морально-этический императив религии поддерживает воспроизводство кастового строя в череде веков и поколений, поскольку видит в нем эффективный механизм власти и консервации неравенства. Кастовый строй индийского традиционного общества имеет черты адаптивной стратегии для природно-экологических условий Южной Азии. Обусловленная ландшафтно-климатическими факторами специфика хозяйственной деятельности компонентов кастового общества выступает важнейшим структурирующим систему фактором. Она предопределяет характерную для кастовой организации жесткую специализацию джати и объединений джати по параметру участия в общественном разделении труда и по месту в структуре занятости: так происходит регламентация доступа к ресурсам. Она находит свое продолжение в регламентации доступа к произведенным культурным ценностям и к ритуалу. Так выстраивается социальное неравенство ка-

стового типа. Устойчивость кастовой организации индийского социума предопределена тем, что она предоставляет людям всеобщую занятость и гарантированный сбыт продуктов труда, обеспечивая их средствами существования в соответствии с кастовым статусом. Концептуализация опыта жизни этого общества оказалась продуманной и психологически точно выверенной, и сегодня, как и 2,5 тысячи лет назад, индуизм имеет ярко выраженный характер высокоэффективной социальной технологии, основным инструментом которой является организация джати.

В макросоциальном контексте кастового строя происходят налаживание комплиментарного взаимодействия и разделение сфер ответственности в области экономики и общественной безопасности (включая военную и магико-ритуальную защиту) между варнами и их сегментами (кастовыми общностями). Здесь достигается эмпирически выверенная соразмерность разных видов производительных сил и наличествующих средств, сохраняется признаваемая «богоданной» множественность «пород людей» — джати.

Традиционная элита через моральный императив религии и институты государственной инфраструктуры надежно контролирует низовые уровни системы и находит способы решения проблем межэтнического и социального взаимодействия на макроуровнях. Благодаря фактору религии традиционная социальная организация джати не только демонстрирует поразительную долговременность существования, но и все это время остается функциональной в качестве структурной основы разных исторических модификаций кастового строя. Многоуровневая и разноплановая самоидентификация практически каждого индуиста является следствием вхождения его собственной джати одновременно в несколько комплексов джати. Джати, таким образом, является модулем социальной структуры и выказывает большую versatility и приспособляемость.

Джати-дхарма сакрализует «врожденную» традиционную профессию (занятие) каждой джати, расценивая ее как долг этой джати перед обществом. Только предписанная джати-дхармой, то есть санкционированная обществом, трудовая деятельность рассматривается как акт религиозного благочестия длиной в жизнь, и само выполнение джати-дхармы делает че-

ловека практикующим индуистом. От него, если он не брахман, не требуется сосредоточенности на выполнении ритуалов у алтаря: его дхарма состоит в качественном исполнении своих трудовых обязанностей на благо кастового сообщества. Правильное взаимодействие разных джати гарантирует существование общества в целом и способствует поддержанию гармонии во Вселенной. Так осмыслиется разделение труда в кастовом обществе. В итоге налаживается комплиментарное участие локальных групп разных джати и каст в создании экономических условий существования, в поддержании порядка и выполнении ритуалов, то есть в обеспечении самодостаточной гармоничной жизни на началах взаимопомощи, причем не только в деревне, но и в городском квартале, и в заморской иммигрантской группе, тут же становящейся общиной. Это трактуется как «взаимопомощь» джаджмани и прямо предписывается всем соблюдающим дхарму «компонентам мироздания» как моральный долг, поэтому кастовая община формируется и воспроизводится везде, где есть хотя бы две семьи разных джати.

Кула-дхарма («закон жизни клана») связана с традиционными приоритетами клановых структур в культовой практике и их обязанностями в этой сфере. Она относится к тому кругу религиозных представлений и тем видам обрядов и ритуалов, которые чаще всего определяются в литературе как «религиозная практика индуизма», хотя индуизм этими аспектами влияния не исчерпывается, о чем сказано выше. Вполне равноправное существование многих и разных моделей религиозного благочестия в индуизме возможно именно благодаря учению о кула-дхарме. Спектр вариантов культовой практики и самих культов в индуизме феноменально широк, потому что они рассматриваются как традиции клана, которые необходимо поддерживать из уважения к предкам и богине-покровительнице клана. Правила экзогамии относятся к сфере кула-дхармы.

Социально-ориентированный «генотип» индуизма, унаследованный им от брахманизма, успешно воспроизводится во всех родившихся на индийской почве религиях. В развитие принципа варна-дхармы и джати-дхармы выросли и благодаря ему сохранили себя дериваты брахманизма, начинавшиеся как ответ на давление брахманической санскритизации и имевшие

ясно очерченную социальную базу в небрахманских слоях общества: буддизм в среде кшатриев, джайнизм у вайшья, бхакти и традиция сантов, в том числе сикхизм, в третьей и четвертой варне. Сикхизм как учение бхакти начинался с антикастовой проповеди и этим привлек своих сторонников, но кастовый строй очень скоро снова «пророс» в общине сикхов. Модель социальной адресности идеологии и духовного наставничества проявилась и в этих случаях.

Деривативные учения едины в неприятии роли брахманов и их особого положения, но можно утверждать, что все они поставили собственную духовную элиту на те же социальные позиции и придали им то социальное значение, которое имеют в кастовом обществе брахманы. Так случилось в учении лингятов, сикхизме, во множестве иных учительских традиций, которые называются бхакти. Джайны и буддисты обожествили своих учителей. Но кастовая идеология структурирует общество в соответствии с матрицей четырех варн, и новые учителя и следующие за ними монашествующие ученики встают на место варны брахманов, а миряне остаются обеспечивать материальное благополучие всего социума. Они могут отдать одного из сыновей в монахи, могут присоединиться к орденам временно, могут пожить в монастыре семьями — выработаны разные модели сосуществования духовной элиты с ее паствой. Но все строго регламентировано, никаких всплесков эмоций не наблюдается: в строгих установлениях орденов и сект видна матрица кастового строя, и сами они структурируются как джати или брахманские готры. Все попытки выравнивания остаются обреченными на неуспех.

В методологии санскритизации (как средства социальной мобильности и аккультурации) следует рассматривать и совсем, казалось бы, не относящиеся к ней явления. Так, известна ситуация с представителями «пятых», не входящих в состав четырех варн этнических общностей (племен) и «зарегистрированных каст». Они не могут рассчитывать на внимание брахманов и приобщиться к санскритским вариантам религиозной практики и верований. Поэтому некоторые из этих джати санскритизировались необычным способом — приняли христианство, которое рассматривают как свою кула-дхарму. Эта жизненная установка очень эффек-

тивно структурирует социальную жизнь обратившихся в христианство общин, и дотоле неприметная группа становится выдающейся в своем ряду, налаживает внутри- и внеобщинные контакты и связи в новой среде коммуникации. И дело не в конкретной религиозной деноминации, а в механизме выстраивания отношений. В этом ключе нужно рассматривать, например, ситуацию со старинной тамильской кастой ловцов жемчуга и раковин *парава*, описанную С. Бейли [Bayly 1992: 321–345]. Новые учения — деривативные брахманические или заимствованные — могут найти отклик только в конкретном социальном организме, всегда очень ясно очерченном; или же первоначально аморфная аудитория последователей очень скоро становится корпоративно жесткой и закрытой, воспроизводится по типу джати.

Строго говоря, лишь сообщество последователей религии индуизма⁵ представляет собой «индийское кастовое общество». Каждый индуист рождается в той или иной джати, которую он наследует от отца или — реже — в общинах с матрилинейным счетом родства — от матери. В этой джати он может проследить свои корни на большую глубину поколений. И наоборот, «принять» индуизм невозможно, индуистом можно только родиться. Оказываются вне кастового общества добровольные религиозные отшельники и странствующие аскеты, и общество имеет право не учитывать их интересы. Но благодаря системному принципу свадхарма существование общин иных религий встречает со стороны индуизма принципиально толерантное отношение. Так остались на периферии кастового общества парсы в регионе Мумбаи и бенезраэль, евреи Кералы [Mandelbaum 1970: 560–569]. Христианство и необуддизм определенно сделали кула-дхармой неприкасаемых каст, ислам стал в Средние века кула-дхармой многих ремесленных и полукочевых скотоводческих джати. Джайнизм издревле имеет статус кула-дхармы множества джати уровня вайшья. В этом своем качестве указанные религии обладают в кастовом обществе парадоксальным, но глубочайшим структурирующим значением, способствуют воспроизводству организации джати в этих общинах. Все неиндуистские джати (из которых состоят конфессиональные общины индийских мусульман, сикхов, джайнов, христиан, иудеев, парсов, антикастовых необуддистов и т.д.) сохраняют

в редуцированной форме или приобретают кастовую замкнутость и стратификацию, осваивают кастовый режим общения и добавляются к индуистской традиционной организации как периферические компоненты, связанные с индуистскими общинами экономическими отношениями. В традиционной системе общественного разделения труда они выполняют очень важные экономические функции, хотя не имеют определенного положения в местной кастовой иерархии. Но они не могли бы налаживать свои контакты с кастовыми индустрами, если хотя бы внешне, по способу взаимодействия, не были оформлены как джати, не имели бы статуса, правил общения, общественного «лица». При этом, поскольку к ним относятся как к джати, то есть не вступают с ними в брак (провоцируя у тех свою эндогамию), не занимают их профессию и не навязывают другую (уважая их кастовое занятие), сосуществование в обществе «настоящих» джати и, в сущности, некастовых общностей приводит к воспроизводству социальной матрицы джати.

Все это говорит о масштабах влияния кастовой идеологии и кастового способа организации жизни на положение дел в индийском обществе, которое даже сегодня воспроизводится по законам касты. Таким образом проявляется культурное своеобразие индийской цивилизации. Мы редко об этом задумываемся, но по законам организации джати живет каждый шестой житель Земли. Это говорит и о структурных началах кастового строя. В этом качестве выступает родственная самоорганизация и общинно-клановые структуры. Индийские знатоки вопроса говорят так: «Джати характеризуется тремя принципами организации: общностью происхождения (родством и наследованием), локализацией и общностью культа» [Das 1990: 57]. «В джати обо всех людях можно сказать, что они родственники друг другу: либо по браку, либо по кровному родству. Два человека могут непосредственно не быть кровными родственниками или свойственниками, но они могут оба иметь отношение к третьему человеку, с которым один — кровный родственник, а второй связан с ним отношениями свойства» [Karve 1961: 17].

Уже в древности дхармашастры уделяли много внимания прояснению вопроса, кого нужно считать своим родственником. Законоучителей интересовали вопросы про-

ведения ритуалов, но они тесно связаны с правами на совместное пользование и наследование имущества и социальных позиций. Эти проблемы обсуждаются в терминах «запретного брака», то есть в очерчивании круга самых родных людей, с которыми нужно делить свое имущество, которым можно передавать свою профессию и рабочее место, но нельзя вступать в брак. Круг таких родственников определен в терминах *саготра* (букв. «из одного коровьего стойла») и *сатинда* («совместные поминальные по предкам клецки»). Если джати не придерживается строгих брахманических норм, она руководствуется обычным правом. В любом случае круг родственников постоянно подтверждается совместным участием в ритуалах, особенно в поминальном. Максимальные экзогамные коллективы родственников называются *кула*, или *готра* (в брахманских джати)⁶. В кастовом обществе экзогамия носит характер системного принципа, что говорит о решающем влиянии идеи родства и отношений родства на формирование и состав традиционной социальной организации. Браки заключаются между экзогамными группами с соблюдением паритета статусов брачных партнеров (изогамия) или по типу гипергамии. Экзогамные общности налаживанием своих брачных связей создают локус джати и ее саму как эндогамную единицу. Джати формируется и воспроизводится как брачный круг паритетных по социальному и ритуальному статусам экзогамных кланов, и эндогамия появляется в этом кругу в ходе и в результате этого объединения.

Западная наука возвела иерархичность кастового общества в абсолют. Неслучайно самая известная книга о касте называется «Homo Hierarchicus» [Dumont 1988]. Но в индийской жизни определяющую роль играет незамеченная иностранцами идея братства и равенства между отдельными семейно-родственными группами, которая передается словом «бирадари» (букв. «братство-равенство») [Успенская 2009]. Осознание *бирадари* создает паритетную статусную группу. Соизмерение статусов с другими коллективами родственников имеет значение в любых ситуациях контакта и проявляются в повседневном общении, ритуале, брачных отношениях. В последнем случае *бирадари* — это круг из нескольких «братских» максимальных экзогамных групп, члены кото-

рых могут вступать в брак друг с другом с гарантией, что они не утратят собственного статуса («равенства по судьбе»). Принцип *бирадари* действует на всех уровнях организации, является универсальным и системным; иерархия и паритет статусов — структурно взаимосвязанные принципы.

Вопросы паритета статусов дополняют строжайшие правила клановой экзогамии. Во временном и пространственном континууме возникают круги брачного взаимодействия (системы брачных кругов), или «банки» брачных партнеров — эндогамные джати, объединяющие семьи представителей одной профессии, имеющих и иные равные параметры статуса. Таким способом воспроизводятся все единицы кастового общества — изначально племенные («касты этнического происхождения») и совсем новые, такие как, например, формирующиеся на глазах современников касты актеров кино или высших руководителей государства. Различные антибрахманические секты и ордены тоже структурируются и воспроизводятся (если они не целибатные) по типу джати.

Архаическая родоплеменная идеология *бирадари* замечательно иллюстрируется ситуацией в группе «неприкасаемых» каст. Считающиеся ритуально нечистыми, неприкасаемые джати социально дискриминируются, политически ущемлены и составляют беднейшую часть сельского населения Индии. Они не имеют в кастовом обществе никаких прав, и это обстоятельство становится мощнейшим объединительным фактором, показателем «бирадари». В этом слое каст равенство поддерживается со скрупулезной заботой и характеризуется, как говорят участники процесса, «обменом пищей, женщинами и продуктами своего труда» [Randeria 1990/91: 309–310], то есть идеологией общественного потребления (взаимного обмена), характерной для племен на ранней стадии развития. Престиж в общине приобретается щедростью, количеством накормленных гостей, изобилием поданой еды, стоимостью розданных даров и потраченных по случаю проведения ритуала денег. Об этом же говорят З. Эгляр [Eglar 1960] и Л. Фруцетти [Fruzzetti et al. 1983: 29]. Не надо думать, что эта изначальная философия жизни практикуется только в среде неприкасаемых. Вся ведическая литература с ее ритуалами жертвоприношения, эпос и ранняя эпиграфика наполнены описаниями того, как именно и какой

правитель кормил брахманов. Наиболее добродетельные и наилучшие из правителей «раздавали абсолютно все и оставались с пустыми руками». Обряды жизненного цикла, особенно связанные со смертью, — это ситуации одобренных обществом сложных схем взаимного обмена (щедрого угощения общины), структурирующих социальные связи. «Мы обмениваемся женщинами с теми, с кем мы обмениваемся едой» [Ibid.]. Эти слова звучат как голос поколений, живая традиция первобытной жизни и характеризуют родоплеменную природу касты и архаичность ее идеологии лучше многих теоретических гипотез.

На основе принципа *бирадари* («равенства-братства» и «общей судьбы») не только формируются сами джати, но и складываются паритетные круги социального общения между разными джати. Комплексы джати аранжируют клановые сегменты этого общества в разных плоскостях и разных планах идентификации. Эти круги общения не имеют своей целью организацию браков, но создают в кастовом обществе «безопасную» с точки зрения ритуального осквернения социальную инфраструктуру. В некоторых случаях они связаны с осознанием общности социально-экономических интересов, которые находят свое выражение в терминах касты. Джати, имеющие в своей основе клановую структуру, территориально локализованы, и каждая обладает эссенциальной этничностью; в создающихся комплексах джати (паритетных и иерархических схемах общения) просматриваются начальные этапы консолидации более широких этноспецифичных идентичностей: территориальных, лингвистических, культурных, конфессиональных.

Современное кастовое общество — в связи с модернизацией и развитием межрегиональных коммуникаций, расширением масштаба общественных связей, возникшими политическими интересами — отличается от традиционного тем, что в нем существуют многосоставные *комплексы джати*, или касты. Формирование государственно признаваемых комплексов джати привело к тому, что так называемые надкастовые объединения создаются регулярно и добиваются того, что в обществе и, особенно, в государственных структурах о них знают и должны учитывать их интересы. Появляются не только комплексы джати, но и *комплексы каст*.

Наблюдаемая в течение последних 140–150 лет модификация кастового строя характеризуется наличием каст — статусных групп, включающих в свой состав несколько джати-подкаст, паритетных по признаку профессии, этнического происхождения, религиозной принадлежности и т.д. Первые комплексы джати-касты были созданы механически во время ранних переписей населения, когда составлялись административные списки каст: джати одной профессии оказались сведенными в единые касты, а номенклатура джати, состоявшая из многих сотен тысяч единиц, была «ужата» до вполне удобных 3,5 тыс. каст. Это «ужатие» особенно заметно в случае с ремесленными джати — они сведены в несколько многомиллионных сложносоставных «общеиндийских» каст по параметру профессии и ее названия: кожевники *чамар*, гончары *кумхар* и т.д. В традиционной социальной организации эти касты бессмысленны, бесполезны, неизвестны самим «членам касты».

Выстроенная с участием английских колониальных властей «кастовая система» в виде линейной иерархической лестницы (за место на которой ведется ожесточенная борьба) получила благодаря административной поддержке характер политического инструмента. Вследствие этого в современных условиях борьба за приобретение благ и особых привилегий для касты ведется средствами политики.

Но общественно активные индийцы быстро поняли, что открывается новый механизм доступа к власти и привилегиям, сконструированный колониальными властями и ставший инструментом государственной политики⁷. Комплексы джати создаются также в тех случаях, когда нескольким джати по какой-то причине выгодно замечать друг друга и действовать сообща, например, для достижения политических целей, продвижения в иерархии и т.д. Традиция сохраняется в том, что комплексы джати формируются всегда на началах *бирадар*. Этот путь стал возможным в годы английской колониальной власти, когда, например, целое сословие индийских «белых воротничков», приближенное к колониальным административным структурам и составленное из представителей многочисленных джати деревенских грамотеев-учетчиков, лавочников и т.д., смогло конституироваться в касты типа *каятха* или *чоудхури*. Будучи грамотными и близкими к властям, они

сумели выстроить между собой общеиндийские связи. Земледельческие касты севера и северо-запада конституировались в кластер *коли*. А некоторые джати просто «присоседились» к уже известным кастам, чувствуя, что иначе потеряются в новых условиях всеобщей мобильности. Таких примеров сотни, особенно в слое кшатрийских каст. Общественное сознание принимает эти нововведения, потому что ценит *бирадари*.

Неестественность и принципиальная ненужность объединения джати в касту видна уже из того, что они никогда не вступают в брак друг с другом и подчеркнуто не поддерживают друг с другом ритуальных отношений. Такое объединение нужно не для традиционных целей и задач, а для организации внешних контактов на уровне региона и государства. Каста нужна для контактов на том уровне, когда родство и даже всеобщее личное знакомство — как это наблюдается в джати — уже невозможны и не имеют значения. Этот фактор оказывает мощное влияние на самосознание и самоопределение кастовых индийцев, и комплексы «равных между собой, имеющих общую судьбу» джати органично прижились в индийской действительности. Кастовая самоидентификация воспринята традиционным сознанием под влиянием принципа *бирадари*, а каста влиятельна потому, что в ее основе лежит джати. Эта модификация кастового строя, как и все иные его исторические модификации, сформировалась под влиянием новых для своего времени идеологем и новых стандартов культуры, привнесенных элитой общества (в очередной раз перестраивающей свои ряды под влиянием новых политических условий). Но даже каста оказалась столь влиятельной именно благодаря той роли, какую играет в индийском общественном и религиозном быту лежащая в ее основе традиционная джати (квазиплемя).

Императивность адресных религиозных наставлений отдельным социальным группам говорит о влиятельности психологических планов существования кастового строя. Стремление благополучных обывателей сохранить за собой и своей родственной группой рабочие места и завоеванные в обществе позиции вполне гармонично сочеталось со стремлением руководителей сохранить стабильность и однажды обретенное равновесие системы. Отсюда управляемость общественной макросистемы, которая на низовых уровнях ор-

ганизации жестко контролируется через родственные связи и отношения.

Становится понятен масштаб деяний традиционной элиты — брахманского жречества. Концептуализация опыта жизни громадного многосоставного, разнородного социума, существующего в опасных условиях тропического климата, перенаселенности, нехватки ресурсов и регулярных вторжений, оказалась в высшей степени продуманной, рациональной и психологически выверенной. Брахманы-жрецы действовали в тандеме с мирской властью в лице кшатриев, через идеологию и морально-этический императив религии. Сегодня, как и 2 тысячи лет назад, индуизм имеет ярко выраженный характер высокоэффективной социальной технологии, основным инструментом которой является кастовый способ организации социальных коллективов.

Вместе с тем кастовые начала социальной организации обнаруживаются во многих обществах. Они могут быть весьма развитыми, такими, например, как в традиционалистской Японии или у некоторых народов Африки. Но когда в родной действительности мы видим, как в двух–трех поколениях передается и наследуется в семье рабочее место и соответствующая ему профессия, мы наблюдаем «касту». Далее нужно ожидать выстраивания паритетных статусных схем социального взаимодействия, то есть формирования кругов общения с «ровней», а затем и появления «эндогамии касты». Когда мы замечаем, как в обществах постмодерна вновь горячо почитается статус рождения и на этой основе выстраиваются традиционные виды иерархии, в том числе и между этническими общностями (гастарбайтеры, как правило, заняты на тяжелых непрестижных работах), то это тоже «каста», работают ее принципы формирования и воспроизводства, коренящиеся в архетипических началах человеческого мироощущения, прежде всего в универсально значимой приверженности родственным связям. Но в совершенной и детально разработанной модификации кастовый строй представлен, конечно, в Индии, и здесь мы наблюдаем доведенные до абсолюта, логического предела универсальные базовые формы организации социальной жизни. Во всех отмеченных сохранением традиционных начал обществах именно «каста» (архетипи-

ческая организация джати) при малейшем ослаблении эгалитарных институтов выступает вновь на передний план и не имеет при этом естественных ограничителей. В индуизме, напротив, присутствуют высочайшая степень проработанности социальной технологии и изощренная продуманность идеологических механизмов управления этим обществом, и несмотря на кажущуюся жесткость и неравноправие, многие индийцы сегодня видят в кастовом общественном устройстве функциональную целесообразность, поскольку в традиционной системе отношений каждому гарантировано удовлетворение жизненных потребностей хотя бы на минимальном уровне. Если человек соблюдает принятые в этом обществе моральные нормы, за ним сохраняется полученное от рождения место в системе занятости и гарантированная возможность сбыта продуктов труда и услуг, и общество обеспечивает ему минимум социальной защищенности.

Эти теоретические идеи во многом противоречат устоявшимся взглядам: индийская культура благодаря своей великой текстовой и философской традиции считается настолько высокоорганизованной, что нельзя даже помыслить о функциональной сохранности «примитивных» институтов и социальных форм. Но ни устоявшиеся научные аксиомы, ни наблюдаемые в условиях современности новые тенденции в социальной жизни и перестановки в статусных схемах не отменяют могущества связей родства в кастовой организации, они не изменили главного — индийское традиционное общество зиждется на родственной (клановой) самоорганизации и развилось под влиянием кастовой идеологии и философии индуизма на фоне характерной для Южноазиатского субконтинента этнической множественности.

¹ Стремление каст минимизировать контакты с «чужаками» доходит до сегрегации целых общественных слоев, прежде всего так называемых неприкасаемых (*хариджан* ‘люди бога’, *далит* ‘угнетенные’, в официальной терминологии — *scheduled castes*).

² На начальных этапах процесса монашествовавшие и аскетствующие пилигримы-джайны, а также буддисты и адживики выполняли цивилизаторскую миссию наряду со жрецами-брахманами во имя упрочения *дхармы*.

³ Сначала это была Брахмаварта, или Арьяварта, в границах земли, «на которой может жить черная антилопа» [Законы Ману 1989: 11.17–20], то есть комфортная для человека природная среда обитания. Позднее она расширилась до естественных пределов Индийского субконтинента и даже шире.

⁴ Страны Юго-Восточной Азии в первые века н.э. также испытали на себе мощное воздействие брахманической санскритизации.

⁵ Индуисты (Hindu) составляют около 83 % населения страны.

⁶ В разных регионах и на разных языках они называются также *пан-гали*, *вакааяра*, *тхок*, *мул* и т.д.

⁷ Через ключ социальных процессов можно глубже представить себе явление, которое в европейской теории касты носит название «политизация касты», или «кастеизм» (см.: [Куценков 1983: 268–290]).

Законы Ману. 1989 / пер. С.Д. Эльмановича, пров. и испр. Г.Ф. Ильиным. М.

Куценков А.А. 1983. Эволюция индийской касты. М.

Успенская Е.Н. 2009. Паритет статусов бирадари: «братство-равенство» в индийском кастовом обществе // *АР*. Вып. 12. С. 101–131.

Успенская Е.Н. 2010. Брахманическая геополитика и «санскритизация» // *Asiatica*. Труды по философии и культурам Востока. СПб. Вып. 4. С. 119–144.

Bayly S. 1992. Saints, Goddesses and Kings. Muslims and Christians in South Indian Society. 1700–1900. Cambridge.

Das V. 1990. Structure and Cognition. Aspects of Hindu Caste and Ritual. New Delhi.

Dumont L. 1988. Homo Hierarchicus. The Caste System and its Implications. Complete Revised English Edition. Delhi.

Eglar Z. 1960. A Punjabi Village in Pakistan. N.Y.

Fruzzetti L., Östör Á., Barnett S. 1983. The Cultural Construction of the Person in Bengal and Tamilnadu // *Concepts of Person. Kinship, Caste and Marriage in India*. Delhi. P. 8–30.

Karve I. 1961. Hindu Society — an Interpretation. Poona.

Mandelbaum G.D. 1970. Society in India. Vol. II: Change and Continuity. Berkeley; Los Angeles.

Randeria Sh. 1990/91. Brahmins, Kings, Pariahs: Castes, Exchange and Untouchability in Western India Today // *Wissenschaftskolleg zu Berlin. Jahrbuch 1990/91*. S. 294–312.

Srinivas M.N. 1965. Religion and Society among the Coorgs of South India. Bombay. (1st ed. 1952).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО — Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития / ред. А.В. Коротаев, В.В. Чубаров. М.: Ин-т истории СССР АН СССР, 1991. Ч. I.

АОКЯ — Африка: общества, культуры, языки / ред. И.В. Следзевский, Д.М. Бондаренко. М.: Ин-т Африки РАН, 1998.

АПРГ — Альтернативные пути к ранней государственности / ред. Н.Н. Крадин, В.А. Лынша. Владивосток: Дальнаука, 1995.

АПЦ — Альтернативные пути к цивилизации / ред. Н.Н. Крадин, А.В. Коротаев, Д.М. Бондаренко, В.А. Лынша. М.: Логос, 2000.

АР — Алгебра родства: Родство. Системы родства. Системы терминов родства / сост. и отв. ред. В.А. Попов. Вып. 1–13. СПб.

ВИ — Вопросы истории. М.

ГДВ — Государство на Древнем Востоке / ред. Э.А. Грантовский, Т.В. Степугина. М.: Восточная литература, 2004.

ГИО — Государство в истории общества. К проблеме критериев государственности / ред. Д.Н. Лелюхин, Ю.В. Любимов. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2001.

ГРВЛ — Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». М.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. СПб.

ЗРВИ — Сборник радова Византолошког института. Београд.

ИВ — История Востока: в 6 т. / ред. В.А. Якобсон. М.: Восточная литература, 2000. Т. 1: Восток в древности.

ИДВ — История Древнего Востока / ред. А.В. Седов. М.: Восточная литература, 2004.

ИДВНД — История СССР с древнейших времен до наших дней / ред. С.А. Плетнева, Б.А. Рыбаков. М.: Наука, 1966. Т. 1–2.

ИДМ — История Древнего мира: в 3 кн. / ред. И.М. Дьяконов. 3-е изд. М.: Наука, 1989.

ИМ — История и математика: эволюционная историческая макродинамика / ред. С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. М.: УРСС, 2010.

ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности РАН (АН СССР). Л.

КАСЭ — Кочевая альтернатива социальной эволюции / ред. Н.Н. Крадин, Д.М. Бондаренко. М.: Ин-т Африки РАН, 2002.

МИКМ — Монгольская империя и кочевой мир / ред. Б.В. Базаров, Н.Н. Крадин, Т.Д. Скрынникова. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского НЦ СО РАН, 2004.

НМ — Народы мира. М.: Советская энциклопедия, 1988.

- ОНС — Общественные науки и современность. М.
- ОСО — Община и социальная организация у народов Восточной и Юго-Восточной Азии / ред. Р.Ф. Итс. Л.: Наука, 1967.
- ПАТСО — Политическая антропология традиционных и современных обществ / ред. Н.Н. Крадин. Владивосток: ДВФУ, 2012.
- ПГА — Племя и государство в Африке / ред. Ю.М. Ильин, В.А. Попов, И.В. Следзевский. М.: Ин-т Африки РАН, 1991.
- РГАА — Раннее государство, его альтернативы и аналоги / ред. Л.Е. Гринин, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадин, А.В. Коротаев. Волгоград: Учитель, 2006.
- РФПО — Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности / ред. В.А. Попов. М.: Восточная литература, 1995.
- РФСО — Ранние формы социальной организации: генезис, функционирование, историческая динамика / ред. В.А. Попов. СПб.: МАЭ РАН, 2000.
- РФСС — Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции / ред. В.А. Попов. М.: Восточная литература, 1993.
- СИЭ — Советская историческая энциклопедия: в 16 т. / ред. Е.М. Жуков. М.: Советская энциклопедия.
- СЭ — Советская этнография. М.
- ФО — Философия и общество. Волгоград.
- ЦМП — Цивилизационные модели политогенеза / ред. Д.М. Бондаренко, А.В. Коротаев. М.: Ин-т Африки РАН, 2002.
- AA — American Anthropologist. Arlington, VA.
- AAPB — Anthropological Approaches to Political Behavior / eds. F. McGlynn, A. Tuden. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1991.
- AASR — Anthropological Approaches to the Study of Religion / ed. M. Banton. L.: Tavistock, 1966.
- ACT — Ancient Civilization and Trade / eds. J.A. Sabloff, C.C. Lamberg-Karlovsky. Albuquerque, NM: School of American Research Press, 1975.
- APES — Alternative Pathways to Early State / eds. N.N. Kradin, V.A. Lynsha. Vladivostok: Dal'nauka, 1995.
- APS — African Political Systems / eds. M. Fortes, E.E. Evans-Pritchard. L., N.Y.: International African Institute, 1987/1940.
- ARA — Annual Review of Anthropology. Palo Alto, CA.
- AS — Archaic States / eds. G.M. Feinman, J. Marcus. Santa Fe; New Mexico: School of American Research Press, 1998.
- ASE — Alternatives of Social Evolution / eds. N.N. Kradin, A.V. Korotayev, D.M. Bondarenko, V. de Munck, P.K. Wason. Vladivostok: FEB RAS, 2000.

- BC — Beyond Chiefdoms. Pathways to Complexity in Africa / ed. S.K. McIntosh. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- CA — Current Anthropology. Chicago.
- CCP — Croatica Christiana Periodica. Zagreb.
- CCR — Cross-Cultural Research. Thousand Oaks, CA.
- CMP — Civilizational Models of Politogenesis / eds. D.M. Bondarenko, A.V. Korotayev. Moscow: IAF RAN, 2000.
- CSSH — Comparative Studies in Society and History. Cambridge.
- DD — Developments and Decline. The Evolution of Sociopolitical Organization / eds. H.J.M. Claessen, P. van de Velde, M.E. Smith. South Hadley, MA: Bergin & Garvey, 1985.
- EH — Etnogeneza Hrvata / ur. N. Budak. Zagreb, 1995.
- ES — The Early State / eds. H.J.M. Claessen, P. Skalnik. The Hague etc.: Mouton, 1978.
- ESAA — The Early State, Its Alternatives and Analogues / eds. L.E. Grinin, R.L. Carneiro, D.M. Bondarenko, N.N. Kradin, A.V. Korotayev. Volgograd: Uchitel, 2004.
- ESD — Early State Dynamics / eds. H.J.M. Claessen, P. van de Velde. Leiden: Brill, 1987.
- ESE — Early State Economics / eds. H.J.M. Claessen, P. van de Velde. New Brunswick: Transaction Publishers, 1991.
- FLR — From Leaders to Rulers / ed. J. Haas. N.Y. etc.: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2001.
- HACS — Heterarchy and the Analysis of Complex Societies / eds. R.M. Ehrenreich, C.L. Crumley, J.E. Levy. Washington, DC: American Anthropological Association, 1995.
- HAZU (JAZU) — Hrvatska (Jugoslavenska) akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
- HZ — Historijski zbornik. Zagreb.
- IFES — Ideology and the Formation of Early States / eds. H.J.M. Claessen, J.G. Oosten. Leiden: Brill, 1996.
- JAA — Journal of Anthropological Archaeology. Amsterdam.
- KA — Kings of Africa. Art and Authority in Central Africa / eds. E. Beumers, H.-J. Koloss. Maastricht: Foundation Kings of Africa, 1992.
- OS — Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution / eds. R. Cohen, E.R. Service. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues Press, 1978.
- SEH — Social Evolution and History. Moscow; Volgograd.
- SHP. Ser. III — Starohrvatska prosvjeta. Serija III. Split.
- SS — The Study of the State / eds. H.J.M. Claessen, P. Skalnik. The Hague: Mouton, 1981.
- SSBP — Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. СПб.
- WC — World Cultures. Berkeley, CA.
- ZČ — Zgodovinski časopis. Ljubljana.
- ZKT — Zbornik kralja Tomislava. Zagreb, 1925.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (<i>Попов В.А.</i>).....	3
<i>Гринин Л.Е.</i> Ранние государства и их аналоги в политогенезе: типологии и сопоставительный анализ	9
<i>Бондаренко Д.М.</i> Родственный и территориальный принципы организации общества и феномен государства.....	99
<i>Березкин Ю.Е.</i> Археология, этнография и политогенез.....	135
<i>Крадин Н.Н.</i> Археологические критерии цивилизации: кросс-культурный анализ.....	159
<i>Грот Л.П.</i> Ранние формы политической организации в истории Скандинавских стран в освещении шведской историографии.....	181
<i>Дворниченко А.Ю.</i> «Государство Киевская Русь» как историографический феномен.....	235
<i>Алимов Д.Е.</i> Хорваты в Далмации в VII–IX вв.: формирование этнополитической общности	279
<i>Маслов А.А., Попов В.А.</i> Социально-коммуникативные сети как фактор вторичного политогенеза (к проблеме стадияльного и цивилизационного развития доколониальной Тропической Африки).....	330
<i>Успенская Е.Н.</i> Системные принципы организации кастового общества.....	350
Список сокращений.....	379

CONTENTS

Foreword (<i>Popov V.A.</i>).....	3
<i>Grinin L.E.</i> Early States and their Analogues in Politogenesis: Typologies and Comparative Analysis	9
<i>Bondarenko D.M.</i> Kinship and Territoriality Principles in the Organization of Society and the Phenomenon of the State	99
<i>Berezkin Yu.</i> Archaeology, Ethnography and Politogenesis	135
<i>Kradin N.N.</i> Archaeological Criteria of Civilization: a Cross-Cultural Analysis	159
<i>Grot L.P.</i> Swedish Historiography on Early Forms of Political Organization in the History of Scandinavian Countries	181
<i>Dvornichenko A.Yu.</i> “The State of Kiev Rus” as a Historiographic Phenomenon	235
<i>Alimov D.Y.</i> The Croats in Dalmatia in 600–900 A.D.: the Formation of an Ethnopolitical Community	279
<i>Maslov A.A., Popov V.A.</i> Socio-Communicative Networks as a Factor of Secondary Politogenesis (On the Problem of Stadial and Civilization Development of Pre-Colonial Sub-Saharan Africa)....	330
<i>Uspenskaya E.N.</i> The Caste System Fundamentals	350
Abbreviations	379

Научное издание

**РАННИЕ ФОРМЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

*Утверждено к печати Ученым советом
Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера)
Российской академии наук*

Редактор *Т.В. Никифорова*
Художник *А.Ю. Харитонова*
Технический редактор *А.А. Банкович*
Компьютерная верстка *Н.И. Пашиковской*

Подписано к печати 20.12.2012.
Объем 24 п.л. + вклейка 0,25 п.л.
Тираж 250 экз.
Заказ № 3421

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12